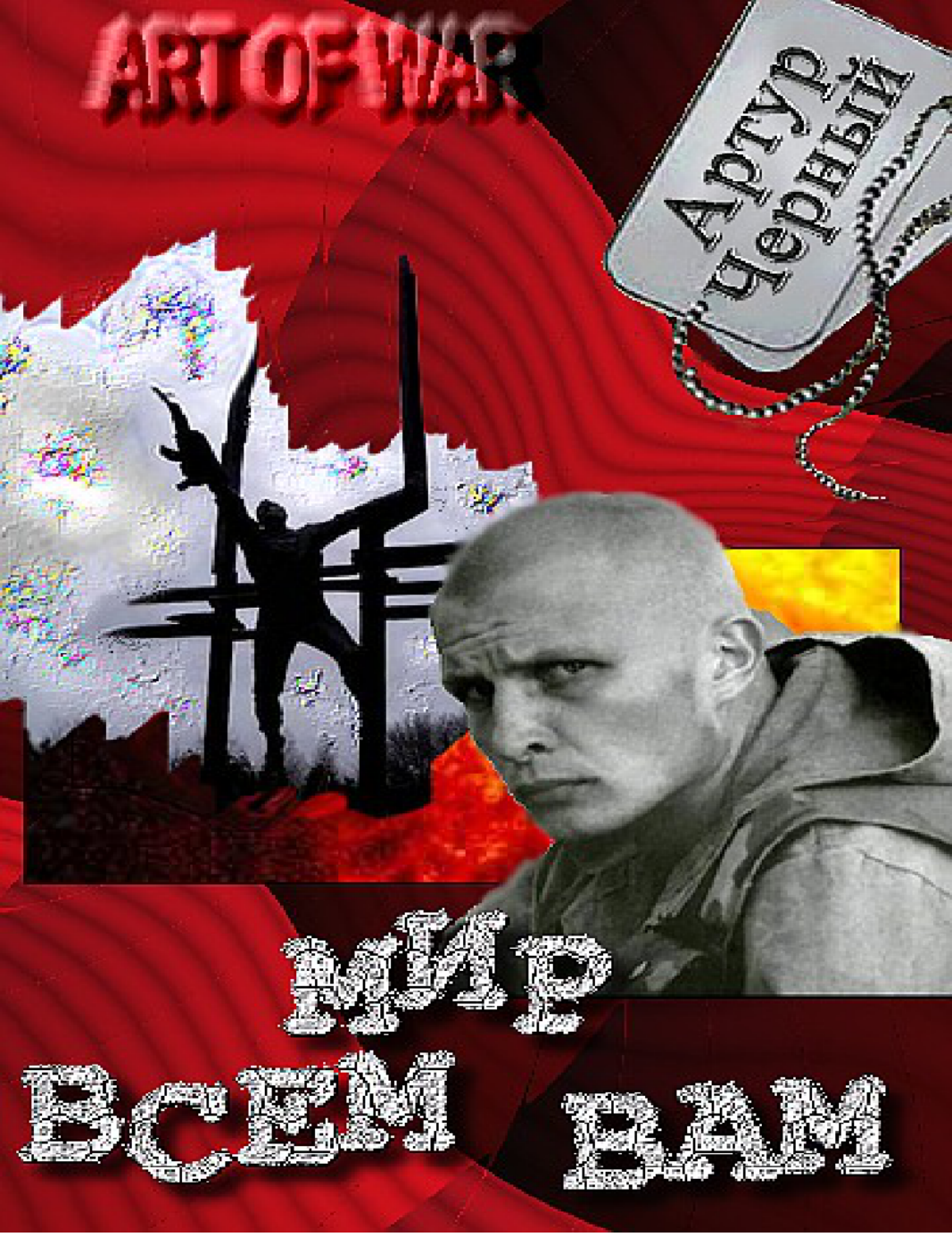
ART OF WAR
Артур Черный
МИР
ВСЕМ ВАМ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Когда на этой земле вновь наступит весна, я постараюсь все позабыть. Пусть прошлое оставит меня в покое, и больше не следует по пятам. Пусть память о прожитом перестанет наведываться в мой дом и приглашать в него мертвых. Я больше не хочу видеть их тени, они вечно оставляют следы. Да не на половицах, а сразу в душе. Я не желаю больше слышать об этой войне. Не хочу дружбы тех, кто делил со мной эти дни. Пускай они будут рядом, но не вспоминают Чечню. Я просто не могу жить с этим дальше. Пусть Бог поменяет мой путь. Пусть завтра начнется новая жизнь. Мерзавца или героя, отступника или пророка. Мне уже все равно, что ждёт впереди.

Теперь я хочу только одного: все позабыть.

Но до конца жизни не смогу этого сделать.

- Артур Черный
  -
  - ЧАСТЬ 1
    - Из дневника замкомвзвода
    - Удачи, идущему!
    - Москва-400
    - После победы: В шаге от тишины
    - …За ненаписанные письма
    - Гражданство — гражданин Государства Войны
    - Песня 1342-й высоты
    - Начало болезни
  - ЧАСТЬ 2
    - Я записался добровольцем!
    - Тамбовский волк
    - На адресе счастья
    - Рейд
    - 74-я Юргинская
    - Романтика больших дорог
    - Возвращение
    - Барнаульский юридический институт
    - Когда не хватает горя
    - История одного предательства
    - Любовь моя — Кавказ!
    - Почему не пришел командир
    - Вальс золотых погон
  - ЧАСТЬ 3
    - От Барнаула до Ханкалы

- Афганский синдром
- Алкаш
- Город страшной ночи
- Путь в Иерусалим
- «…За обиду нашего времени»
- Дорогой 56-го участка
- На самом краю похода
- Последнее слово о Грозном

○ ЭПИЛОГ

Артур Черный
МИР ВСЕМ ВАМ

Тем, кто уже позабыл!
Тем, кто никогда не знал!
Памяти павших! Во имя живых!
Посвящается!

Это третья и последняя моя книга о войне. Она, как и предыдущие до нее, составлена из дневниковых записей прошлых лет. Но, в отличии от Грозного, этот дневник не сохранился полностью. Лишь малая его часть. Он практически не претерпел изменений, разве что оброс воспоминаниями. Здесь эти воспоминания — главы «Сегодняшний день». Они составлены в строгом порядке с событиями и привязаны к тому времени.

ЧАСТЬ 1

Из дневника замкомвзвода

Сегодняшний день.
Размышления после войны:

Это случилось так давно, что уже и не вспомнить, с какого дня и с какого года началась в моей жизни чеченская война. Сколько же мне было лет, когда я впервые услышал «Чечня»? И для чего так спешил туда, где тяжела была поступь человеческого горя?

Когда же началась эта ночь?..

Нет, все произошло не в 2000-м. Я ждал этого много лет.

Я всё торопил время и искренне боялся, что чеченская будет остановлена прежде, чем окончится мое детство. Ведь прошла когда-то, не задержалась, не дождалась меня афганская.

Афганская!.. Неведомая, желанная и сказочная война, куда мы, дворовая шпана восьмидесятых, с таким усердием готовили свои игрушечные автоматы. Кто бы мог подумать, но уже тогда у нас были враги. Не белые, с безвестной Гражданской, не немцы, с заманчивой Отечественной, а загадочные душманы Востока — ожившие тени басмачей из «Белого солнца пустыни». Живые люди, которых бы мы запросто узнали по чалме и кинжалу. Которых можно было запросто убивать лишь по этим приметам.

Убивать. Но не больше. В нашей игрушечной «афганской», Гражданской, Отечественной не было жестокости. На ней не добивали раненых, не истязали пленных, не стреляли в спину, не обращали в рабство. А, если и убивали, то не больше, чем на несколько минут. Когда я вспоминаю об этом теперь, то всегда задаюсь вопросом: почему мы перевязывали раненых врагов, часто забывали пытать своих пленных, и вообще отпускали их с миром, отобрав всё оружие? Откуда это было в детских сердцах? Мы ведь уже прочли не один том о войне и выслушали многих ее свидетелей. Мы ведь уже знали, что так не бывает в жизни.

Наверное, это добро, это вызов насилию, вошли в нас еще до книжек. Осталось нам от предыдущих поколений, от наших дедов и отцов, которые много раз жертвовали собой во имя мира на всей земле. Которые, действительно, научили нас бить любого врага. Только убивать, но не унижать и, не издеваться. Научили нас быть великодушными и благородными. И мы, малолетние рыцари без страха и упрека, так ждали того дня, когда можно будет в честном бою убить первого своего душмана.

Но нас обмануло время. Оно отобрало у нас законную эту добычу. Отвратило от неминуемой смерти. Мы не дождались Афганистана. Слишком поздно, к нашему горю, родили нас матеря. Они остались без дела, собранные нашими отцами деревянные ружья и сабли, они поломались, сгнили, развалились под гнетом времени. А сами мы устали от романтики, повзрослели, нашли другие интересы.

Почему-то у меня это случилось позже. Когда мои сверстники уже чинили мотоциклы, плясали на дискотеках и пробовали спиртное, я все еще просиживал над книгами, все еще играл в индейцев, лазил по стройкам и совершал походы в лесную глушь. Я не был один, я сменил своих повзрослевших товарищей на более младших. Я, пятнадцатилетний, водил дружбу с десятилетними.

Иногда я сам не верю в свою судьбу. Не верю, как тот худенький мальчик, небрежный школьный отличник и тайный уличный пацифист, мог шагнуть на такую дорогу. Зачем? Что заставило его выбрать этот путь разрушения? Ведь остались в домах и не пошли туда более сильные и жестокие его товарищи. Устрашились, не захотели, не пришлось. А, если кто и пошел, то был единожды и не рисковал второй раз. Но и этих было так мало.

Я бы понял себя, если бы действительно был жесток. Но этого не было даже в детстве. Я не мучил птиц, кошек, собак, не обижал слабых, меня всегда преследовала жалость к ним. Она так мешала утвердиться мне среди сверстников. А они не понимали этого, дразнили, подшучивали, били, гнали из своего круга. Они не знали, что для того, чтобы утвердиться, мне были нужны трупы и человеческая кровь. Нужна была чья-то смерть. Тогда я еще и сам не знал этого.

В тот день, 11 декабря 1994 года, когда на взбунтовавшийся юг покатили бронированные наши колонны, нельзя было отыскать человека счастливее меня. Тогда, полный собственной детской ненависти к целому народу, я желал только одного: стереть Чечню с лица земли! Проутюжить гусеницами и завалить бомбами осиное это гнездо!

Как же легко нас рассорили, оклеветали друг перед другом, обокрали и лишили Родины. Как же просто поддались мы на этот обман, русские и чеченцы…

А еще я мечтал сбежать на эту войну. Тайно, ночью, в товарном составе, как бегали во все года наши мальчишки. Я не сомневался в успехе, в счастливом исходе своего замысла — осесть в передовых окопах наших войск. Но меня вновь подвела жалость. Та самая жалость, которая всегда мешала мне жить.

Вместо того, чтобы, наконец, удрать на вокзал, я каждый час думал о том, как будут метаться, переживать и плакать мои родители…

Только это остановило меня тогда. Но не лишило безумной моей мечты. Через несколько лет, когда я переступил границу Чечни, я был уверен, что перехитрил, обвел вокруг пальца свою судьбу. Что обратил в прах однажды сказанные мне цыганкой слова: «Ты никогда не попадешь туда. Не пытайся!» Испортил, нагаданную кем-то на картах ровную и мирную жизнь. Обманул первую свою медкомиссию и подделал роспись врача. Наплевал на дембель и подписал контракт. Я вышел победителем из этой игры. Я стал самым преданным участником этой трагедии.

Как же я боялся тогда, в первый день войны, что не поспею на этот кровавый пир, как переживал, что со дня на день чеченец будет разбит. Откуда же мне было знать, что пройдут целые месяцы и годы, а всё также будет течь кровь и будут готовиться к своему новоселью всё новые и новые гробы. И что десятилетний этот юбилей мне придется встречать там, в Чечне, на одном посту с бывшими своими врагами — боевиками, перешедшими на нашу сторону. Что еще позже, в тот темный вечер, подгоняемые страхом, мы будем вдвоем бежать по грязной улице Грозного и прятаться в затопленных канавах от случайных выстрелов и встречных машин. Что, в конце концов, я отрекусь от самого себя, и много раз пожалею, что когда-то обманул судьбу.

…Чеченская. Когда же она добралась до моего дома?

Наверное, это случилось еще в конце восьмидесятых — в начале девяностых. Случилось там, на лопающемся от старости диване, где у деревянной коробки черно-белого телевизора, заставал меня каждый новый вечер. Нужно было делать уроки, готовить поделки на школьные выставки, рисовать в классную газету, играть во дворе, а я не уходил от экрана. Потому что не мог оторваться от вида крови. Там был Карабах, Ош, Фергана, Баку, Вильнюс, Осетия, был еще не разваленный Грозный. Там еще держался на ногах, поползший по швам Советский Союз. А я — немощный зритель — сидел со стаканом чая рядом с этой картиной, смотрел и переживал, как гибнет великая наша Родина. Не отводил глаз от захватывающего этого зрелища и ничего не мог поделать. Смотрел и не верил ни в какую там демократию и светлое будущее нашей страны. Я представлял себя Иваном Грозным, Петром Великим, Сталиным и беспощадной рукой душил народные волнения, отбирал суверенитеты, размазывал танками по асфальту августовских защитников Белого Дома… А втихаря собирался на новую гражданскую войну. И, поглядывая на кирзовые сапоги отца, всегда жалел, что до их размера у меня

не доросли ноги, а собственные мои сандалии уже полопались и стоптались. То, что отец отдаст мне сапоги, я ни разу не сомневался. Отдаст и старую дедовскую винтовку «тозовку». Он уже стар, ему давно за тридцать, ему не воевать. Он останется дома присматривать за семьей.

Господи, сколько же мне было лет?!. Десять-одиннадцать.

Тогда это казалось такой легкой наукой — быть беспощадным, не бояться крови, ненавидеть и мстить. Тогда было таким заманчивым взять в руки оружие и стрелять в кого пожелает душа. Это было такой сладкой мечтой — воевать. И она одна, эта мечта, делала меня совсем взрослым. Я ведь еще ничего не знал.

Чеченская…

Ей суждено было начаться, когда на первые митинги Грозного вынесли первые лозунги о ненависти к Москве и русским. Еще до того, как прозвучал первый выстрел. До того, как потянулись оттуда первые караваны беженцев. Первые тысячи…

Они были так похожи, эти беженцы с разных уголков страны. Даже к нам, в глухую деревню сибирской тайги дошли они, гонимые несчастьями семьи. Хоть и не с Чечни, а с Киргизии и Таджикистана. Они не были русскими. Но есть ли национальность у человеческого горя?

Может, кто-то не видел этого, не знал или уже забыл. Но мне запомнились не жуткие рассказы этих людей, а та растерянность, что не покидала их лиц и через несколько месяцев после изгнания, побитый их вид, осторожную речь, нетвердую их походку. Как будто и среди нас их не оставляли враги. Как будто и в нашей тихой деревне к ним среди бела дня могли безнаказанно прийти ограбить, избить, искалечить, убить. Все они уехали, не прожив у нас больше года.

Что же так преследовало их? Какой же необъяснимый страх, какого не знали мы, гнал и гнал их с каждого места?

Но ведь можно было дать отпор! Можно было тоже взять в руки оружие! И нужно было это сделать! Почему же никто не сопротивлялся? Почему так легко, так скоро и нелепо, оставили они свои дома? Так покорно и униженно пошли побираться по нашим нищим городам и селам? Без работы, без куска хлеба, без крыши над головой… Неужели была им по душе беспросветная такая жизнь?

Тогда я просто не знал, не понимал, что их предали. Всех и каждого. Оставили на заклание во имя каких-то «демократических свобод» и «суверенитетов». Бросили по ту сторону границ, где вчерашние их соседи, вчерашние добрые гости в их доме, стали опустошать, грабить и поджигать

гостеприимное жилище. Стали убивать хозяев. Разве кто-то помог этим хозяевам? И разве эта помощь была больше сочувствия?… И они напрасно роняли слезы, напрасно тянули руки, прося чьей-то защиты.

И все же неправда, что у нас, у тех, кого миновала эта беда, не было для оскорбленных ни капли жалости, не было желания отомстить за их унижение. Клянусь величием своего народа, что мы бы не оставили их! Мы бы обязательно пришли к ним на помощь! Пришли бы, если бы нас, русских, не клеймили «оккупантами» и «фашистами» в собственной стране. Если бы там, в Кремле, были достойные, а не трусливые. Если бы у нас не отняли оружия, не загнали в казармы и не распродали нашу Армию. Если бы не состарились и не умерли раньше срока герои Полтавы, Бородина, Шипки и Курской дуги. Был ли на земле такой враг, которому они кланялись?..

Я знаю и верю, что нас ждали тогда, те давно погибшие люди, граждане Советского Союза: русские, осетины, армяне, абхазцы, турки-месхетинцы, таджики, киргизы… Ждали. А мы не пришли. Потому что у самих не было сил. Потому что нас тоже предали.

Сейчас, когда каждый год так шумно и праздно встречают 12 июня, я не перестаю удивляться людской беспамятности. Я всякий раз пытаюсь вспомнить, у кого же первого поднялся язык так громко глумиться над нашим горем? Неужели только для того, чтобы скрыть страшную эту трагедию, ее подменили дешевым кукольным карнавалом — Днем России? Неужели этот траурный день так и останется праздником, неужели люди забудут, сколько несчастья принес он в их жизнь?

…Она вышла оттуда, моя чеченская. С того последнего застолья «республик свободных», где, перепившиеся за столом народы, подняли друг на друга вооруженную руку. И я, как бывший гражданин Советского Союза, не мог не участвовать в этой сваре.

…Январь 2000-го! Мне бы еще раз прийти на этот перрон, чтобы увидеть тот счастливый край, из которого навсегда уезжал наш поезд войны. Еще раз увидеть того девятнадцатилетнего сержанта, и вновь не поверить в искренние его желание нести страдания и сеять смерть.

…Январь 2000-го. Мы так боялись, что близкая уже победа, будет добыта без наших штыков. Что мы вернемся домой без славы, без медалей, без леденящих душу рассказов для наших родных. Мы так стремились остановить чужое насилие собственным и не знали, что это приводит к еще большему насилию. Что это обратный закон войны.

…Январь 2000-го. Еще не было ненависти, не было страха,

никто не видел крови и настоящих ран, никто не собирался умирать и верить в судьбу. Еще ничто не предвещало беды…

Удачи, идущему!

Январь 2000 года.
Алтай:

Мы уезжали. Нас провожали редкими цветами и торжественным маршем небольшого полкового оркестра. Стоял морозный и ясный день января. И нескончаемо долго звучали в нем приказания командиров, тарахтели пустые, без людей, машины, все брели и брели провожающие и, никак не хотел трогаться этот поезд. А нам, застывшим у толстых стекол окон, казалось, что весь вокзал смотрел только на наш вагон. Потому что сегодня мы уезжали на войну. Уезжали почти все дембеля. Все, кто не захотел этой весной возвращаться в свой дом. Уезжали добровольно, небрежно подписав составленные для нас контракты. А еще, кто-то самый нетерпеливый, уже успел пустить слух про осажденную чеченскую столицу: на штурме Грозного побиты Внутренние Войска и наш поезд идет только туда. И мы уже перешептывались, гадали, верили в это. И сколько было ярости и огня в лицах одних, столько же было растерянности и отчаяния в лицах других…

Тогда еще никто ничего не знал. Никто не знал, какая великая беда стережет нас. Мальчишки, переполненная романтикой солдатня, мы всё галдели, всё толкались у дверей вагона, и еще не понимали, как нелегко теперь будет вернуться назад. На перроне звучало «Прощание славянки», кто-то плакал, были напутственные речи, выпивка, расставания…

…Всё это было когда-то. Я точно знал, что уже снимался в этом кино. Но где я мог видеть эту картину?.. В какой же недобрый час я уже стоял на этой пристани отчаяния?..

Все верно. Это было там, в моем детстве, где много лет подряд я не мог насмотреться на старую кинохронику Великой Отечественной Войны. Этот день пришел оттуда. У него были такие же лица, такие же чувства, мысли и даже люди. Они ничуть не изменились за последние шестьдесят лет. В их глазах стояло столько же слез, как и тогда. А в лицах было столько же горя, как и прежде.

А я смотрел и не верил самому себе. Казалось, что всё это ненастоящее, придуманное, из другого мира. Какой-то страшный призрак далеких сороковых! Мираж, который вот-вот исчезнет. А потом долго махал рукой всем, кто проплывал за окном вагона.

Долго не мог встать со скамьи.

И все же был рад. Был рад оттого, что, наконец, и мне выпала честь держать оружие против настоящего врага. Что теперь и я могу называться защитником Родины. А потому, никогда бы в жизни я не сел в другой поезд, кроме этого и, не сменял бы на чемодан денег свой пустой вещмешок. Не потому, что за эти годы я привык к нищете, а потому что то, что было в моей душе, не продавалось ни за какое золото мира. В этот день сбылась моя самая главная в жизни мечта: я уезжал на войну. В этот день я был богат, как никогда.

Когда поезд тронулся от Барнаульского вокзала, что-то близкое, что-то невосполнимое и родное отошло с ним. Осталось на том перроне, где еще вчера никто не знал о войне.

Он навсегда ушел. Мир моей юности.

Москва-400

Сегодняшний день:

Померкни, солнце Хасавюрта! Теперь мы не побледнеем от обиды при этом имени!

Пылай Кавказ! Гори до пепла город Грозный! Вставайте, униженные и оскорбленные, ибо пришло время наше! Время вершить правый суд, время мстить за вчерашний день. И вы, кто еще помнит кровь на пороге родного дома, будьте достойны этой мести! Никого не жалейте! Обида за обиду и труп за труп!

С какой же бурной радостью мы вступили тогда в этот океан ненависти! Как же хотели затопить кровью землю! Как мы были прямы, честны и жестоки… Сколько было настоящего патриотизма в начале этой войны…

Теперь, когда я вспоминаю наш батальон, нашу разноликую, часто недружную, наспех собранную со всего света семью, мне всё тяжелей дается шаг к этому прошлому. Не оттого, что стирается память, а потому, что сильнее болит душа. Она всё тянет на то старое место, откуда начался мой первый чеченский поход. И она стоит перед глазами, та странная идиллия войны:

…С непокрытой головой я сижу на тонких ступенях крыльца и не спешу заходить в палатку. Уже почищено, отсыревшее в ночном карауле оружие, уже ушли на зачистку ротные наши колонны. В темных окопах, навалившись на осыпанные стены, спят расслабшие часовые постов. В небе стоит недолгое зимнее солнце, и слабый ветер полудня несет из ущелья едва уловимый трупный запах. Это — небрежная братская могила «и наших, и ваших». Слишком большая мясорубка была здесь. Такая, что мало кто различал и делил мертвых.

У соседней палатки с автоматом наперевес стоит боец разведроты. Рядом у широких колес БТРа сидят пленные. Небритые и грязные, они подставляют солнцу худые узкие спины. Прыгает у брони и громко тявкает на боевиков любопытный рыжий щенок. Я даже не смотрю на чеченцев. А, свесив к земле лицо, тихонько пою: «…Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы эхо…» По синей дороге неба уходят в Дагестан боевые пары вертолетов. Еще держится Грозный. Уже начался февраль. Скоро весна…

Когда вокруг тебя ходит смерть, совсем по иному начинаешь смотреть и на жизнь. Еще недавно мы только слышали, только видели в кино, как убивают людей, а теперь сами встали на страшную эту дорогу. И если раньше смерть была для нас чем-то далеким, делом стариков и старух, тем горизонтом, которого никогда не достигнуть, то невероятно близко подошла она сегодня. Мы впервые поняли, что нет от нее спасения, что ее не отвратят никакие лекарства, никакая молитва, никакая ворожба. И это было самое первое разочарование в жизни. Теперь уже никто не сомневался, что когда-нибудь умрет и он.

Но тогда в 2000-м мы еще боялись смерти. Потому что видели ее в первый раз, потому что не успели к ней привыкнуть. Не знаю, как у других, но у меня была своя философия страха. Умереть было не страшно. Я больше боялся остаться калекой. Боялся до ужаса, до кошмарных снов по ночам. Они так часто приходили ко мне, жуткие эти сны, в которых я не мог поднять своего оружия, потому что были оторваны руки, не мог вылезти из окопа, потому что миной срезало ноги, ничего не видел, потому что враг вырезал мне глаза… Инвалидность — это еще страшнее, чем смерть. И я с любым поспорю об этом.

И, забегая вперед, я хочу рассказать здесь историю Ашота:

Их «броня» взлетела на воздух вовсе не на марше, и не в бою. Бойцы поехали за дровами для кухни, а вместо дров, вернулись с водителем, которому фугасом отняло ноги. Других только контузило, и они не потратили крови. Оставшийся инвалидом Ашот, стал для всех примером неминуемости судьбы. За три дня до взрыва он не поехал по замене домой, посчитав, что так же легко переживет вторую командировку. «Не намного задержался, — говорили про него офицеры и рядовые. — Только домой лучше с ногами ехать…»

Тогда, десять лет назад, Ашот вызывал сострадание и участие. Сейчас, по слухам последних лет, его или презирают или гонят подальше. Говорят, он очень низко воспользовался своею бедой. Постоянно брал деньги и вечно не отдавал. Задолжал многим из батальона, из города, из родни…Может, ему не на что

было жить. Может, эта потеря ожесточила его. Но от расправы его спасали те самые ноги, которых он не имел.

…Но всё это было потом. Толи в конце весны, толи в начале лета. А пока еще не отступила зима. А пока мы еще пишем письма домой, где ставим свой адрес «четырехсотой Москвы». А пока мы еще вместе, еще курим одни сигареты, сидим у одного костра, где ротный играет нам на гитаре песню полка:

Ребята с Алтая, ребята с Сибири,
Ребята с Рубцовска, вы сильными были.
И местные «вахи» вам вслед говорили:
«Дожить вам до ста!.. Чтобы вас не любили…»

…И еще смеется, еще ходит на двоих ногах Ашот.

После победы: В шаге от тишины

Март 2000 года.
Северный Кавказ:

И снова опускается ночь. Горная ночь Кавказа. С голубыми звездами над черным морем земли.

От дальних вершин идут на север темные массы облаков. Лишь бы ненавистные эти облака, не сели на нашу заставу, лишь бы не приволокли сюда ледяную сырость туманов, когда даже в метре от себя ничего не видно. Здесь совсем не такие, как дома ветра. Бураны, где от летящего снега нечем дышать, где иней не сходит с лица, где тратишь все силы на единственный шаг. А мы пережили их на постах, с температурами, простывшие, обмороженные…

…На плече висит мой лучший товарищ АК с полным рожком патронов.

«…И не дай Бог вернется то время, когда лучшим другом был автомат» — это год назад, еще в Барнауле, еще до войны, сказал перед строем один из моих командиров. Он, ветеран Карабаха и первой Чечни, знал цену своим словам. А я, не ведавший ее, стоял молча в строю и совсем по-другому думал о времени: «Дай-то Бог! Дай-то Бог ему вернуться!.. Ветеран первой Чечни… Да, когда он была-то, твоя Чечня?.. Три тысячи лет прошло! Да, ты просто старик! Не мешался бы под ногами, товарищ старший лейтенант. Не разводил бы тут гуманизм. Ты стар. Ты ослаб духом… Ты… С дороги!»

И оно услышало меня, время! И оно вернуло Чечню.

С дороги, старлей! Нам больше не по пути! И я счастлив, что

не состоялись твои надежды!

Вот он, мой самый верный товарищ АК!.. Со мной. Висит сейчас на плече с полным рожком патронов. Я не расстаюсь с ним ни днем, ни ночью, и даже в самый сладкий сон чувствую его под головой. За спиной тускло мигают далекие огни Зандака и Чапаевска. Все они одинаковы. Также светился Новалак, Хасавюрт, Карамахи. Много раз я смотрел на них и слушал доносящиеся из тьмы выстрелы, то такие далекие, то совсем близкие. А ночью, стоя на посту, до боли в глазах всматривался в эту предательскую темноту за бруствером окопа. Я охраняю сон своих товарищей, их жизни.

Здесь на небесных вершинах, среди безупречных пейзажей коварных гор, я часто думал о том, как я попал сюда? Что же произошло в этом мире, что унесло меня за тысячу верст от родного дома? Слишком просто было бы сказать: война. Нет, случилось нечто гораздо более страшное и непоправимое. Чечня, этот клочок земли, притянул к себе тысячи судеб со всей огромной России. Разыграл в карты миллионы трагедий и драм. Отравил заразой ненависти всю нашу Родину. Нам дали попробовать крови. Чеченцам русской, а русским чеченской. И после уже никто не мог остановить этот пир.

Я часто спрашивал себя, спрашивал товарищей: для чего мы здесь? И почти всегда и из своих, и из чужих уст слышал одни и те же ответы: «Поубивать их!», «Мстить!», «Давить этих тварей!»… И лишь немногие говорили другое — ту правду, до которой еще не дошли остальные: «Мы должны принести сюда мир».

Оказалось, совсем не то читали мы о войне в книгах и многое недоглядели в фильмах. Оказалось, что война — это вовсе не лихие атаки на вражеские окопы, рейды по тылам врага, громкие подвиги, поединок между жизнью и смертью, море крови и павших героев. Это совсем не арена мертвецов. Мертвые давно отыграли свою роль и им уже не слушать аплодисментов. Мы вдруг только сейчас поняли, что война — это невероятное горе, оставшихся в живых людей. Бездонный колодец живых страданий и слез.

Неужели так плохо были написаны все наши книги и сняты все фильмы? Не знаю. Но то, что мы увидели здесь, разрывало душу. Мы попали в страшный театр, на подмостках которого ставилась кровавая пьеса о горе целых народов: русского, дагестанского, чеченского. Здесь легче было смотреть на смерть, чем на участь живых.

Мне никогда не забыть, как женщины, наши матеря и сестры, со слезами на глазах просили нас об одном: «Останьтесь, русские! Только не уходите, только не бросайте нас!» Это было так

искренне, так от души… А мы стояли перед ними, давно небритые, чумазые, в замасленных камуфляжах, и немые, словно Бог отнял у нас языки. Стояли алтайцы с косыми разрезами глаз, татары со смуглыми азиатскими лицами, стояли угрюмые и гордые черкесы, стояли дагестанцы, казахи, якуты, стояли русоволосые голубоглазые славяне. И каждый знал, что эти мольбы о помощи, этот крик души «Останьтесь, русские!», обращен к нему. И не было в нашем строю никакого национального непонимания и розни. И мы, все, кто видел эту, надрывающую сердце картину, сами тайком прятали слезы. И сами желали только одного: остаться с ними!

Мы не говорили этого вслух, но клялись себе в этом сердечной клятвой.

Уже шли обратно на север эшелоны, спускались с гор на равнину войска, уже был взят Грозный, уже отгремел в нем Парад нашей победы. Первый с 45-го Парад победы!

Вы слышите, люди!!! Мы раздолбали их!!! Оторвали им головы, бросили под каблуки и втоптали в грязь черные их знамена! Мы, наконец-то, отомстили за первую Чечню, за унижения, за горький позор Хасавюрта. Они думали, мы забыли надругательства прошлых лет, забыли, как они убивали, как жгли наши дома, грабили, стреляли в наших родителей и детей… А мы помнили! И помним до сих пор! И еще не скоро всё позабудем.

Люди, славьте, кто слышит, эту победу! Потому что вам не надо больше плакать от страха, не надо бояться ночи и стука чужих сапог, не надо ждать, когда на вашем дворе станут резать вам горло! К вам больше не придут с цепями, не поставят вас на колени и не угонят в рабство! Вам впервые за много лет дали право на жизнь!

Вы слышите, отцы и матеря тех, кто не вернулся с этой войны! Гордитесь павшими своими сынами! Они успели сделать самое важное — убить тех зверей, что собирались напиться крови на вашей улице в Ростове, Москве, Тюмени, Хабаровске…

Война заканчивалась. Мы оставались. Оставались для мира, чтобы не было новой войны. Ведь еще продолжали стрелять, продолжали рыскать по горным тропам бандиты, продолжали гибнуть люди. Но, казалось, сама земля устала от этой войны. Мира хотели разоренные аулы и города, давно непаханые поля и нивы, обгоревшие и расстрелянные вершины гор. Мира ждали люди. И поэтому они ждали здесь нас. Наше оружие несло сюда мир. Как на броне того танка, промелькнувшего среди тысяч дорог Дагестана и Чечни, было написано большими белыми буквами «С нами Бог!»

Как трогательно, как тепло встречали наши колонны в

Дагестане! Вдоль улиц стояло все население этих кишлаков, аулов и сел. За броней бежала детвора, в восторге изображавшая пальбу из находящейся в руках палки. Дети войны. Люди пели нам песни, махали вослед, раздавали хлеб, сигареты, теплые вещи, несли букеты цветов. Они стояли такие радостные, такие счастливые среди грохота этого железа, среди поднятой нами пыли… Откуда ж нам было знать раньше, что здесь, на самом краю земли, нас могут так ждать, нам могут так радоваться, как самым дорогим гостям.

Самая потрясающая картина, что осталась в памяти от тех дней — это был выход на дорогу одной дагестанской семьи. Их было трое: старый, в мохнатой папахе аксакал — отец семейства, крупный под пятьдесят мужчина — боец народного ополчения с автоматом за плечом, и смертельно бледная, лежавшая у него на руках, уже не ходячая старуха. Она, эта старуха, что давным-давно потеряла всякую надежду жить, улыбалась нам своим беззубым ртом. На большее у нее не было сил. А они, ее сын и муж, так и не проронили ни одной улыбки, потому что вместе с нашей колонной, уже навсегда прощались со своей матерью и женой. Улыбалась только она. Потому что поняла: теперь можно уйти отсюда с легким сердцем.

Со всей страны шла гуманитарная помощь для нас. Наверное, не было такого села, деревни или города, где бы не проходила акция «Посылка на войну». Где бы хоть раз, не было желания помочь. Спасибо всем тем, кто не поскупился, не остался равнодушным, не прошел мимо нашей беды. Спасибо вам, люди, за ваше доброе сердце! За то, что помнили и переживали за нас.

Люди отдавали нам, что могли, итак не слишком богатые, делились тем, что нужно было самим. Они хотели помочь, они верили в нас. Жаль, что кто-то корыстно наживался на этом. Нельзя было понять, оправдать, как можно оставить в своих руках посылку, на которой было написано: «Нашим сыновьям. Мы ждем вас! Возвращайтесь скорее домой! Живыми и с Победой! Ваши матеря». Часто они не доходили до солдат, оседая на станциях, пересыльных пунктах, в штабах, в руках жадных и бессердечных людей.

Томил ли их, какой недуг? Тот, что даже у злодеев зовется совестью…

Чем выше мы забирались в горы, тем сильнее верили, что совсем недалек тот день, когда настанет конец войне, когда мы уедем отсюда. Казалось, он уже так близко, счастливый день нашего возвращения, что можно было назвать и дату, не побоявшись ошибиться в выборе. Он должен был вот-вот ступить на порог. И мы ждали его — Мир. Наш счастливейший в жизни

праздник.

Там, на покинутых нами равнинах, уже распустились деревья, пели птицы, туда вернулась весна. Здесь же у самых облаков завывал холодный зимний ветер, носились тучи, завывала пурга. Мы мерзли в палатках, пили растопленный снег, не сходили с постов…Вот и сейчас я оборачиваюсь на шорох. По склону сыплются камни. Я сильнее прижимаюсь к автомату. Еще далеко до утра.

Заалеет восток, взойдет большое красное солнце, наступит новое утро. Я, как и много дней подряд после бессонной ночи, выйду из тесной палатки, вымою руки и умоюсь снегом. Привезут ли сегодня с лагеря воду и горячую пищу или снова придется есть надоевший сухпай, разогретый наскоро на костре? День покажет.

Иногда встану над ущельем, задумаюсь о далеком доме, о прошедших днях. Посмотрю на горизонт: где-то там дом. Где-то там Россия. Милая нашему сердцу Россия! Страна белых берез и чистого синего неба. Что там сейчас?.. Какие ветры перемен веют над ее полями? Так же ли светлы по ночам северные её звезды? Как он, крепок ли, как и прежде, отчий мой дом?..

Я так редко прихожу на это место. Так редко стою над этим ущельем. У меня нет времени размышлять, переживать, строить мечты на будущее. Я должен работать, копать окопы, нести службу. У меня должно хватить сил на главное — пережить эту войну.

Мы еще здесь. Но мы вернемся! Обязательно вернемся! Ждите нас, когда закончится война!

И поэтому, Мир Всем Вам!

…За ненаписанные письма

Сегодняшний день:

Говорят, любовь измеряется расстоянием и временем. Не раз и не два я слышал об этом дома. Но вовсе не так оказалось на войне. Оказалось, что совсем наоборот, только любовь является мерилом всего. Только она властна и над временем, и над расстоянием, только она способна преодолевать и сокращать их. Потому что, если нет любви, какая разница сколько еще дней отмерит тебе жизнь, и по какой дороге придется тебе пойти.

Если бы мы не любили тогда, если бы не писали письма, не получали ответы, как страшен, как безнадежен был бы для нас этот поход!

Единственной нашей отрадой была любовь. Она была у всех разная, но была у каждого. Кто-то, самый везучий, слагал своей

любимой песни, кто-то, самый нетерпеливый, ревновал ее, кто-то, самый несчастный, уже рвал письма и пытался все позабыть. Но ни у кого любовь до конца не оставляла сердце. Это произойдет с нами лишь после, по возвращению. А тогда даже самые несчастливые еще на что-то надеялись, еще не забывали родного имени.

У меня была собственная любовь, от которой я никогда не слышал никаких признаний, не видел слез, не читал ни одного письма. Чья была в том вина? Моя или ее? Даже теперь мне трудно разобраться в этом.

Мы встретились на каком-то концерте летом 99-го, потом потеряли друг друга, затем я снова ее нашел. Ее звали Яна, Яночка, Янчик… Она была моей ровесницей и почему-то с ней я не чувствовал себя достаточно взрослым. Какая радость была для меня тогда? Пить с ней пиво в её подъезде, провожать или встречать ее из института, таскать по дешевым летним кафе. Это все, что я мог себе позволить, а потому, очень от этого страдал. Ведь я, неисправимый романтик и повеса-поэт, с таким восторгом рисовал себе картины, как катаю ее на танке, спасаю от врагов, прихожу вечером в ее дом, весь пропахший порохом, с закопченным от стрельбы оружием. Как же мне не хватало на наших встречах, болтающегося на ремне автомата! Как же я хотел прийти к ней однажды с кровоточащими ранами, едва уцелевший после какой-нибудь битвы, чтобы упасть в ее колени…

Откуда это пришло? Все оттуда же: из книжек, из рыцарских романов, из далекого школьного детства, из плохо сыгранных пьес о Дон Кихоте и Дульцинее, что, насмотревшись фильмов, мы ставили в соседнем дворе. В самой первой постановке главная роль рыцаря принадлежала мне, во второй кому-то другому. А в третьей мы подрались между собой. Не потому что, не поделили Дульцинею, а из-за того, что никто не хотел больше играть Дон Кихота. Каждый мечтал махать мечом, мечтал стать разбойником, пиратом, красноармейцем, а не скучным рыцарем Неудачи, охранявшим очередную школьную куклу. И, сыграв однажды, я больше не искал этой роли, потому что Дон Кихот слыл неудачником, потому что над ним все смеялись. А чего бояться дети больше всего? Насмешек сверстников. У меня были другие рыцари: Невский и Суворов. Над этими никто не смеялся.

Она никогда не любила меня. Любил ли ее я? Тогда, да, любил, а поэтому многого не замечал и не понимал. Почему-то я был уверен, что стоит мне вернуться с Кавказа, как все измениться в лучшую сторону. Ведь я стал воином, ведь мое оружие, наконец-то, запахло порохом. Разве нельзя не полюбить мужчину, вернувшегося с настоящей войны? Да какое женское

сердце устоит перед ним?

Это был март, апрель 2000-го. Я еще не торопился к ней. Я еще считал, что слишком мало отбыл на войне и поэтому не так велика окажется ее радость. Я все еще мечтал о боях, о крови, о победах, трофеях.

Ты, слышишь, Яна?!. Ты была смыслом той жизни. Ты много ночей провела со мной в окопах, где с нами были только горы, туман и синяя луна — это бессменное солнце влюбленных. Ты так много выслушала в долгие эти часы. Это из-за тебя я разлюбил день, чтобы полюбить ночь.

Какие я писал стихи! В них было столько простоты, столько страдания, столько искренних чувств…

Я мог бы все тебе простить
За ненаписанные письма,
За то, что в мире этом жить
Я без тебя не вижу смысла.
Простить за то, что не смогла
Сказать «Люблю» перед уходом,
За те, без слез, твои глаза,
Что провожали на пороге.
Я так хотел бы рассказать
Тебе о том, как я страдаю,
Как тяжко будущего ждать,
Когда я писем не читаю.
Я б всё простил тебе в тот миг,
Когда б ты мне в глаза сказала:
«Я так люблю тебя. Прости
За письма, что не написала».

Они были так далеки, так недоступны и непостоянны, наши любимые. Мы гнали их от себя днем, но ничего не могли с ними поделать ночью. В тот час, когда выли от страшной своей тоски. Они приходили во снах, окликали нас из тьмы, так часто звали домой. У нас было столько светлых чувств и страсти для них, сколько порой было непонимания, обид и ревности. Нам просто невозможно было прожить без любви.

Мы так и продолжали любить наших девушек, даже тогда, когда они выписывали нас из своего сердца. Мы всё еще были преданы им и просто забывали об одном: они ведь никуда не уезжали из родного дома, и рядом с ними не убивали людей. Они совсем не менялись и оставались такими же, как и в день нашей разлуки. Наши любимые не ведали тех чувств, которые сотрясали нас. И просто не могли отвечать взаимностью. А еще, мы слишком

давно ушли от них. Кто-то несколько месяцев назад, другие год, а третьи и два. Нас просто начали забывать.

…Самым счастливым человеком моего взвода был пулеметчик Немец. У него была любовь. Ему было проще остальных. Он еще не мог угомониться, еще бегал за письмами на соседнюю нашу заставу, бережно хранил ее фотографии, и вздрагивал над печальными нашими историями о своей любви. Сколько простоты порой было в нем! Сколько веры в свою любовь! Мы издевались над ним, шутили, смеялись, говорили, что ничего не будет, что он будет оставлен и предан, как все мы до него. А Немец только обижался, только спорил, что это неправда, и в доказательство своей правоты тряс перед нами ее письмами.

Он заказал гитару в Махачкале, чтобы вышибать из нас слезы своими концертами. И мы, уже забывшие свою боль, обрели ее заново. Как много счастливых воспоминаний оживил в нас Немец своими песнями. Как полюбили мы те ночи у костра, где, обкурившись конопли и упившись водки, надсадно хрипели сердечные песни Боярского, лирику Цоя, походные марши «Любэ». А после, не в силах выйти из этого круга, валились тут же спать на голую землю, бросив под себя автомат.

Неужели всё это было? Неужели мы никогда больше не соберемся вместе? Не разведем заново наш костер, и не споем добрые наши песни? Негромкие песни мира, едва слышные в шуме большой войны.

Нет, ничего никогда не будет. Она потрескалась от времени и уже не звучит как прежде, старая наша гитара из Махачкалы. А он, бывший пулеметчик моего взвода, уже не выйдет ночью из дома, не оставит своих детей и жену — ту самую армейскую любовь из мира своей молодости.

…Яна, я вспомнил. Ты говорила, что писала письмо.
Просто оно не дошло.

Гражданство — гражданин Государства Войны

Июнь 2000 года.
Северный Кавказ:

Проходили месяц за месяцем. Менялись люди, окружающие нас, командиры и боевые друзья. Кто-то приезжал сюда, кто-то возвращался домой. Все менялось вокруг. Все менялось, а мы оставались здесь. Оставались каждый месяц, и каждый новый месяц встречали с надеждой, что он будет последним. Но

проходили дни, тускнела надежда, сменялась горечью и отчаянием, пока не превратилась в сплошное холодное равнодушие. Нам было уже все равно, сколько еще дней предстоит провести здесь, сколько людей сменится и, что произойдет на этой войне. Они стали такими одинаковыми, серыми и будничными, все, проведенные здесь дни. С холодным безразличием мы вяло следили за ходом времени. Для нас оно остановилось. Давно никто не считал числа, не отслеживал праздников, не заглядывал в календарь. Никто не мог вспомнить, когда произошло то или иное событие, была зима, весна или лето. Мы словно перестали жить. Порой мы просто тупо сидели друг перед другом в палатках, в окопах, и молчали по несколько часов. Мы даже перестали разговаривать о доме. Им пришел конец, длинным разговорам о возвращении. Нам обещали три месяца командировки, затем четыре, пять, теперь полгода и дольше. И вот мы перестали кому-то верить. Перестали верить, что когда-то вернемся домой.

Единственной отдушиной, единственным утешением для нас была водка. Чтобы как-то забыться и уйти от проблем, мы уходили в черный запой. Едва добравшиеся до двадцатилетия алкоголики, мы, не взирая на все опасности, мотались за этим пойлом в соседние аулы, подряжали на ее доставку местных жителей, выставляли на дороге скоротечные, до первого своего груза, посты. Мы пили без меры и без рассудка, хлебали всё, что попадало под руку и на что еще хватало денег. И ничего не жалели на эту гадость. А чего нам было жалеть? Что у нас было, кроме грошовых зарплат, казенного бензина и солярки, да попрятанного у кого лишнего комплекта обмундирования? Собственный, с иголочки камуфляж, я сменял у пастуха-дагестанца за хилую овечку — закуску на очередную вечернюю пьянку.

Какая там честь солдата, о которой когда-то, еще на Алтае, мы слышали от своих командиров?! Какой и перед кем стыд?!. Это было до войны. Это там мы придерживались какой-то морали. Здесь же мы растеряли все свои ценности. Здесь никто ничего не помнил. Мы начали сходить с ума. Нам казалось, что нас навсегда бросили здесь. Что эта Чечня, этот Дагестан, они станут повседневной нашей жизнью и уже никогда не кончатся. Что мы так и состаримся, так и умрем здесь.

Казалось, что напиться было проще всего, исчезало чувство беспокойства и одиночества, становилось легче на душе. Но так было лишь поначалу. Чем дольше мы находились здесь, тем сильнее отравлялось наше сознание. В нас поселилась какая-то пустота. Мы стали не нужны сами себе. Теперь у нас уже не было

никаких вопросов к войне, а только к самим себе: «Почему я приехал сюда?» «Если меня все позабыли, для чего я вообще живу на этой земле?» Война ушла куда-то на задворки сознания. Нас больше не привлекали великие ее цели. Из одного общего дела он вдруг превратилась в личное дело каждого. В личную трагедию отдельного человека. Каждый просто уходил в себя. И ему становилось все равно, что происходит вокруг.

От нас уже ушла вера в завтрашний день. Но еще не остыла, еще кипела слепая ненависть. Мы ненавидели чеченцев за то, что они стали причиной войны. Мы ненавидели дагестанцев, потому что у них не хватило собственных сил, и они позвали нас. Мы забыли собственные слезы и клятвы на их митингах. Всё, что окружало здесь нас: люди, села, города, горы и даже небо, были виновны в любых наших несчастьях. Все они были причиной нашей ненависти. Но и она не прорывалась наружу, пока мы не прикасались к водке.

И вот, напившись, налакавшись самопальной бурды, мы выпускали из себя всю, накопившуюся на целый мир злобу. Целый мир был виноват перед нами! Но — горе нам! — весь этот мир состоял только из взводной нашей палатки на два десятка человек. И не на кого было расходовать эту ненависть, кроме как друг на друга. И мы поднимали руку на своих товарищей, чего никогда не случалось раньше. И редко обходилось, чтобы в такие ночи мы не стреляли на постах. Стреляли по поводу и без повода, поднимая к бою всю заставу. А потом приходило утро, когда мы просили друг у друга прощения и клялись больше не пить. Но шел день, наступал вечер, и все повторялось заново.

Мы уже не могли без водки. Она стала нашим богом, нашим спасением от этой жизни.

Всё, что еще связывало нас с внешним миром — это воспоминания о доме. Какими редкими были оттуда письма, и с какой надеждой мы ждали их, вам никогда не понять. Ждали каждую колонну, что везла сюда продукты, боеприпасы, пополнение, но, главное, письма. И каждый переживал, каждый страдал, когда ничего не получал в свои руки. Родительские письма — это то единственное, что поддерживало нас. Больше нам уже никто не писал. Мы, обвешанные гранатами, боеприпасами и оружием, стали чужими в родных своих городах, лишними для своих подруг и друзей. Мы были чужими и здесь, на горькой земле Кавказа. Никто о нас не помнил и никому мы не были нужны, кроме наших матерей. Мы поняли это только сейчас. Поняли, какая святая это любовь — любовь к матери! Поняли, как всегда неразлучно с нами материнское сердце!

Спасибо тебе, единственная моя мама! Спасибо всем

матерям, за то, что ждали нас с этой проклятой войны, ждали и верили в своих сыновей. Спасибо.

Кроме любви, отчаяния и надежды, за нами по пятам всегда следовал страх. Если бы кто сказал, что у него не было этого чувства, он бы соврал. Страшно было всегда. Просто иногда его было меньше, этого страха, а иногда больше. Страшно было на зачистках и в рейдах, страшно было на поле боя. Но самый тяжелый страх жил в палатах госпиталей, куда с боевых операций привозили раненых, привозили грузовиками, не по одной машине в день. Медленные их колонны ехали в госпитальные ворота прямо оттуда — из жуткого государства войны. Машины становились во дворе, и все, кто уже мог стоять на ногах, помогали медперсоналу таскать тяжелые носилки с беспомощными своими товарищами.

Видели бы вы их! Окровавленных, простреленных, обожженных… Этих восемнадцати-девятнадцати летних мальчишек, лежавших на прокисшем от крови брезенте, с загнившими ранами, с перебитыми, оторванными конечностями в черных размокших бинтах… Но какими пустыми, какими страшными были их глаза! В них словно закончилась жизнь. В них не было ничего: ни боли, ни страха, ни отчаяния, ничего, кроме холодного ко всему равнодушия, кроме отрешенности от этого мира. И глядеть в эти мертвые, на лицах живых глаза, было страшнее, чем наблюдать трупы. Эти раненые — вчерашние подданные государства войны — везли оттуда столько страха!.. И Родина, которой они приносили себя в жертву, давала за это им жалкие льготы и пособия, которые еще предстояло выбить ценою собственного здоровья и нервов.

…Война закончилась. Больше не просвистит пуля, и не забьется на дне окопа сраженная ею жертва. Больше не будет пожаров и запаха горелого человеческого мяса. Больше не нужно будет делиться на своих и чужих. И уже не выйдут из ножен зазубренные наши мечи… Так писали в газетах. Так говорили по радио и телевидению.

Война закончилась. А мы продолжали стрелять, продолжали рыть траншеи и лезть на новые вершины. Рожденные в глухой сибирской тайге, мы впервые так близко увидели горы. Настоящие горы в белых папахах снегов! Днем к ним приходили вертолеты и ставили на дыбы этот снег. Они тратили столько мощи, выплескивали столько огня, что и под нами, в километрах от удара, ходуном ходила земля. По широким ущельям бесконечно долбили «Грады» и «Ураганы». Когда наступала ночь, вокруг оживало всё. Стояла сплошная канонада выстрелов и взрывов, взлетали осветительные и сигнальные ракеты.

Война закончилась. А вокруг продолжали умирать. Солдаты гибли уже на территории соседней Ингушетии. Ни на минуту не останавливалась кровь. Не было такой дороги, где бы нас не поджидала смерть. Она словно расползлась по всей земле, и нигде не было от нее спасения. Если нас не подстерегал снайпер, то обязательно ждали растяжки и мины. Наш враг был хитер, коварен и неуловим. И все же мы били его чаще, чем оказывались побиты сами. Били по всей республике.

Бандитов вязали на спецоперациях, они сдавались в плен, их подбирали на поле боя. Над кем-то вершился самосуд, кого-то ждало следствие, но многих амнистировали и отпускали с миром. И многие из прощенных вновь брали в руки оружие, вновь продолжали убивать. И не прекращался поток похоронок на родину в Сибирь, на Урал, в Приморье. Они, эти маленькие телеграммы смерти, доходили до нашего дома быстрее любых писем. От них нельзя было ни прикрыть двери, ни захлопнуть ставни. Как и нельзя было ни за какую сумму купить почтальона, чтобы не принес он завтра страшную эту грамоту.

Отстав от похоронок, задержавшись в моргах, на аэродромах и в поездах, тянулись к своим домам тяжелые солдатские гробы. Там лежал чей-то сын, муж, брат и отец. Гробы еще открывались, если что-то осталось от человека, и были глухо запаяны, когда внутри валялся рваный кусок мяса. Там, в нашей России, вовсю шли нескончаемые похороны.

А ведь какой-то год назад никто не ждал этих похорон! Ведь прошло столько времени, как отгремела афганская, отшумел Карабах, миновала первая чеченская. Они были уже забыты, как страшный сон. Им только утвердили границы, нашим солдатским кладбищам, а они вновь поползли вширь.

Боевики уходили в горы. Первого марта мы узнали, что пал их последний оплот Шатой. И мы уже поздравляли друг друга с близкой победой. И не было ни у кого тени сомнения, что, совсем немного, и все завершиться. Но как же жестоко и страшно мы ошибались. Именно с этого дня стали рушиться наши надежды. Именно тогда мы начали захлебываться собственной кровью. Увы, оказалось не так-то просто задавить эту чуму! Не так-то легко истребить этот заповедник бандитизма. Слишком много лет готовились здесь к нашей встрече, слишком хорошо научились нас убивать.

Приняв неравный бой, легла под Улус-Кертом шестая рота псковского десанта. В лесах Жани-Ведено была расстреляна колонна Пермского ОМОНа. На блокпостах и заставах умирали под обстрелами наши товарищи. Расцвела «зеленка». Враг получил надежный приют подлатать раны и подготовиться к

новым убийствам. Боевики вернулись на оставленные вчера равнины. Уже стреляли в отвоеванном Грозном. Горький опыт первой чеченской повторялся во второй раз. А мы слышали вокруг себя только одно: война закончена! Порой доходило до абсурда. Нам слали приказы прекратить войну. Прекратить войну и разрядить оружие! Это мы, со слов одного полковника, единственные, кто всё еще не может остановиться. Враг давно разбит. Мы напрасно тратим патроны.

Нам непрестанно трещали о мире, а вокруг нас умножались трупы. Нам запрещали стрелять, пускать по ночам осветительные ракеты, а днем мы узнавали о новых жертвах в войсках. Война продолжалась.

Мы проклинали ее, ненавидели, и мечтали своими руками добить оставшихся бандитов, чтобы прекратить всё это. В нас было столько злобы, столько ненависти, что сполна хватило бы на несколько человеческих жизней. Ведь эти нелюди, кровожадные эти шакалы, отняли у нас самое дорогое — мир в нашем доме! Ведь это они привели войну в наши семьи. Ведь это из-за них уже много месяцев не спят старые наши родители.

Прошла весна. Подходило к середине лето. У нас уже истощились проклятия для этой земли. Мы давно никуда не двигались со своей заставы. Мы привыкли спать днем и отвыкли отдыхать ночью. Мы уже смирились, что к нам так редко заходило солнце. За весь летний месяц оно являлось лишь несколько раз, остальное время, не снимая бушлатов, мы мерзли на холодных ветрах, мокли под дождями и стыли в сырых туманах, что неделями гостили на нашей заставе. На соседних вершинах лежал снег.

Там в России уже во всю цвело лето. А здесь, в этой стране войны, никак не прекращалась ненастная осень. Это было наше второе, а у кого уже третье лето в камуфляже, в окопе, в касках и с автоматом… Разве так мы желали встретить его?!.

И не было уже никаких радужных мыслей и мечты о будущей красивой жизни, которая ждет нас на гражданке. Теперь мы хотели только одного — навсегда уехать отсюда. А еще я хотел всё забыть и никогда больше не вспоминать тех бессонных ночей, смертей, идущих об руку с ними, тот холод и голод затянувшегося чеченского похода. Пусть все уйдет, как прошлогодний снег и растает, как горный туман. Пусть ничего никогда не вернется.

…Я верю, что всё пройдет. Они обязательно закроются, мои раны, она обязательно закончиться, эта ночь.

Февраль:

Здравствуйте, Мама и Папа!

Сегодня уже 10 февраля. Служба моя идет своим чередом. Заступил дежурным по роте, сейчас сижу один, пишу вам ночью письмо.

…Звезды здесь яркие-яркие, совсем не такие, как у нас в Сибири. И горы высокие, что достают до облаков. Ночь здесь сменяет день очень резко, буквально за несколько минут. И туманы очень частыми бывают, такие густые, что вытянутой руки порой не увидишь. Люди здесь совсем другие. Я пока так и не смог разобраться. Вроде с первого взгляда спокойные, гостеприимные, а подсознательно чуешь, что часто всё это лживо, коварно…

Вообще Кавказ — это отдельный мир. Здесь всё не так, как во всей России. Жизнь человеческая мало цениться. Больше в ходу деньги и оружие.

Верить никому нельзя…

Здравствуй, Сына!

Получили оба твоих письма. Мы с папой по нескольку раз их перечитывали. Что скрывать, конечно, мы очень расстроились, узнав, что ты попал туда. Ведь до дома оставалось совсем чуть-чуть. Ну что теперь поделаешь, что сделано, то сделано. Будем ждать тебя к маю.

Сестра передает тебе большой- большой привет и поцелуй. Она тоже переживает за тебя. Все ваш детские разногласия давно забыты, и оба вы повзрослели.

…Сыночка, береги себя, будь там внимательным, сильным. Пиши нам. Мы все с тобой своим сердцем. Пиши обо всем так, как есть, мне легче знать правду, чем жить догадками.

Целую, Мама.

Поздравляю тебя с Днем защитника Отечества! Желаю всего наилучшего и быстрее вернуться домой.

Будь осторожен, помни, тебя ждут дома. Возвращайся, сынок!

Целую, Папа.

Март:

…Виноват, что долго вам не писал. Не было ни

времени, ни возможности.

…Наверно нас скоро отправят домой. Война ведь уже почти кончилась. Наши взяли Грозный, возьмут и горы. Сейчас уже «федералы» из Чечни уходят, остаются Внутренние Войска, причем остаются надолго. Но нас, видимо, все равно будут менять. Вообще, всё здесь очень сложно еще…

Апрель:

…Посидели с папой, отметили твое день рожденье, ждем тебя домой.

Сына, ты что-то ничего о себе не пишешь. Как там у вас обстановка, где сейчас ваша часть? Сейчас про Дагестан и Чечню много не говорят, вообще умалчивают. Наверно всех корреспондентов оттуда выгнали. В программах общими фразами отделываются. Только говорят, что идет перестрелка там да там, в общем, везде. Как вас там кормят?

…Мама, ты просишь написать о себе. А мне не о чем писать. Конечно, я скажу, что у меня все нормально, нас одевают, кормят. Но я знаю, что о чем бы и, как бы я не написал, ты ведь понимаешь, что всё гораздо сложнее и не так безоблачно на самом деле. Я жив, здоров и ни на что не жалуюсь. Это самое главное.

Май:

…Я знаю, что вы тоскуете, и каждый день обо мне вспоминаете. Но, поверьте, все равно рано или поздно я вернусь живой и невредимый, и со мной ничего не случиться. Это ничего, что нам не меняют. Значит, действительно так нужно. Что в жизни не делается, все к лучшему. Мы ведь не насовсем здесь остались. Просто еще потерпите, вот увидите, я никуда не денусь, приеду домой. Как говорится, Иисус терпел и нам велел.

Главное, не волнуйтесь за меня, не переживайте, и берегите себя, не растачивайте даром свое здоровье и не болейте.

Мне ничего не нужно, у меня всё есть. Скучаю по вам и надеюсь на скорую встречу. Вот и всё.

Пишите.

Всех вас очень люблю!

Следующие месяцы:
Переписка не сохранилась.

Песня 1342-й высоты

Сегодняшний день:

…Болен я, но нет на мне раны.

Много лет я мечтаю вернуться на последнюю нашу заставу. И много лет не могу найти в себе силы сделать это. Мне кажется, что если я снова окажусь там, она уже не отпустит меня обратно, оставленная мной высота. Вернувшись один раз, я стану наведываться туда каждый год.

«Ведь там ничего нет, — говорю я себе. — Там только голый камень и несколько выдолбленных в сплошной скале окопов. Там все также пасутся сырые туманы и ледяные облака. Оттуда редко уходит дождь. Там до сих пор свирепствуют бураны, и не появляется солнце. Там всегда осень».

Там ничего нет, а я потерял там целый мир!

…В первые месяцы похода мы не выпускали из рук оружия, не снимали с себя касок и бронежилетов. Тогда за нашими траншеями еще стреляла ночь, еще надрывался боевой клич врага. Война таскала нас за собой повсюду и не терпела ни одной остановки. Она растягивала и сужала фронты, мы кочевали вослед. А нам так хотелось отдохнуть, так хотелось где-то остановиться! Мы ведь еще не знали, как это страшно — не поспеть за остальными и остаться одним.

И вот однажды нас забыли на какой-то дороге войны. Однажды мы просто сели на горной, покрытой снегом вершине, и не смогли с нее сойти. Остались без работы. Остановились на отдых и прокараулили время. Мы не сберегли войны, она навсегда укатила от нашей заставы. Тогда мы впервые увидели ночь, в которой не было огня. Ночь, где по ту сторону окопов никто не кричал «Аллаху акбар!»

Но если бы всё было так легко!.. Если бы с уходом войны к нам вернулся мир!..

Не было мира! Нас не отстреливал снайпер, не давили минометы, не косили фугасы. Мы не приняли на этой заставе ни одного боя. Но никуда не отлучался враг. Когда стояло солнце, к нам приходили разведчики из местных жителей, что, не скупясь на лживые слова, предлагали любую помощь и услуги, а сами тайком высматривали и выспрашивали. С уходом дневного света

их меняли другие. Скрытые ночью или густым туманом, они вплотную подбирались к нашим постам и нередко, потеряв осторожность, срывали сигнальные мины. Если напрячь слух, можно было услышать, как совсем рядом двигаются камни, как, едва уловимый, доносится из тьмы чей-то тихий говор.

Что это были за люди? Какие черные помыслы не давали им покоя и гнали их под наши стволы? Они думали сковать нас страхом, а мы от этого страха только сильнее жаждали вырвать из их груди сердце. Только сильнее укрепляли свой дух.

Последняя наша застава — трон моей тоски! Сколько же дней прошло с той поры? Сколько там разбилось надежд, сколько угасло страстей, сколько раз закатывало там пир наше отчаяние?!

Не взятая недругом высота из снега, песка и голого камня… Как мы ждали атаки на этот убогий клочок земли! Как хотели остудить в бою разбушевавшуюся свою кровь! Потому что, впервые услышав тишину, стали сходить от нее с ума.

Там проходили дни, которые складывались в недели и стали переходить в месяцы. А к нам никто не приходил. Никто не штурмовал осажденную нашу крепость и, никто не отстреливал наших часовых. Никто не сделал по нам ни одного прицельного выстрела. Мы так и ушли оттуда, — бессильные заложники тишины — не дождавшись, когда окончится ее срок.

Почему же теперь я все возвращаюсь на это место? Почему именно оно, больше других, видится мне по ночам? Мне кажется, мы что-то недоделали там на своей заставе, не успели что-то совершить, забыли что-то очень важное. Но что?..

Я вспомнил. Мы не сделали самого главного. Мы не приняли бой и не пролили на камни вязкую свою кровь.

…Оно идет в моей квартире до самого утра и все не может кончиться, это кино — мой старый сон из мира давней вражды:

…Только что отступила ночь. Еще свободно синее небо и не идут с юга тяжелые снежные облака. Еще не встало над горами солнце. Над крышей нашей палатки тает последний клок белого дыма, остывает и чернеет труба, накалившейся за ночь «буржуйки». Уже начало августа. Идет к концу холодное лето Кавказа.

На передовом посту валяется забытый кем-то затрепанный «Братишка» — давнишний выпуск победного 99-го года. У севшего в каменной нише Т-62 свалены в кучу разбитые снарядные ящики — неприбранный мусор небрежных вчерашних стрельб. Под ногами скользят сырые от росы камни. В осажденной нашей крепости тихо и малолюдно.

Я рад дню. Я так давно не спал по ночам…

Поворотни свои часы, Время! Восстань из праха прошлых лет

мой 3-й мотострелковый взвод! Вернитесь, мои товарищи! Это я, ваш замкомвзвод, снова зову вас в строй! Мы должны принять бой на последней своей заставе!

Мы должны довершить неоконченное. Довершить, чтобы получить от него свободу.

Начало болезни

Сентябрь 2000 года.
Дома:

Когда к нам пришел этот день, в него не поверил никто. Нам говорили: «Вы отвоевались. Вы едете домой», а мы продолжали думать свое: «Снова про дом. Снова врут». Нам твердили: «Все закончилось!», а у нас не проходили сомнения: «А кто нас отпустит отсюда?»

И все же мы возвращались домой! На «бортах», машинах, поездах, через вокзалы городов. Возвращались и не верили в это. Поначалу казалось, что всё мираж и вот-вот исчезнет. Казалось, что за окном вагона и даже в соседнем купе вновь вырастут горы, опять накроет туман. Я стал бояться наступления утра, той самой минуты, когда открывались глаза. Потому что это было не больше, чем сон — возвращение домой. А утро должно было вернуть меня обратно. Вернуть на тот полигон войны, откуда я бежал со всех ног.

Как же быстро забыли мы такие простые вещи, как утро без выстрелов, как мирное небо над головой!

Мы возвращались с войны и не верили в это. Во все глаза смотрели на русских людей и, как дети, радовались всему, связанному с Россией. Видели березы и смеялись от счастья. Для нас одно только слово «Россия» означало целый мир! Там на земле, где мы родились, ждал нашего возвращения дом. Дом, где в самую темную ночь не нужно будет сторожить дверей, в которые вот-вот постучат голод, болезни и смерть. Дом, в который никто не придет убивать.

Мы возвращались домой! Словно одичавшие, из далекого края, мы тыкали пальцами на светлые витрины вокзалов, многоэтажные здания, на заводы, на беззаботные толпы гражданских. Какие мирные глаза были у этих людей! Как легко они радовались и улыбались, глядя на нас! А еще они казались какими-то не по возрасту молодыми. На их лицах почти не было морщин.

В Астрахани, Волгограде, Уфе мы валом валили на вокзалы, хватали водку, тут же хлебали ее, нервировали военные патрули

и пугали своим видом людей. Собирались в огромные компании, матерились, фотографировались, орали вперемешку блатные и фронтовые песни. Опаздывали к поезду и на ходу прыгали в свои вагоны.

За Уфой пить стало не на что. Кончились и тушенка и деньги. Мы катили домой немногословные и трезвые.

На вокзале Новосибирска я с увлечением объяснял товарищу, как здорово и удобно было бы выставить в подземном переходе взводный наш пулемет. Мы бежали в город по этому подземелью, а я все доказывал, какое здесь практичное место для истребления, спешившегося с эшелона врага. Идеальный дот с бетонными стенами и убойным сектором стрельбы.

Что с меня было взять? Я был ненормален. Это я понял, когда возвращался обратно к поезду. На месте, где должен был встать мой пулемет, торговала мороженым молодая девчонка. А рядом торчал наш сержант и рассказывал ей, на какой чудном месте она зарабатывает на хлеб. Как здорово было бы поставить здесь взводный наш АГС…

«Ты ж — ненормальный! — говорил я себе. — Куда ты со своим пулеметом? Тебя просто сметут! Как же ты не вспомнил про АГС?..»

…Отгремев пыльными своими вагонами, отшумев на пол России горькими своими песнями, поворачивал на Алтай дембельский наш эшелон.

Это был тот самый поезд, что когда-то увозил нас на Кавказ. И он все-таки вернулся за нами. Но как он изменился за это время! Этот поезд был полон войны. Она села с нами и не собиралась никуда выходить. За окном стучали колеса, а мы всё еще оставались там, на наших заставах, на блокпостах, среди ущелий и перевалов. Мы не говорили ни о чем другом, кроме войны, не вспоминали ничего, кроме своего жестокого прошлого. В этом поезде мы впервые узнали, как может болеть душа. У кого-то это случилось раньше, у кого-то позже. Пропадал аппетит, приходила полная апатия ко всему, по ночам убегал сон. Казалось, что та жизнь, в которую мы возвращаемся, вдруг стала такой мелочной и ненужной, такой пустой и бессмысленной. Мы ждали радости, а к нам подступила тоска.

Мы напрасно пытались убежать на этом поезде от войны. Мы еще не знали, как изменился тот мир, который мы когда-то оставили.

Еще тогда в январе, еще до Кавказа, в нас уже тыкали пальцами: «Э, Чечня!» Капитан нашего штаба за глаза уже оскорблял нас. Когда один солдат записался добровольцем, а затем, смалодушничав, пришел вычеркивать свою фамилию; мол,

я передумал, капитан потряс перед отступившим сократившимся списком: «Правильно. Пусть едут. Это же для дураков. Мир-то на ослах держится».

А они, на ком еще продолжал держаться этот мир, все шли к дверям штаба, все переживали, что не успеют помочь. Из тридцати человек моего призыва туда пришли двадцать пять! Пришли потому, что позвало сердце. Потому что это их товарищи возвращались с юга ногами вперед. И кто-то должен был заполнить тот строй, из которого вышли мертвые. Кто-то должен был отомстить за них. Да и хватило бы у нас совести отсидеться за спинами других?!

Но и из этих добровольцев брали не всех. Нас уходило лишь десять. А те, кто не смог, не успел, оказался лишним, считали, что их предали. Они до последнего не могли поверить, что оказались недостойны смерти, до последнего надеялись встать в наш строй. Они плакали, эти мальчишки, которых оставили без войны. И напрасно о чем-то умоляли комбата.

Они просто не знали, насколько счастливой оказалась их судьба.

Мы вернулись. Людям было не понять, что брошенные ими слова оскорблений, часто были гораздо грязнее плевка и тяжелее пули. Так женщина-кондуктор пыталась выгнать нас из автобуса: «Выходите! Здесь сейчас люди сядут!» Это произошло через минуту, как мы шагнули за ворота своей части, через минуту, как мы сполна отслужили свой срок. Странно, что еще минуту назад мы были так сильны, так уверены в себе… А теперь, сбитые с ног сказанным, мы, словно оправдываясь, уже неуверенно спрашивали друг у друга: «А мы, что, не люди?..» Но сколько было наглости и бесстыдства в толстой и неприглядной этой тетке! «Нет, не люди! После того, что вы делали, — не люди!» — гремела она на весь автобус. И нам нечем было ответить ей. Потому что это было в первый раз. Потому что мы не знали, что теперь так будет всегда.

Так что же такого мы делали, что перестали быть людьми? Что же такого страшного сотворили, что нет нам никаких оправданий? И как теперь жить дальше с этим клеймом?

Я перестал верить в высокие слова о долге, чести и патриотизме еще там. Я убедился, что на этой войне они исчерпали себя. Да, мы верили в победу, в справедливость войны, верили, что наши жертвы будут не напрасны, верил каждый солдат и офицер. Но так было лишь до весны. До тех пор, пока мы не поняли жуткой правды: не будет никакого конца войны! Она никогда не остановиться, бессрочная эта мясорубка! А мы всегда будем только дохнуть здесь, только разбрасывать попусту свои

кости. Эта война идет с 94-го! И всё это время нас только обманывали, заманивали деньгами, твердили о долге, натравливали друг на друга.

Но мы слишком поздно увидели это. Тогда, когда уже сами стали детьми войны, ее продолжением, ее жертвой. Когда она так переменила, так изуродовала наши души…

…На вокзалах бесконечных городов мы молча прощались друг с другом, не обещая писем, не ожидания встреч. Мы знали, что прощаемся уже навсегда.

Сейчас всё осталось позади: вокзалы и поезда, скупые на слезы расставания, прожитые вчера беды, испытанные ими товарищи. Все ушло и провалилось в прошлое. Но что-то осталось, что-то давило на сердце, мешало собраться с мыслями, привыкнуть к новой жизни.

Я давно вернулся оттуда, а ночь продолжала поднимать меня по тревоге. Я просыпался в своей постели оттого, что чувствовал их. Боевики приходили к дверям моей квартиры и до самого рассвета таились на лестничной площадке. Они всегда являлись в самый поздний час, надеясь застать меня спящим. А я напрасно шарил руками под кроватью, ища пулемет. Его не было там. Мама, которая не знала, что происходит здесь по ночам, куда-то убирала его за ненадобностью днем. А я из страха не зажигал свет. Но какая тишина стояла за дверью! Сколько же выдержки и терпения было в моих убийцах!

Если не приходили боевики, то по ночам снились горы. Они звали к себе, звали обратно, манили чем-то зловещим и коварным. Горы обещали открыть мне какую-то тайну, сокрытую от других. Душа все еще жила там.

…Злые духи гор, они так часто посещали меня по ночам, так легко проникали в мою комнату.

Вековая тьма встанет за окном.
Черная тоска постучится в дом.
Что не спится? Страх не унять в груди.
Снова ночь в горах на земле войны.
Запах гари вновь воздух полонит.
Не волнуйся, кровь, — то костёр горит.
Срикошетив вниз, трассера прошли, —
Сигаретных искр падают огни.
Отнимая сон, батарея бьет, —
То последний гром по земле идёт.
Вой сигнальных мин на дворе стоит —
То, собака, сын, по луне грустит.
Успокойся, брат, ляг и крепко спи.

И войны набат по ночам не жди.
Полночь сны ведет.
Попроси ее,
Пусть она уймет
Прошлое твое.
…Что пришла, ответь?
Ночь твоя прошла.
Обознайся смерть.
Кончилась война.

Приходил день, но не делалось легче. Я покидал дом, до темна бродил по улицам, и не знал, куда бежать от самого себя. Каким тесным сделался для меня родной город! Наверное, мне нужно было уехать отсюда, от тех улиц и парков, где меня постоянно настигали воспоминания. Уехать далеко и надолго.

…Иногда мне хотелось покинуть мирную жизнь и вернуться обратно. Вернуться любой ценой. Почему? Не знаю. Нужно было как-то отвязаться от сновидений прошлого, куда-то пропасть из этого города, поменять этот день на какой-то другой. Но куда было бежать, когда и в другом краю меня поджидал мир?!

Я не знаю, что произошло, но однажды я не выдержал тишины. Я понял, что обязательно должен вернуться. Та беда, что осталась давно позади, вдруг потянула меня обратно. За окном стоял мир, а мое сердце требовало огня. Я давно отслужил, а, словно ненормальный, не снимал с себя камуфляж. Мои ровесники гуляли по дискотекам, а я осаждал кабинеты военкомата. Я перестал понимать, как вообще еще живу без войны? И почему мне никто не рассказал раньше, какое это счастье — ходить по дорогам смерти!

Война стала для меня работой. Мне так полюбилось свирепое это ремесло. Я жил в ней, как и тысячи таких, как я. И мы возвращались туда снова и снова. Возвращались не из-за денег, не из-за льгот, не из патриотизма, а потому, что уже не могли без войны. Она так часто убивала нас, калечила, рушила наши семьи, но мы, потеряв смысл этой жизни, сознательно шли на смерть. Там было так просто, в том мире войны, там не было лжи, не было подлости, там было только черное и белое…

Кровавая наша работа все чаще звала к себе. А у нас не было сил не откликнуться на этот зов.

Вы слышите?.. Они снова плачут, снова зовут нас, белые горы Кавказа!

Не надейтесь на слух. Их способно услышать лишь сердце. Седлайте коней, друзья! Нам нужно закончить этот поход.

Мир Вам, кто остается! Мир Вам Всем, кто ни разу не садился в седло!

ЧАСТЬ 2

Я записался добровольцем!

Сегодняшний день:

…Этот плакат времен гражданской войны висел на дверях моего военкомата в сентябре 2000-го. Тот самый голос из прошлого: «Ты записался добровольцем?» Он был такого же кровавого цвета, но, вместо красноармейца, с тебя тыкал пальцем суровый мужик в камуфляже. Я не помню, что именно там было написано, кроме нескольких первых слов: «Ты хочешь покончить с бандитизмом и терроризмом на Северном Кавказе?!.» Дальше шло что-то еще, а в завершении были указаны цены на жизнь и на смерть. Кажется, каждый день жизни стоил около одной тысячи, а единственный день смерти около ста пятидесяти — двухсот.

Впрочем, бездарная эта пародия висела тогда по всему городу: на остановках, на столбах, на домах. Военкомату не хватало людей, и он не скупился на обещания. Вряд ли кто-то действительно верил в эти зажигательные призывы «Покончить!» Их читали с улыбкой, с иронией, с огорчением или с озлоблением. И все-таки она действовала, дешевая эта листовка, эта заманчивая приманка на кладбище. Люди смотрели на деньги. Только что окончились нищие девяностые, и никто не знал, что принесет завтрашний день. Люди думали хоть немного заработать в карман, пока государство дает этот шанс. Никто и не помышлял ни о какой идее. Ног бы с голоду не протянуть…

Но какая незримая сила была в старом этом плакате! Сколько же поколений поднял он в ружье и отправил на добровольную смерть!

Этот переряженный красноармеец не выходил у меня из головы. Нет, я не верил тому, что он говорил, я не считал денег, которые он предлагал. Но этот маньяк войны рассказал мне, что существует дорога в прошлое. Дорога в прошлое!!! Что, оказывается, в него можно вернуться, если станет плохо в настоящем. Это от него я узнал, на какой порог надо ступить, чтобы повернулось вспять время.

Без войны я прожил только три дня. На четвертое, после своего возвращения утро, я уже ломился в двери военкомата. Уже собирался в новый поход.

Меня пожалели и выгнали оттуда. Отправили подальше и велели прочистить мозги. У меня обещали отобрать военный билет и все рассказать родителям. А я приходил туда снова и

снова, врал, сочинял всякую ересь и соображал, как подделать несуществующую в паспорте прописку.

…Когда все было уже готово, когда оставалось только сесть в поезд, меня внезапно настиг страх. Он был так силен, что, в прямом смысле слова, меня трясло несколько дней. Я пытался успокоить себя тем, что боятся и другие, кто собирался туда со мной, но вот напрасно пытался отыскать этот страх в них, напрасно напрягал глаза. Они ехали впервые и редко, что испытывали, кроме беспокойства и любопытства. А я знал, КУДА еду! Я снова вспомнил, что там вовсе не пир и не мир! Что там, как и прежде, нечего пить, кроме слез, негде согреться, кроме, как на пожарах, и не уехать оттуда досрочно, кроме, как в собственном гробу. Я вспомнил, что там вечно пасется смерть…

И страх чуть было не пересилил меня. Наверно, я бы с радостью пошел у него на поводу и отказался от безумного своего замысла. Да, так бы и случилось. Но вот еще раньше, я не удержал языка и рассказал друзьям о своем походе. Они качали головами, крутили у виска пальцем, но говорили всегда одно: «Ты не поедешь. Ты врешь нам».

Они мне не верили! Они думали, у меня не хватит духа еще раз пройти по этой дороге! «Это не беда, — думал я, — что не верят. Беда будет тогда, когда я передумаю сам. Когда все скажут мне только одно: трус». При последней версии, у меня начинала закипать кровь. Сам обвинив себя в трусости, я уже давал в душе, обязательные к исполнению и одна безумней другой, страшные клятвы: нарезать ушей с вражеских голов и бросить их в ноги сомневающимся; не возвращаться с войны до тех пор, пока не зазвенит на груди золотая Звезда Героя; приволочь с рейда за черные их бороды одноногого Шамиля или беспалого Хаттаба; или же, на худой конец, героически погибнуть в лихом налете на окопы врага…

Оказалось верно, что человек властен над своими чувствами, как бы ни были они сильны. Той осенью високосного года я пережил самый большой ужас, который когда-либо вторгался в мою жизнь. Никогда от самого рождения мне не было так страшно, как тогда.

Я вышел победителем из этого поединка. Той осенью я навсегда вылечился от страха за свое будущее. Он потерял дорогу к моему сердцу. Я уже давно ничего не боюсь. Ни жизни, ни смерти.

Осень високосного года… Я так молился на золотые ее листопады, так мечтал излечить ею рак своей души… Она ничего не принесла, кроме черной тоски. Ничего, кроме горького одиночества и страшных разочарований. Она так легко

разрушила воздушные мои замки, так быстро потопила большие корабли прежних моих надежд…

Ничего не сбылось.

…Я успокоился только тогда, когда вновь нацепил на себя походный мешок, когда снова услышал «Прощание славянки», когда опять забрался в грязный плацкартный вагон. Я возвращался обратно, чтобы что-то исправить, что-то переменить в своем прошлом. Мне ведь никто не сказал, что нельзя сдать заново давно сыгранную партию судьбы.

Этот поезд шел через всю Сибирь. Он останавливался в местных столицах, принимал новые партии добровольцев и неуклонно следовал восточному своему маршруту — солнечным степям холодного Забайкалья.

Даурия, Бордзя, Ясное, Чиндан… У кого не заболит душа, перечитав эти названия? Страны безлюдных восточных границ. Страны безмерных полигонов и ледяных ветров. Как много несчастливых воспоминаний осталось от них, как много светлых чувств забрали они с собой. Как мы мечтали навсегда их покинуть!

Даурия. Мой Отдельный 128-й Порт-Артурский разведывательный батальон. Случайные мои товарищи. Суровый наш командир подполковник Антонов. Полороидная фотография, слинявшая красками под стеклом его рабочего стола: «Грозный, август 1996-го» — бородатые мужики в темной комнате бетонного блокпоста. Что стало с тобой, комбат? Пошел ли ты нашим путем? Повторил ли вслед за нами свое прошлое? А, если повторил, уцелел ли во второй чеченской? А, может, давно сгинул на той войне? Да только не хочется в это верить. Помнишь ли нас, разновозрастных, недисциплинированных, часто докучавших тебе своими проблемами, приносивших порой столько обид своими поступками. Вряд ли ты уже сможет воскресить в памяти наши лица. Вряд ли уже правильно назовешь наши имена.

А мы помним тебя, комбат. Помним честные твои глаза и добрую твою душу. Этого было так мало там, где мы терпели столько унижений, где нас так редко считали за людей.

Даурия. Когда-то здесь стояли, потрясавшие страны Европы и Азии, грозные гвардейские дивизии, дошедшие до Берлина, разгромившие миллионную Квантунскую армию, бравшие Порт-Артур и Дальний, изменившие ход истории…

Сколько лет прошло с той поры? Сколько минуло времени, как ушел отсюда Советский Союз? Ушла она, Несокрушимая и Легендарная. Сгинула, провалилась сквозь землю. Здесь стояла такая тишина! Такое запустение и покой! Давно оставленные под открытым небом аллеи танков, вагонов, самоходок и машин

заливали дожди, засыпал снег, трепали бураны. Они никому не были нужны, эти остатки былого могущества, отданного на откуп ржавчине. На этот металлолом уже давно не хватало людей. Оголенные роты, батальоны и полки, в которых едва насчитывалось несколько десятков человек, влачили лишь жалкое существование от наряда до наряда, от караула до караула. Им негде было жить, кроме развалившихся столетних казарм, им нечего было есть, кроме нескольких ложек картошки или капусты на завтрак, обед и ужин. Это был край голода, холода, унижений и тоски.

Эшелоны везли сюда тысячу за тысячей, а здесь их никто не ждал. Доисторические бараки бывших мотострелковых дивизий давно сгнили, были разобраны или завалились сами. Все продукты были уже украдены со складов, а новые заранее поделены между штабами и тылами. Нас пригоняли сюда эшелонами и эшелонами же гнали обратно. Люди приезжали для отправки на фронт, а их, не заплатив ни копейки, без объяснения причин, возвращали в родные военкоматы. От каждой тысячи здесь едва оставалось треть. Почему? Потому что нашей Армии не на что было содержать своих солдат.

Тот, кто не был отправлен домой сразу, рано радовался своему везению. Многим предстояло просидеть здесь несколько месяцев, и все равно быть изгнанным. Многим пройти жестокие унижения, побои, «хлорные» гауптвахты, обморозиться, поучаствовать в «голодных бунтах», каждому перенести непрерывные оскорбления. Многим из нас не хватило терпения, многие сорвались. Некоторые погибли здесь, в пьяной драке, по глупости, в ссорах с местным населением. Больше сложили голову уже в Чечне. Другие, вернувшиеся сюда после войны за «боевыми», так и не добрались до дома. Их убивали из-за денег на какой-нибудь глухой станции и бросали в степи.

Конечно, самым тяжелым испытанием были не полигоны, не холод, не оскорбления, не возможная смерть, а именно голод. Мы едва ели. Но даже на этом ослабленном пайке, даже за месяц и два, мы не могли дойти до того истощения, что представляли собой солдаты-срочники местных частей. Чтобы увидеть своими глазами настоящий голод, нужно было войти в солдатскую баню. Там в Забайкалье я вживую просмотрел документальное кино про Бухенвальд и Освенцим, отстоял за кулисами голодную свою вахту и сам едва не попал в камеру режиссера.

Ниоткуда мы не рвались с такой поспешностью как оттуда. Мы хотели только одного: поскорее обменять Даурию, Борзю, другие свои узнические лагеря, на Чечню. Там хоть и убивали, но тамошняя смерть от железа — это было что-то туманное,

неопределенное и совсем необязательное. Тот край смерти казался нам лучше, потому что он был сытнее, чем этот, мирный и прочный, с голодной его безопасностью.

Здесь нечему поражаться. Это так естественно — хотеть есть.

Нас грабили со всех сторон. Недокармливали, недодавали, недоплачивали… Вспомните и, если у вас и через столько лет не найдется сил засмеяться, заплачьте от обиды те, кто улетал оттуда зимой без теплых ватных штанов, кому крикнули в самое ухо, чтобы лучше расслышал: «Не пригодятся! Только бушлаты! На Кавказ едите. Там тепло, там юг». Почти все, кто взошел на этот рейс, попали в горы в самое начало зимы. Многих из них я видел потом, в бешеных наших рейдах по диким ущельям Кавказа. Там, где негде было согреть свою кровь, кроме редкого дневного костра, где не было никакой другой перины, кроме утоптанного снежного наста. Я видел, как в ледяную горную ночь они загибались от простуд и мужских болезней.

…Ханкала — походная столица группировки. Нас никто не ждал здесь. Огромная толпа алкоголиков, бродяг и убийц, — мы по нескольку дней тупо сидели на нарах холодной брезентовой палатки, жевали гадкие списанные консервы, пили водку и не знали, куда податься теперь. В сумках и вещмешках валялись без дела, оказавшиеся на руках личные наши дела. Грозное и беспощадное в Забайкалье и Моздоке, наше начальство, по привозу нас сюда, теперь постоянно куда-то исчезало, неохотно отсчитывало положенные нам «подъемные», не знало, как от нас избавиться и, в конце концов, тайно бежало на третье утро.

Это был сборный пункт, куда за контрактниками приезжали по надобности редкие местные «покупатели». Они долго ковырялись в наших документах, принюхивались, стараясь уловить алкогольный запах, и, уклоняясь от прямых ответов о выплате «боевых», забирали с собой единицы счастливчиков. А каждый оставшийся здесь только завидовал последним, и никак не мог понять, что же в них такого, что они оказались лучше?

Поначалу, привыкшие к строгости и военной дисциплине, мы долго и терпеливо ждали своих «покупателей». Нам не приходило и мысли о том, что нас забудут, оставят, выбросят за ненадобностью. Сначала мы удивлялись, затем недоумевали, следом отчаивались. А потом у нас стали кончаться деньги. Нам стало просто не на что жить. И дальше пришлось каждому, отдельно от других, искать себе место службы.

Ханкала гудела от изобилия походных колонн. Они подходили со всей республики, с горных и равнинных ее частей, катились по каждой проезжей дороге. А мы выслеживали их на стоянках и перекрестках, приставали к их командирам,

нанимались к ним на работу и просили взять с собой. Просили только одно: забрать отсюда. Эти «попутки» — бронированные колонны танков, БМП и машин — были единственной нашей отрадой, единственной возможностью выбраться из своей тюрьмы. Но даже если нас брали, не у каждого получалось сразу покинуть Ханкалу. Мы приезжали в Шали, Гудермес, Урус-Мартан, Грозный, а нас гнали оттуда, как ненужных и лишних, или же мы сами, пораженные бытовыми условиями, отказывались там служить. А вечером, грязные и разбитые, заходили в ту же палатку, что с такой радостью оставили утром. Падали на те же нары, предавались тому же отчаянию.

Мы бы уехали домой, но уже не было денег…

Однажды, среди зеленого океана камуфляжей, я увидел их — синие мундиры ВВ с белыми пятнами на застиранных рукавах бушлатов. Они стояли невдалеке от нашего городка и что-то сгружали со своей БМП у железнодорожного переезда. Это были те самые Внутренние Войска, в которые я был призван два года назад, на них была та самая милицейская форма, к которой я так привык. Они приехали за мной и просто ждали, когда, наконец, я пойму, что единственное пустое место на их броне — это тот самый подарок, который дает мне судьба.

Еще только начиналось утро — время беспробудного сна, время позднего красного солнца. Я хватал из-под нар свои вещи и никого не будил в палатке. У меня не было и минуты, чтобы кого-то звать за собой.

…Я бежал к ним, проваливаясь в грязь, не огибая луж, спотыкаясь и падая на каждом шагу. Я завяз в канаве и, швырнув в слякоть вещмешок, вырывал руками свои сапоги. Я добежал до ж/д путей и свалился на шпалы… А они уже уезжали. Уже съезжали с переезда и поворачивали БМП. Медленно, не торопясь, но все равно быстрее, чем двигались мои ноги. Они молча смотрели, как я бегу, и не меняли скорости. Они уезжали у меня на виду. Уезжали уже тогда, когда я различал соколиную эмблему Московского округа — белую птицу в черном треугольнике на правом плече.

…Я сидел на пустых рельсах и не вытирал слез. Сидел босой, в размотанных портянках, бросив в сторону полные водой сапоги. Весь заляпанный мазутом, наедине с непоправимой своею бедой. Мне больше некуда было пойти…

Я просто ошибся. Они приезжали не за мной, грязным растрепанным доходягой с завшивленных нар барачной Ханкалы…

Тамбовский волк

Этот громадный, за два с лишним метра славянин, явился в нашу палатку уже за закатом. Он бросил свой РД и долго возился у входа, разбивая ломом суковатые листвяжные чурки. Потом собрал поленья, забил ими печь, и принялся варить в котелке едкий густой чифирь.

В огромной этой палатке было пусто, как в степи. Мы впятером валялись в одном углу и давно не спорили, кому нынче топить буржуйку. Мы мерзли, но не желали шевелить и пальцем в сторону печи. Мы стали такими философами этой жизни. Нас уже обокрали, уже бросили, уже забыли. Разве что-то измениться, если здесь вместо холода будет тепло, а вместо мрака свет?.. Разве отпустит нас Ханкала, если мы осветим и обогреем какой-то ее барак?..

Начатое великаном чаепитие переросло в попойку. Кто-то притащил водки и за каких-то два часа сложил в штабеля всю нашу компанию. У буржуйки остались только я и гость. Я, потому что поклялся не пить в этот год, он, потому что пил наравне со всеми.

Как ему попала в руки, валявшаяся в темном моем углу книга, я не усмотрел. Он, пьяный, большой и невозмутимый, сидел и мял ее в нетесаных своих пальцах. Затасканная, в мягком переплете книжонка, одного известного автора. Давно не было задней корки. На передней стояло какое-то грозное название и имя издаваемой серии: «Спецназ». Раньше эта макулатура шла у нас на растопку печи и в туалет. Два дня назад я присвоил ее себе, чтобы хоть на что-то отвлечься.

— Ты, что, до сих пор веришь в это? — спокойно, не переменив лица, спрашивает полночный гость.

«Нет» — чуть не срывается у меня с языка. «Нет, не верю» — хочу ответить я, но здесь некому врать:

— Раньше верил…

Качая головой, он протягивает мне книгу:

— Знаешь, мне казалось, что так и нужно прожить свою жизнь…Я не о книге. О людях, которые живут для других. И по-особому живут, рядом со смертью. Ради чего-то воюют, что-то еще защищают… Я раньше так мечтал одеть форму, так завидовал тем, кто ее носит, так хотел уважения и наград… Я думал, нужно быть сверхчеловеком, чтобы добраться до этого…

— Это ведь детство, — говорю я. — Это у каждого было.

— Да, — соглашается он. — Детство было у каждого…

…Детство. Дорогое слово из счастливого прошлого на миг пресекло, перебило наш разговор. Словно просветлел и разошелся, скопившийся по углам мрак.

Детство! Ну, разве не было в нем этой военной романтики,

этого заманчивого кровавого похода? Разве не мечтали мы о такой ночи, когда за брезентом палатки будут лежать бухты колючей проволоки, будут летать случайные беспощадные пули, будет сотрясать землю могучая артиллерия дивизионов?

Всё произошло…

Вот мы молча сидим в холодной своей берлоге, совсем рядом с бывшей своей мечтой. Она наступила, эта ночь. Но наступила в доме, а не на дворе. Проползла в душу. Все они сбылись, старые мечты нашего детства. Сбылись и у меня, и у него. Вот мы, бывшие романтики, безропотно сидим у открытой печи с красными от огня лицами. Давнишние выпускники обманувшегося детства. Сидим и никак не можем поверить в этот обман.

Он вновь берет книгу из моих рук:

— Мало хороших. Мне почти не попадались. Это, — подводит он палец к грозному названию, — враньё. И много таких. Я сколько не читал — чушь. Не знаю, кто это так… Мне кажется, штабные, тыловые какие-нибудь, писаря, паркетные полковники… Боевой офицер, солдат, этого бы не написал. Там всё так громко, наигранно: дело настоящих мужчин, никто, кроме нас, справедливая месть, победа доброго над злым, эти рыцари в белых перчатках, всегда идущие по дороге правды, жертвующие собой чуть ли не за каждого встречного… Откуда они это взяли?!

Понимаешь, я попался на эту удочку. Не на книги, на живых людей, которых встретил до Армии. Спецназ! Краповый берет! Солдаты возмездия! Они были такими сильными, кого я встретил, такими мощными и достойными здоровой зависти, что я просто не устоял. Я помешался на этом, захотел жить, как они.

Но они ведь ничего не рассказывали!!! Ничего, понимаешь! Я вспомнил это потом, когда было уже слишком поздно. Когда сам подался по их пути. Они молчали, но не из скромности, не из пренебрежения к другим, не воевавшим, а от горя. Оттого, что не поворачивался язык рассказать то, на что смотрели глаза…

…Ветеран карабахской, абхазской и осетинской, ветеран первой чеченской, участник недолгой дагестанской, действующий боец этой войны, минутный мой товарищ не перестает жечь свои сигареты, и никак не может протрезветь. Прислонив к голове руку, он читает мне собственную, еще неписанную книгу Ненависти и Правды:

— …Там не было никаких подвигов и славы. Там вообще ничего не было, кроме крови. Кроме вырванных кишок и отрезанных голов. Кроме смерти, которая каждый день ездит у тебя на плечах и тянется к твоему горлу. Какие там жертвы за первого встречного? Каждый первый встречный — враг! Все, кто

не с тобой — враги! Всех под нож, под пулю, под землю! Там нет никакого стремления к добру, к справедливости. Это всё сказки для мертвецов. Выживают только самые жестокие, самые свирепые, самые безжалостные.

Мы возвращались с задания по одному, по двое со всей группы. Самые лучшие. Самые равнодушные и недоверчивые. Самые бешеные. У кого никогда не было другого бога, кроме Дьявола. Мы сеяли вокруг себя столько смерти, столько страдания и зла! Мы были такой чумой, такой заразой войны! И ничему живому не было от нас спасения. Мы не оставили в живых ни одного пленного. Мы никогда никого не жалели, но и сами были разменной монетой, сами ни у кого не вызывали жалости. Главное было выполнить задачу. Мы даже не успевали к кому-то привыкнуть, а уже закрывали ему глаза. Мы попадали в засады, в ловушки, выходили из окружения, теряли своих товарищей, подыхали сами. И столько своих мертвых бросили, спрятали в ямах, в лесу, в пещерах. Спрятали, чтобы потом вернуться, забрать и похоронить. Да только вот никогда не возвращались… Они так и лежат там, объеденные лисицами, шакалами и червями. Некому было за ними возвращаться. За одним выходом следовал другой и те, кто прятал эти трупы вчера, сегодня умирали сами. Им даже редко сочувствовали, этим погибших. Если бы кто дал волю чувствам, он бы просто сошел с ума…Стать умалишенным, это ведь еще хуже, чем умереть.

Конечно, был товарищи. Настоящие, за кого и себя не жалко, но таких было лишь трое за много лет. Двоих я видел последний раз на первой чеченской, в 95-м, живыми. Про третьего ничего не знаю еще с Осетии. — Он ухмыляется мучительной какой-то улыбкой. — Я рад, что не знаю. Это было бы тяжело, знать, что их нет…

…В печи догорают последние головешки листвяга. Взяв минуту молчания, приостановила свою работу свирепая артиллерия. Укатили за полночь скорые стрелки часов.

— Куришь? — вскрывает он черную пачку «Петра».

Я ворошу кочергой угли и совсем не гляжу на сигареты. Он, сложив на коленях руки, молча смотрит на огромные неповоротливые свои ладони. Сгибает и разгибает, не ладящие с мирной работой пальцы.

— Знаешь, я бы в труде прожил. Как отец, — выкладывает он давнюю свою мечту.

На его одежде нет ни одной нашивки, ни одного знака, ни одной железки. «ОМОН, СОБР, спецназ, ГРУ, а может и просто какой-нибудь «дикий гусь»… — равнодушно размышляю я, и, не надеясь получить ответ, спрашиваю об этом:

— Откуда?

Но я ошибся, посудив по себе. «Откуда?» — это ведь вопрос не о профессии, а о родине.

— С Тамбова. Знаешь про город такой?

— Знаю. Говорят, там люди — волки.

— Нет. — Отрицательно мотает он головой. — Хорошие там люди. Это мы — волки.

Исполинский оборотень из Тамбова, он тянется к мохнатой своей груди и, поковырявшись в х/б, сует в мою ладонь большие черные погоны с арабской вязью — почетный трофей, взятый с крупного бандитского командира.

— Видишь? Своими руками снял, — тычет он пальцем в погон. — Все кровью залиты были, когда снимал. Схватил-то я их чистенькими, на живом хозяине, а снял только с мертвого… Все в крови были! Понимаешь меня?

«Погоны теплые…» — думаю я, уже все обо всем догадавшись:

— Когда мусульманину отрезают голову, он не попадает в рай.

— Да. Не попадает, — успокаивается он. — Затем и отрезал, чтобы до рая не дошел. Не зачем ему туда…

Я возвращаю, исписанные тонкой арабской вязью погоны, — две почерневшие страницы, выдранные из старой восточной книги.

— Все в крови были… — снова повторяет он. — Да ничего, отстирал я…

Мы разошлись спать, а утром, поднявшись раньше других, я уже не обнаружил на нарах вчерашнего нашего гостя. Позже, когда проснулись остальные, кто-то мельком вспомнил про случайный его визит:

— Кто это был-то хоть?

Ему безучастно ответили:

— Да, тоже, неудачник какой-нибудь…

Имени его я так и не вспомнил. А забракованную им книгу роздал ребятам. Она ведь, действительно, была дурна. Да и не до чтения было нам. Нужно было растапливать печь и хоть с чем-то ходить по нужде.

…Много времени прошло с той поры и много жестокости пришлось увидеть мне на войне. Были пожары, разрушения, убийства. Валялись на земле, обезображенные ножами, сожженные заживо русские трупы. Освобождали мы своих пленных с отрезанными носами и вырезанным пахом. Болтались на шеях наших солдат высушенные ожерелья из чеченских ушей.

Совсем маленьких, как сувенирные медальоны. И все же ничто не запомнилось мне так, как те, снятые с обезглавленного бандитского командира погоны; теплые, давно отмытые от пролитой крови.

Но это не было верхом жестокости. Это вообще не считалось жестокостью.

Он не был палачом, безымянный мой гость из несчастливой чеченской сказки. Тамбовский волк, заступивший бандиту дорогу в рай.

* * *

…А еще в это утро приехал мой брат. Он привез с собой такие же гадкие консервы, которыми был набит и мой вещмешок, привез те же пустые карманы, что были пошиты и на мой камуфляж. Но, кроме всего этого, с ним приехала какая-то прочная, нерушимая надежда. Надежда на обязательное счастье, которое уже вот-вот постучится в двери.

Это счастье лежало за пределами человеческого сознания. Но мы и не были людьми.

Все, что входило в слово «счастье», — это была дорога из Ханкалы. Дорога не домой, не к миру, а в самое пекло войны. Туда, где от завтрашнего дня можно было ожидать только одного: жизни или смерти. Туда, где нам будет легче, проще, надежнее, чем здесь.

Она нашлась, эта дорога. Брат вытащил меня из отхожей ямы Ханкалы. Мы еще сидели в ее палатках, еще наблюдали недолгий ее день, но уже знали, что, ни сегодня, завтра, навсегда улетим отсюда. Мы уже были зачислены в списки 74-й Юргинской бригады. Той самой сибирской бригады, увенчанной славой обоих чеченских походов, уже принявшей от врагов грозное свое имя — «Бешеные псы».

…Все эти дни стояли туманы, и за нами никак не прилетал вертолет. Но куда-то ушло мое отчаяние. Его сменило равнодушное спокойствие и какая-то беспечность. Беспечность жизни перед неотвратимостью смерти. Я ведь знал, куда вернулся. И наивно было полагать, что именно мне придется остаться в живых. Над всем властвует случай, и к чему о чем-то переживать?

Бешеные псы 74-й бригады… Русские наши ребята… Думаете, никто не погиб?

Вон они, еще ходят с нами за водой, еще утаптывают у порога снег, еще голосят пьяные песни, делятся с нами хлебом и теплом,

бескорыстные наши товарищи. Те, кому остается жить лишь несколько недель. Эти будущие мертвецы, чьи звезды уже освобождают небосвод.

Чечня! Это был такой звездопад человеческих жизней! Они все летели и летели, сорвавшиеся с орбит, отгоревшие наши светила. И не было в мире такой ночи, когда бы небо не засыпало ими землю… Оно так обеднело, так необратимо переменилось, звездное небо нашего детства.

Два молодых снайпера из соседней палатки, всегда державшиеся вместе. Они не успели в нашу бригаду, и ушли в комендатуру Грозного. «Повезло! — говорили про них. — В городе проще, больше жизни». Через десять дней обоих застрелил в ночной дуэли чеченский снайпер.

…Вон они, еще ходят с нами за водой, еще утаптывают у порога снег, еще голосят пьяные песни, делятся с нами хлебом и теплом, бескорыстные наши товарищи. Они еще не слышат, как зовут их мертвые, они еще не видят, как те поднимаются им навстречу.

Ребята, товарищи, земляки, братья… Они умирают заново, стоит лишь вспомнить их имена.

Туманы никогда не приходили с пустыми руками в наш городок. Они всегда несли с собой снег или дождь, всегда воровали солнце. Они легко пролезали сквозь колючую проволоку, легко пересекали минные поля. И за нами никак не приходил «борт».

Помнишь, брат, долгие вечера Ханкалы? Мы сидим с тобой на затасканных матрасах, едва очистив свои сапоги. За пологом нашей палатки ревут канонады, и берет начало безбрежный океан жидкой чеченской грязи. Видимый в солнечный день, растет на горизонте зловещий Город — холодное царство мертвых, в котором еще теплится жизнь. Мы лениво ковыряем из банок походный свой ужин. А она не лезет в рот, поганая эта каша! И вот, через силу заставляя себя жевать, мы горько отшучиваемся старой фразой из детской сказки: «Ложечку за маму, ложечку за папу, ложечку за Олю, ложечку за Люду…» У тебя на ногах различные, когда-то бывшие одного размера сапоги. Это я, прозевав минуту, спалил их на костре еще там, в золотистых даурских степях, на ледяном аэродроме Чиндана. А еще рядом с тобой сидит самый настоящий усатый кот, что не бежит от рук, но воротит морду от еды людей. Откуда ты взял этого кота? Черного, как ночь, но немногим чернее обоих нас.

Видишь, брат, вот мы и снова вернулись туда. Сколько лет прошло с той поры, а оно все не отпускает от себя, тяжелое наше прошлое. Мы, как и прежде, снова стоим на той дороге, провожая

вчерашних своих товарищей, их уходящие в Грозный и Аргун колонны. Мы, как и прежде, безропотно ждем своего «борта». Мы еще не знаем, чем же закончится этот жестокий сон.

Господи! Разбейся сердце от этих воспоминаний!

Саша, ты помнишь, какими наивными, какими молодыми были мы?! Как верили, что будем гулять до конца веков по этой земле!

Мы были так сильны, так неустрашимы там, на крохотном пятачке чеченской грязи! Там, в Ханкале, в самом конце второго тысячелетия. Мы вдвоем могли бросить вызов целому свету.

На адресе счастья

Декабрь 2000 года.
Северный Кавказ:

Уже прошел и остался позади долгий месяц зимы. Я все чаще задумывался, но не мог понять и ответить себе, для чего я вернулся обратно. Видит Бог, не из-за денег. Мне не хватало воздуха до тех самых пор, пока я вновь не ступил на эту землю. А, ступив, не сдерживаясь, закричал: «Горы! Я вернулся к вам!!!»

Горы! Они ничуть не изменились за эти три месяца. Разве что почернели их, оставшиеся без листвы деревья, разве что побелели их рыжие голые вершины.

Горы! Почему-то в тот миг я был по настоящему счастлив. Мне казалось, я действительно обрел настоящее человеческое счастье, которое еще никогда не подходило ко мне так близко. А ведь несколько дней назад, дома, в Даурии, Моздоке и Ханкале, я думал, что у меня навсегда охладело сердце, навсегда откипела кровь. Несколько дней назад я еще задыхался от горя и отчаяния. И вот теперь, когда мы прыгали с вертолета на утоптанный снег плато, я понял, что он пришел, долгожданный Мой день. Самый счастливый день, когда меня слышали все: «Горы! Я вернулся к вам!!!» Теперь я знал, что избавился от всех своих волнений и неудач, которые преследовали меня в прошлой жизни. Там, где так легко жилось до Чечни и так невыносимо после.

Я понял, что уже не могу без войны. Придя ко мне однажды, она так легко завладела моей душой и отняла у меня сердце. Ну, разве можно было не вернуться сюда? К этим рейдам и зачисткам, к этим аулам в высоких горах. К тому дикому напряжению сил и нервов, которое они рождали. К этой ненависти и страху, усталости и равнодушию, к опасности и риску.

К риску! Я, никогда не болевший азартом, вдруг открыл для себя самое большое его безумие: если уж чем-то рисковать, то

только собственной жизнью. Это ведь самая азартная игра! Это ведь самая дорогая ставка! Люди, вы убоги, те, кто играет на деньги, на интерес, для славы. Вы мелочны и не знаете настоящей игры.

Чечня… Страна боевого солдатского братства. Страна риска, мужества, честности, жертвенности собой. Нужно было быть бесчувственным негодяем, чтобы это забыть.

Иногда мне казалось, что все могло быть иначе, если бы кто-нибудь, очень близкий мне человек, объяснил, что все лечит время, что не нужно убегать на войну, что все еще образуется в моей жизни, снова встанет на прежнее место. Что нужно просто жить дальше. Я ведь думал только одно: «А как жить, если я не умею этого делать? Если слишком поздно учится этому ремеслу?» Я просто испугался тишины. Я давно научился не верить в ее обман. И меня никто не остановил, не отговорил, не дернул вовремя за руку. Никого не было рядом, чтобы предотвратить сумасшедший этот поступок. Оставшись наедине с самим собой, не требовалось большого времени на раздумье. Почему-то при мысли о том, что я могу выбирать между миром и войной, приходило чувство самостоятельности и уверенности в себе. И даже сейчас трудно сказать было ли это обманчивое чувство.

Я сам загнал себя в этот угол. Я сам был виноват во всех своих несчастьях и разочарованиях. Но не мог этого признать даже перед самим собой. И, как оправдание, выдумал сам и пустил в уши другим старую сказку о несчастливой любви.

Но была ли она ложью, старая моя сказка? Но разве я кого-нибудь ей обманул? Все-таки нет. Он ведь действительно был, мой давний поход на Кавказ. Она ведь не приснилась, она была жива, светлая моя любовь. Все случилось не в сказке, не во сне, а в жизни. И явь была прекрасней сновиденья.

Ведь это правда: когда я вернулся со своего похода, меня уже никто не ждал. Может, это и была одна из главных причин, толкнувших обратно.

И вот теперь я хотел только одного: полюбить. Полюбить так, как еще никто никогда не любил. Я опоздал с этим дома и чувства, для которых не было расстояний, нагнали меня здесь. И я доверился им, слепым своим чувствам. Я выбрал себе Богиню, которая, может, совсем не подходила на эту роль. Но это было уже не важно. Главное, теперь я был не один.

У меня перестала болеть душа, я перестал завидовать другим, кто хоть раз в месяц получал письма. Я верил, что оно тоже придет, долгожданное мое письмо.

Я стал срываться на каждый выезд. Я полностью выматывался на многосуточных рейдах, но рвался к ним вновь. Меня словно

одолела какая-то идея исколесить всю Чечню. Истоптать ее горы, излазит ее ущелья. И это нужно было сделать срочно, сейчас. Пока не стало слишком поздно, пока не прекратилась война. Потому что завтрашний день запросто может привести сюда мир. И если такое случиться, мне не отыщется места на этой земле.

Центороой, Чаганки, Белготой, Дарго — дремучие горные аулы, закрывшиеся черной щетиной лесов. Они открыли счет второму моему походу. Если прежде я катался по пустынным равнинам и ползал по голому камню у облаков, то теперь попал в непроходимые чеченские дебри.

Мы жили в лесу в палатках, землянках, времянках. Вокруг убогих наших жилищ всегда росли яблони, груши, буки, дубы. Они начинались сразу за порогом и не заканчивались до самого горизонта, до самых вершин сопредельного Дагестана. Чтобы начать любую зачистку, засаду, поиск или рейд, нужно было просто сделать шаг в этот лес, просто откинуть полог своей палатки. Днем мы плутали по оврагам, кочевали по вершинам, срывались в ручьи и горные реки, стирали ноги и выбивались из сил. Днем мы торопились закончить свой путь. Но в какой бы час не садилось солнце, мы никогда не успевали, нас вечно настигала ночь…Они были такими тяжелыми, долгими и непроглядными эти ночи. Где-то недосягаемо высоко тек Млечный Путь, падали с неба синие звезды, полз над землей белоснежный месяц. А мы едва шли через черный лес, едва видели друг друга и сбивались с пути. За каждым камнем и кустом нам чудился враг, каждое дерево прятало за собой засаду или ловушку, каждый шорох мог принадлежать только человеку. Мы спали на снегу, в гнилых колодах, на голой земле, а вокруг нас собирали желуди и ворочали сучьями дикие кабаны, выли шакалы, да неслышно ползали натасканные в партизанщине «духи». Утром мы видели следы людей, и каждый первый не мог побороть в себе страха, а каждый второй сжимал зубы и занимался яростью.

Зачем я ходил туда, зачем набивал мозоли, мерз, голодал, рисковал быть убитым? Откуда оно взялось, это желание, везде успеть?

Меня гнал туда страх. Он сидел где-то в подсознании и не переставал подавлять разум. Теперь я боялся остаться наедине со своим разумом, который все время задавал один и тот же вопрос: «Что будет потом, когда всё это кончится?» Эти мысли не приходили во время операций, там было не до них, они появлялись только в лагере, только в расположении батальона. И я бежал от этих дум в самую чащу дремучей Чечни! В самые жуткие и непроглядные ее места! Уж лучше бой, кровь, смерть, чем это одиночество, чем этот страх перед неизвестностью. Но

проклятый голос разума преследовал меня и там: «Что будет потом, когда всё это кончиться?» «Ничего! — заходилась криком моя душа, — Ничего такого, кроме того, что я потеряю смысл жить».

И тогда я нашел единственный выход: только начав шестимесячный срок своей службы, я решил продлить его на год.

Меня ждали дома, а я всё не мог наваляться в засадах, в секретах, в окопах. Я совсем забыл, как, бросив всё, однажды бежал отсюда домой.

…А еще сюда, в несчастливую эту страну, приходил светлый и добрый праздник — Новый Год. И даже мы, давно не знавшие причин радоваться, вдруг вспомнили и заново пережили трогательные минуты своего детства, наивные его загадки и радужные его мечты. Но совсем по-другому, совсем по-взрослому звучала теперь новогодняя наша мечта. Она прорывалась наружу уже за несколько дней до праздника: «Пусть Басаев с Хаттабом сдохнут в новом году!»

Новый Год. Это было такой важной проблемой в России, но совсем не было проблемой здесь. К нему не надо было готовиться, собирать подарки, писать поздравления, слать кому-то открытки. Он приходил и всё. Обычный год, какие бывали и раньше. Разве что, для кого-то последний.

А мы так готовились встретить его здесь, что еще дома задумались о елке и о шампанском. Мы хотели привезти их с собой, но ни у кого ничего не вышло. Шампанское было выпито еще в Забайкалье, отобрано по приезду сюда старшими офицерами, или же в сердцах разбито нами у ног последних. А елку все равно бы пришлось выкинуть; за это время она бы растеряла все свои иглы.

Нам повезло, что к этому Новому Году не нужно было готовиться. Он приходил и всё.

…Это случилось после одного рейда. Она пришла ко мне во сне в легком и тонком платье, в холодную зимнюю ночь. Она вошла, и куда-то пропала, превратившись в светлую комнату, сумрачная моя палатка; она села рядом, и мокрые, застеленные шинелями доски, сменились постелью. Я лежал с ней и не мог поверить в свое счастье. Я терпеливо ждал, пока она заснет, а потом подошел к окну и не мог надышаться воздухом. А там за окном простирался огромный город. Полный огней, тишины и зеленого лета. Там за окном стоял Барнаул. Я узнал его сразу, хотя уже давно не жил в нем, уже давно из него уехал. Их просто нельзя было не узнать, эти огни, что каждую ночь зажигались за окнами солдатской моей казармы. Что тревожили сердце и звали с собой за проволоку расшатавшегося забора. Они вновь стояли за

окном, друзья моей юности, — синеглазые фонари и золотые витрины барнаульских улиц, — тайные свидетели ночных моих походов, гулянок и самоволок.

Уличная тьма все ближе подползала к окну и, наконец, шагнула в комнату. Начал тонуть, расплываться за стеклом Барнаул. Уже померкли и сделались слабыми точками яркие его огни. Пропала, а может, просто ушла нежная моя женщина.

…Автоматов работало сразу несколько. Они стреляли непрерывно и долго. Махонькие огоньки фонарей вдруг превратились в трассера и медленно полетели к моему окну. Я равнодушно смотрел на них и не мог двинуться с места. А потом, проснувшись, еще долго не открывал глаз, пытаясь понять, откуда в Барнауле стрельба. Неужели война и сюда дотянула жадные свои лапы? А, открыв глаза, увидел над собой грязную, закопченную крышу палатки… Чечня!!!

Я снова был здесь. В этом глухом лесу, в брезентовом своем жилище, на самом дне холодной земляной ямы. Я никуда не отлучался из этой тюрьмы.

Рейд

Сегодняшний день:

…Только что вышла луна. Белый молочный свет стоит над мертвой пустой дорогой. В холодном унылом лесу лежат под деревьями серые пятна снега. Собравшись у командирской палатки, негромко переговариваясь между собой, мы нагружаемся в трудный ночной рейд. У меня не хватает в вещмешке места, и я ссыпаю в карманы дополнительный боекомплект. Сухпай на несколько суток, вода, оружие, котелки, лопаты, пилы, топоры, спальники… На каждом по пятьдесят-шестьдесят килограммов груза. Оставлены, как лишний вес, ненужные нам бумаги: теплые домашние письма, затертые военные билеты, старые записные книжки. Взяв на спину невыносимую «сто пятьдесят девятую» станцию, садится и уже не может подняться щуплый радист-азиат. Кто-то забирает у него аппарат.

Мы идем уже несколько часов. Идем, задыхаясь, выплевывая липкую густую слюну, цепляясь руками за древесные стволы и ветви, падая друг на друга. И никто не может встать заново без чужой руки. Даже на кратких своих привалах мы стоя вешаемся на деревья, опасаясь, что при подъеме с земли, просто не выдержат мышцы.

Изматывающий ночной рейд… По лесам, горам, по оврагам и рекам… Рейд на полной выдаче сил, при полном отсутствии

реальности. Это я и не я ползу сейчас с разбитыми в кровь руками на новую высоту. И стараюсь не думать, что за ней встанет другая.

…Я сижу на земле, ковыряясь в кучах опавшей листвы. Мне нужна вода. Ручей почти мертв и ту жижу, что катится по дну, едва можно собрать в ладонь. За спиной, не оборачиваясь на меня, проходят своим маршрутом группы. Они медленно поднимаются по тропе, медленно утекают во мрак. Уже никого нет. Только я и лес. Обступив русло ручья, висят на корявых ветвях подмытые черные буки. По мохнатым валунам бродят зеленые пятна луны. «Надо идти…», — говорю я себе, и снова опускаю в воду заледеневшие пальцы. «Надо идти…», — повторяюсь я, но не могу оторваться от грязного пойла.

На вершине пластом лежит рота. Люди грызут под собой снег, и даже командир, положив на землю лицо, уже не поднимает глаз. Мы так и валяемся на этой высоте с оружием, даже не скинув груза с плечей. Это выше человеческих сил — бросить и снова поднять свой вещмешок.

Я разорвал сапог, и теперь на каждой переправе проверяю босой ногой температуру речной воды. У меня нет и минуты вытащить, выгрести, лежащий под пальцами снег. Я давно не чувствую своей ступни, но боюсь остановиться, понимая, что уже не догоню роту. «Скорей бы убили», — думаю я, потому что не знаю, хватит ли остатка жизни, чтоб отдохнуть.

Мы проходим по какому-то селу. Из-за высоких оград изредка лают громадные псы, в нескольких домах зажигается и гаснет свет. Мы идем в полном молчании, и только у кого-то за спиной стучит плохо привязанная крышка котелка. Но для нас ничего этого нет. Нет села, нет лая собак, нет дороги, ночи и луны. Есть лишь она: одинокая чужая спина, что все уходит и уходит вперед. И главное — не потерять, не отпустить ее от себя. Нужно лишь помнить, что кто-то другой, не ты, должен первым закончить этот рейд. Сломаться, отстать, сдохнуть…

…Их группа выбилась из сил, осталась позади роты, сбилась с курса и проскочила наше ущелье. Они не сели на отдых, не остановились, не посмотрели вокруг. Они просто шли вперед, тупо, безразлично, на полном автоматизме. А их уже ждали, уже зажигали на их пути яркие сигнальные огни. Сначала, всё отдаляясь и отдаляясь, впереди горели какие-то фонари, затем вспыхнул костер, еще позже взлетела с земли зеленая ракета. Им казалось, что они догоняют роту, а их вели в ловушку: в плен и на смерть…

Нагнали их бойцы разведроты. Кто-то из командиров вовремя начал считать людей.

…Заходят ночные светила. Уже не деревенеют мышцы и нам все равно, продолжит ли наши страдания день. Исчезло всё: усталость, злоба, голод и сон. Мы будем идти, пока не свалимся замертво.

…Пока мы были на ногах, никто помнил про ветер. И вот теперь, когда можно было упасть на землю и уснуть, мы не знали, где искать от него спасения. Тяжелый, с мокрым снегом, он сдирал брезентовые накидки, забирался в спальники, заносил лицо. Мы лежали на голом поле, прижавшись друг к другу, спрятавшись за кочки, укрывшись по ямам, выплевывая изо рта снег и песок. Потом кто-то нашел старые окопы первой войны — размытую узкую колею. Мы просто переползли, перекатились в это убежище. Никто не вышел на пост охранения. Нам было все равно, проснемся мы или нет.

…Подтянув под себя босые ноги, мы сидим на бревне, и сушим на костре промокшую за день одежду. От выставленных в ряд сапог восходит густой едкий пар. Брошенные на них сизого цвета портянки, зияют широкими своими прорехами. Небрежною кучей свалены наземь раскрытые вещмешки. Костровой дым пахнет тушенкой, жженой кирзой, дешевым солдатским чаем и еще каким-то печальным, каким-то теплым и неуловимым запахом…Запахом школьных пионерских костров. Запахом позабытой далекой родины…

Вокруг нас сплошное белое поле, откуда, медленно собираясь, подходит к огню, поднявшийся из-под снега взвод. Подкуривая непослушными руками, садятся ближе к теплу хмурые наши товарищи. Жаль, ни у кого из них нету спирта…

Уже вечер. Мы спали весь день. Утром снова на марш.

…Даже теперь, через столько лет, меня до сих пор не отпускает тот рейд. Их были десятки, таких рейдов, но снится всегда один. По ночам я все еще тащу в горы тройной свой боекомплект, оружие, спальник, сухпай… Все еще не могу напиться из грязного того ручья в холодном чеченском ущелье. А за спиной, все также, не оборачиваясь на меня, проходят своим маршрутом группы. Они медленно поднимаются по тропе, медленно утекают во мрак… А надо мной висят на корявых ветвях подмытые черные буки. И рядом бродят по мшистым валунам зеленые пятна луны… Я помню, какой свежий, какой сладкий вкус имела она, как жадно я собирал ее со своих ладоней… Я так и не напился ей досыта — живой водой чеченского леса.

…Через несколько дней мы вышли в Зандаку.

От той грозной силы, что ушла отсюда прошлым летом, остались лишь огромные траншеи окопов, ржавые простреляннные

«буржуйки», рваные с золотыми якорями шинели, да недобрые воспоминания местных банд.

Морские дьяволы Севера… Я видел этих морпехов на рынке Хасавюрта в апреле 2000-го. Тогда мы стояли много километров выше Зандака, но по праву считали их своими соседями. И гордились этим соседством. Потому что уже тогда их подвиги, мертвых и живых, были известны нам из газет. Кто видел в военных журналах второй чеченской фотографию «Гордый рейд морпехов», знайте, — это оттуда, из мрачных чащоб Зандака, из той кузницы, где ломалось железо, но не согнулся человеческий дух. Отыщите это фото еще раз и снова вглядитесь в их лица! Эти, идущие навстречу смерти ребята, — наша гордость, наша надежда и наша боль. Они всегда были первыми, они часто проливали свою кровь, но еще чаще лили чужую. За это их уважали, боялись и ненавидели здесь.

И вот там, в Дагестане, при короткой и случайной встрече на рынке, мы едва успели сказать друг другу несколько слов. Мы еще только выгружались из БТРа, а они уже покидали город и собирались у кунга ЗИЛа. Черная пехота Зандака — голубоглазые ангелы смерти, русоволосые наши мальчишки, с добрыми светлыми лицами… Они так не вязались с тем образом, который дала им война.

— В Зандак?

— Да. Успеть надо до вечера.

— Что там у вас, мужики?

— …Зиму пережили, — как-то спокойно и по-хозяйски улыбнулся их командир.

Зандак. Зима 2001-го года:

Здесь, как у себя дома, открыто гуляли распоясавшиеся наемные банды: негры, арабы, прибалты, хохлы. Те, кого за нехваткой времени, не успела зарыть в землю грозная пехота северных морей. Они никуда не делись, никуда не бежали из здешних лесов.

Мы садились в засады, устраивали секреты, ходили по ночам в этот лес на поиски врага. Даже сейчас мне хорошо помнится то, что они были безлунны, давние эти ночи с неясной надеждой на утро. Так стоял такой мрак, такие чащи из ветвей, старых пней, лиан, стволов и кустов, что даже посланные в нас пули сворачивали с пути. Неуловимые вестники смерти, они пролетали где-то над ухом и, вовсе не жужжали, а как-то неприятно скрипели в воздухе. Но часто был неслышим и невидим сам враг.

На партизанской этой войне мы уже усвоили главное правило: ночь всегда опаснее дня и, если ты встретил утро, значит, будешь жив до тех пор, пока снова не сядет солнце. И

промежуток между утреней и вечерней зарей — это огромный пласт времени, в котором почти не убивают, в котором можно попробовать излечиться от страха. Мы привыкли, что смерть — это гостья ночи, и уже не ждали ее днем. И жизнь вновь подтвердила эту истину.

Первым погиб командир. Он шел впереди и даже не успел понять, что произошло. Видимо, его подвело чутье, видимо, он уже устал от войны. Он еще что-то кричал, еще шел в полный рост, требовал прекратить стрельбу, полагая, что это ошибка, что второпях напоролись на своих… А потом прилетела эта пуля и разом все кончилось. Снайпер попал ему в лицо и от удара у него развалился затылок.

Боевики били из-за деревьев, из-за плетеной ограды забора. Взвод, пригнувшись, бежал с одной его стороны, а они, встав в полный рост, в упор стреляли с другой. Все спешили навстречу огню, и никто не вспомнил, что вчера и все дни до этого, многие офицеры называли нас трусами, многие говорили, что при первом же выстреле мы потеряем отвагу и в панике подадимся назад. Никто не отступил, никто не кинулся в сторону.

Один был застрелен в живот и, падая с разбегу на камни, разбил себе лицо. Он так и лежал, с синими руками у порванных скул, весь в крови от паха и до бровей.

Откуда-то с опушки колотил пулемет, ломались, срезанные им ветви, рикошетили от мерзлой земли, летящие пули. Вслед за командиром свалилось фланговое охранение, закричали первые раненые. Кому-то из них перебило ноги и он, не в силах подняться, крутился на одном месте, протягивая руки к своим. Вокруг прыгали пули и Мутный, первый, кто кинулся на помощь, не добежал лишь несколько метров. Его застрелил тот же снайпер, что минуту назад открыл нам счет. Раненого вытащил другой.

Это была обычная засада, обычная тактика партизанской войны. Обычная смерть, которой когда-то заканчивается наш путь.

Кто сумел отбиться и выжить, остались служить дальше, кто не сумел, кому не повезло, отправились по домам. Они так и улетели от нас, на одном вертолете, все вместе, наши убитые.

А через несколько дней после этого боя солдат из гранатометного взвода нашел в кустах чью-то грязную, всю в надписях, нательную рубаху. Он знал Мутного еще по Забайкалью и сразу разглядел свой почерк. Когда-то, перед самой отправкой сюда, они писали пожелания друг другу, оставляли телефоны и адреса, и собирались встретиться после войны. А Мутный, вместо блокнота и тетради, положил перед всеми белую солдатскую

рубаху. Этот памятный альбом с именами, с телефонами и росписями товарищей, со словами «Счастья тебе, брат!», «Мы обязательно вернемся!!!», «Пусть третий будет только за любовь!», болтался теперь на мокром голом кусту, измазанный грязью, с надорванным рукавом. Наверное, когда разбирали вещи убитого, — никому не нужное это наследство, — кто-то правильно решил, что мертвому вряд ли пригодятся пожелания и адреса живых. Потому что не мертвые приходят к живым, а мы следуют за ними. Туда, на исконный их адрес: на старую переправу Харона, за темный бездонный Стикс, на тихие берега Леты. В смиренную гавань наших отцов…

…Она никому не пригодилась и ее вышвырнули на ветер, исписанную живыми людьми рубаху. А солдат, подобравший ненужную эту тряпку, сложил ее в вещмешок и собирался увезти родителям погибшего. Ведь у него тоже были мама и папа.

Не знаю, довез он ее или нет.

Мутный так и остался при своей кличке среди всех, кто его помнил. Кажется, звали его Александром. Хотя сейчас я не ручаюсь за это.

Говорят, был он хорошим парнем. И этого достаточно.

Не знаю, как на чеченском, но на нашем русском, слово «Зандак», само по себе звучит как-то зловеще. Что-то темное и нехорошее слышится в нем.

Оседлав, ведущую в этот бандитский поселок дорогу, мы утвердили на ней свои блокпосты, понаставили самодельных шлагбаумов, набросали в колею камней, и взяли под контроль всякое движение. Мы ходили в суточные наряды на дорогу, досматривали транспорт, копались в справках и пропусках, и поражались обилию воевавших с нами людей.

Вот они, стоят передо мной, с оторванными на руках пальцами, с обожженными ушами и шрамами во все лицо. У них новые, выданные лишь месяц назад паспорта «граждан РФ». Видно, они недавно бросили оружие и попали под амнистию. Они улыбаются и пытаются шутить. Но я не верю им. Слишком недобры, слишком пристальны холодные их глаза. Может, это давняя привычка, а может, не так уж и далеко бросили они свое оружие.

На этих блокпостах мы часто являли не самый лучший пример своего народа. Часто умаляли свое достоинство и позорили нашу армию. Чеченцы очень скоро поняли, как без лишних препятствий, без лишних вопросов пройти через каждый пост. Потому что мы всегда трясли с них продукты, стреляли сигареты, отбирали одеколоны и водку. И уже через день-два они сами начали привозить всё это и отдавать нам. Они смотрели на

нас, как на попрошаек, а в нас не было гордости, чтобы заметить это.

Нас нельзя было ставить туда. Это было дело спецподразделений, милиции, но только не пехоты. Не тех, кто привык сидеть по окопам, выть на луну и выкармливать вшей. Кто еще вчера отошел от рабочего станка, оторвался от крестьянского своего надела.

Может, кто-то скажет: зачем про это теперь? Зачем о том, в чем не было славы? Но ведь это было. Было на самом деле. И если мы, рядовые, побирались спиртом да едой, то целые состояния вывозили отсюда полковники и генералы. Вывозили машинами и бортами, не на одну квартиру или дачу. Все объяснялось достаточно просто: мы были на войне, у нас был враг, а, значит, должны существовать и трофеи. И вряд ли кто-то из нас испытывал жалость к чеченцам.

Если утро находило нас на блокпосту, то на ужин почти всегда был сыр, лепешки и молоко, реже табак и водка. Стояли солнечные зимние дни, и почти не выпадал снег. Как-то мы даже ходили босиком и загорали на солнце до самого вечера. Но это было, пока не отступал день. Совсем с другими дарами шла сюда ночь.

Лето бежало от нас, едва пропадало солнце. Сразу за закатом возвращалась зима. Она волокла за собой бледные туманы, ветер, град, дождь или снег. За какой-то час каменела и принимала минусовую температуру теплая земля окопов. И еще вместе с холодом в них приползал неотвязный, непостижимый страх. И чем большая тишина населяла округу, тем сильнее хотелось бить в набат и скликать к оружию.

…Я сберег тот мир, не растерял его краски, не позабыл его голос, не оставил и, не предал. Я вновь и вновь вспоминаю Зандак:

…Мы сидим на самом краю обрыва и молча глядим, как, вытекая из тьмы, поднимаются на нашу вершину мутные волны тумана. Они тянутся из ущелья и, перевалив через бруствер, совсем затапливают наш пост. В метре от окопа из белой холодной каши торчат короткие вершины деревьев. Все остальное поглотил туман.

Уже подошла к полночи толстая стрелка часов. Уже выбрался из своей берлоги враг.

По дну ущелья бродят чеченцы и, подражая зверью, поднимают протяжный унылый вой. Мы уже научились различать их голоса, и нас не обманет шакал. Они ждут, когда сдадут наши нервы, и мы начнем бестолковый огонь. Но они напрасно не спят, напрасно ходят здесь по ночам. Нет, это верный расчет, это

верное понимание человеческой психики. У нас давно не в порядке с нервами и мы бы с радостью потратили на этот лес все свои патроны, весь свой боекомплект. Но нам запретил стрелять командир. Запретил взводный, ротный, комбат. Днем сюда приходил бестолковый начальник минометной батареи подполковник Чайка. Он лишь минуту потратил на ущелье, наскоро что-то записал в своей книжке, и поклялся за одну ночь вывести здесь все живое.

Над нашими головами пролетают хвостатые железные мины. Они падают где-то внизу и гонят бандитов на склоны, к границам наших постов. Сквозь разрывы, сквозь тонкий протяжный свист, мы ясно слышим, как щелкают рядом сломанные ветви, как хрустит под ногами старый слежавшийся снег. Эти люди ходят совсем рядом и мы, не имея в тумане глаз, нутром чувствуем друг друга…Они снова здесь — ненасытные убийцы ночи. Они снова пришли за кровью — злое потомство волков. Но нам запретил стрелять командир. Запретил взводный, ротный, комбат…

…Остывают отработавшие стволы минометов, спускаются в ущелье и пропадают в лесу до следующей ночи чеченцы. Освободив окопы, отползает в чащу белесая мгла. Поплыли по небу студеные звезды обеих Медведиц. Теперь, когда все позади, к нам, наконец, подбирается страх…

Еще лишь третий час ночи. И у нас уже не хватает сил…

…Я снова хочу вернуться в тот край!

О, Жизнь, верни мне мое счастье! Отступите назад, бездушные послевоенные годы! Померкни небо Чечни от бомб, снарядов и мин! Завяньте сады Зандака, чтобы снова стать кладбищем!

Я жду возвращения! Дорогу обожженному сердцу!

74-я Юргинская

Март — Апрель 2001 года.
Северный Кавказ:

Отыграв кровавые спектакли, отстреляв в живые мишени, отгуляв столько горьких поминок и сложив столько красивых песен, уходила домой боевая наша бригада. Уходили они — бешеные псы сибирской тайги. Уходили, так и не наохотившись, так и не износив на вражьих костях злые свои клыки. Не догуляв, не доиграв, не доплясав под заказанную ими музыку.

Они уходили без всяких торжеств, без пышных проводов и никому не ненужных прощаний; уставшие, строгие, но бесконечно счастливые, что, все-таки, возвращались домой. Сколько тихой

радости, сколько надежд на завтрашний день было в свирепой этой колонне! И мы — оставшиеся добровольцы сводного батальона — могли лишь завидовать их судьбе, могли лишь раскаиваться, что не пошли с ними. Хотя еще вчера так твердо решили остаться.

…Она все катилась и катилась, прощальная наша колонна. А мы стояли у дороги, искали и находили в ней так много отходившую под нами технику, ту, что столько раз согревала нас в рейдах теплом своих двигателей. Они ползли мимо нас, в глине, в грязи и воде, эти отблиставшие трудяги войны, — наши машины, танки, минометы, «Шилки», «Саушки», БТРы, БМП… — дряхлые истрепанные кареты, которые всегда знали только один маршрут — по самому краю пропасти. Кареты, в которых старый возница Судьба так часто отнимал жизнь…Вслед за колонной, отходя, наконец, в родные края, шагали к своим кладбищам холодные тени павших. Они долго так ждали, когда им покажут дорогу домой…

А еще что-то невероятно огромное, что-то грозное и трагическое уходило с нашей колонной. То, что не всякому удалось пережить на этой земле. То, что много десятилетий подряд заливало кровью и топило в слезах великую нашу Родину.

Снимите траур с нашего дома! Он навсегда ушел, наш несчастливый 20-й век!

…И вот я остался. Сам не зная зачем. Какая-то упрямая и глупая гордость, что все уходят, а я остаюсь, сидела во мне и не пускала назад. Как будто не было никаких дел там, на большой земле. Как будто никто не ждал и не тосковал в моем доме. Но они приходили, легкие маленькие конверты от моих родных, с аккуратным почерком мамы, с тяжелым шрифтом отца. Они звали меня обратно, считали дни до моего возвращения и никому не хотели рассказывать, где же сейчас их сын. И не знали, что за письмо берег он для них.

Оно было заклеено в целлофановый пакет и, вместе с документами, хранилось в мятом алюминиевом котелке. О нем никто не знал, кроме меня и одного человека, который должен был его отправить. А у него тоже было похожее письмо, что так же, как и мое, ожидало лишь случая заговорить.

* * *

…Вот он, оставшийся никем не прочитанным, недобрый привет из мира моего прошлого:

«Здравствуйте Мама и Папа, здравствуй Сестренка.

Если вы читаете это письмо, значит, меня уже нет в живых. Так получилось, что я уже не приеду обратно. А поэтому хочу написать вам о том, о чем бы вы никогда от меня не услышали.

Мама, я знаю, что вы ждете меня живым и здоровым, но я, не знаю почему, совсем не тороплюсь домой. Конечно, я хочу всех вас увидеть, обнять, поговорить с вами. Но мне тяжело уезжать отсюда. Как будто что-то держит и не отпускает. Если бы мне точно сказали день моей смерти, даже тогда я вряд ли стал бы ее избегать. Вряд ли засобирался отсюда домой. Не знаю, как это объяснить.

Я соврал вам, когда сказал, что это вынужденная командировка, что у меня проблемы с законом. Потому что знаю, что вы бы не стали перечить, но мне было бы больно видеть, как вы плачете. А тем более, вы бы не простили себе, что знали правду и все равно меня отпустили. Уехал я сюда добровольно. Не знаю, поймете вы или нет, но я устал дома и давно хотел вернуться обратно. На это было много разных причин, которые теперь уже не так важны. Не знаю, но мне кажется, я потерял смысл в жизни, а поэтому не слишком за нее переживал, отправляясь сюда.

Вы сильно не убивайтесь. Видно это судьба и никуда от нее не деться. Значит, так и должно было произойти. Думайте, что я просто куда-то уехал. Наш командир говорит, что это иногда помогает. У него тоже погиб близкий человек.

Распечатайте «хлебницу». Там мои дневники. Теперь можно их прочитать. Наверное, они покажутся вам наивными, но, думаю, что это хоть какая-то обо мне память. Никому их не показывайте. Жаль, что после Армии я сжег 1994 и 1995 год. Они тогда показались мне совсем детскими.

Позвоните Рустаму, скажите обо всем. Вот его телефон:…

Все-таки я бы очень хотел вернуться. Потому что устал здесь и очень по вам соскучился.

Не знаю о чем еще писать. Наверное, это всё. Всех вас очень люблю.

Прощайте.

Чечня, 74-я Юргинская бригада.

P.S: Я даже не знаю, какое поставить число. Ведь я еще жив. Пусть остается без даты».

* * *

Странно, но, приготовив для родителей посмертное свое письмо, я как-то успокоился и перестал о чем-то переживать, словно снял с себя какую-то ответственность. Я стал так свободно, так легко думать о смерти, что даже та жалость к самому себе, часто терзавшая мое сердце, наконец, утолила свой голод. Теперь, отправляясь на зачистку или в рейд, я ничуть не волновался за их исход. Нисколько не ждал для себя пощады.

А еще однажды я понял, что если и в этот раз мне суждена дорога домой, то все равно настанет тот день, когда я вновь увижу Чечню. Потому что Чечня — это то единственное, по настоящему важное и высокое, на что стоит потратить жизнь. Если раньше я был мелочен, тщеславен, не стыдился несправедливости и обмана, то Чечня освободила меня от всего. Здесь я постиг тайны человеческого бытия. Ведь какими бы разными не были все, сложившие здесь головы, плохими либо хорошими, никто из них не перехитрил, никто не откупился от смерти. И оставили по себе добрую память лишь те, кто действительно держался правды, кто не жалел себя, кто был бескорыстен, прям и великодушен. Так стоит ли лгать, жадничать и думать лишь о себе, если все равно, тебе не жить вечно? Если никто не вспомнит тебя добрым словом даже после смерти. Так стоит ли быть таким, как все?..

Нет, Чечня не сделала из меня святого. И растеряв здесь свои пороки, я вряд ли что-то хорошее приобрел взамен. А, если и приобрел, если и вправду изменился в лучшую сторону, то надолго ли этого хватит? Не сгинет ли всё это там, за пределами войны? Как я смогу жить дальше со своими «долгами», «Родиной», «честью» и «патриотизмом» там, где это не имеет цены?

И поэтому я боюсь возвращения. И поэтому верю, что это не последняя командировка сюда.

Война в Чечне, да и вообще война, — это ведь не только боевые выходы, убитые, пленные, водка и кровь. Это больше нестерпимые, изматывающие бытовые условия, в которые нас загоняла жизнь. Это чесотка. На пальцах и по всем телу. И нет от нее лекарства, кроме соляры. И ты идешь к танкистам просить эту соляру, а тебя даже не спрашивают для чего: нюхать, от чесотки или для печки? Можно было по неделям, по месяцу, таскать на себе, не снимая, грязную одежду, не мыться самому, не пить

никакой жидкости, кроме противного топленого снега, не знать никакого источника света, кроме коптящих солярных склянок. Не иметь другой постели, кроме зловонного засаленного тряпья, не находить более важных дел, как искать на себе вшей. Хорошо, если была баня. Когда этого не было, когда твой взвод или рота, сидели на какой-нибудь высоте, куда лишь раз в неделю пешим караваном доставлялись продукты, то, чтобы помыться, нужно было ждать либо конца зимы, либо просто какого-нибудь чуда: замены, передислокации, отправки домой. А отсутствие сна?.. Что такое, не высыпаться? Оказалось, просто никто не знал этого раньше. Едешь так ночью в кузове машины, которая не по трассе, не по грунтовке, а по вековой лесной дороге, без света, по корням и пням, на ощупь добирается. И водитель постоянно на газ жмет, потому что надо еще два взвода за ночь перевезти. Машину эту во все стороны швыряет, трясет, как в лихорадке, под ногами шмотье от лавки до лавки летает, а ты сидишь, в борт руками вцепился, и спишь. И сны видишь. Глаза открываешь, а люди из сна перед тобой в кузове стоят. И не уходят. И глаза хоть до дыр затри… А еще постоянные, с нехваткой людей, бессменные, на всю ночь караулы… Караулы, в которых едва дотягиваешь до утра. Снег, меняющий дождь. Дождь, прерывающий снег… Эта отвратительная болотная топь, в которую за час превращались любые дороги. Эти земляные окопные работы, вечные наряды в роте, ночные разгрузки колонн, походы за топливом и за водой… Эта невыносимая тоска по дому…

…Но мы уже перестали всё замечать. И даже здесь, в печальной стране войны, мы, наконец-то, научились радости. И она была такой простой, такой незнакомой нам раньше, искренняя наша радость! Мы бы никогда не узнали ее дома.

Мы радовались, если пили сладкий горячий чай, если у кого-то в кармане оказывались сухие сигареты и спички, радовались найденной лишней шинели, которую можно было бросить себе на нары, радовались, взятому в соседнем взводе кассетному магнитофону. Какие мы слушали песни!.. Не военные, не «афганские», не «чеченские». Эта дурная какофония войны давно стала нам поперек горла. Мы напевали Катю Лель, Виа-Гру, Иванушек, Руки Вверх, Шатунова… В них было столько доброго, в непритязательных этих песнях! Как же мы не замечали этого раньше! Почему же только здесь по-настоящему расслышали их?…В этих песнях никто не пел о войне.

А письма! Не те, что приходили сюда, а те, которые ждали от нас. Нужно было тоже найти время, чтобы их написать. А его не было. Не отошлешь же письмо из какого-нибудь аула, у которого ты впустую отсидел в засадах три ночи. Не напишешь на марш-

броске, не сочинишь в сопровождении колонн. Однажды я сам потратил на письмо целый месяц. И даже не из-за того, что у меня не было этих двадцати-тридцати минут, а потому что в нем надо было о чем-то врать. Надо было что-то придумывать, как-то заботиться, чтобы не проскользнуло лишнее слово. Ведь оно уходило туда, где переживали, где любили… Мы просто не знали о чем говорить в этих письмах. Ведь, кроме холода, кроме голода, ржавых побитых машин, обратившихся в лохмотья камуфляжей и синих обмороженных рук, должно было существовать что-то еще. То, о чем, не таясь, можно было написать домой. А про что туда было писать? Как не горят в печи сырые вишни и груши? Как задыхается по ночам от их дыма взвод? Как ты бегаешь через раз с простуженными почками в туалет? Как надо ложиться в засаду, а ты не можешь даже сесть, потому что загнешься от своих болезней. Написать про то, как мы били троих солдат, которые сменяли на авиационный спирт чужую форму и спальники? Как я просадил насквозь ступню, и загнила, не заживает рана?.. Нет, нужно было писать про что-то другое, но ни про это… И нельзя было отправить только две строчки: у меня все хорошо, не жалуюсь и не болею. То, чего никогда не было.

Взрослые мужики за тридцать, писали домой, что трудятся на вахте, что производство отправило их на учебу, что, наконец, служат по контракту в какой-нибудь подмосковной части. Их письма не шли полевой почтой, их увозили на большую землю отслужившие, а там сбрасывали в почтовые ящики в каком-нибудь мирном городе. У некоторых были даже «свои» фальшивые адреса в Новосибирске, в Моздоке, Москве. Этих примеров сотни.

Мы не умели рассказывать о войне, не делали из себя героев. Там, в наших домах, это было ненужно. Это было так страшно — послать туда хоть слово о том, что здесь происходит. Мы ведь переживали за своих мам, жен и детей. Мы ведь хотели, чтобы они никогда ничего не узнали…

Не убирайте глаз, не закрывайте этот лист! Эта боль должна коснуться каждого! Пусть все услышат, как мы плакали, как страдали, как умирали здесь в самом начале двадцать первого века! Как ждали тот день, когда увидим своих родных!

…Мы ведь думали о них каждую минуту, подарки для них готовили.

Один из наших солдат, серьезный, уже в возрасте мужик, принес с зачистки полный пакет желудей. Почистил их, повыкинул гнилые и старые, и спрятал в своих вещах. «Тебе зачем?» «Детям хочу отвезти. Природу любят. Гербарии разные собирают…» А другой сочинил матери стих. Первый раз в жизни

сочинил. Хороший стих. Горький стих. Мы читали — сердце болело. Скоро он его потерял, а вспомнить заново так и не смог. «Еще же напишешь!» «Нет, не поэт я. Больше уже не напишу. Такое лишь раз бывает…»

Да, пусть они сдохнут, эти президенты, что лишали нас жизни!!!

…А еще нас здесь никто не считал за людей. Кроме слов «животные», «быдло», «дебилы», которые мы слышали больше, чем часто, были, устраиваемые офицерами, издевательства, побои, были глубокие, с ледяной по колено водой зинданы, в которых человек за одну ночь отмораживал внутренности, были открытые шантажи и вымогательства у солдат денег. Придет гуманитарная помощь — увидишь лишь открытки, конверты, иногда печенье, сало и чай. Больше ничего. Остальное: фрукты, сладости, соки, колбасы, копчености, теплые вещи, обувь… — словно и не было. У кого-то из начальства даже появилась модная манера: умываться и мыть руки только минеральной водой. В соседнем батальоне взялись за борьбу с ожирением: один котелок каши на десятерых человек. «Да вы должны быть, как гончие! Должны летать по этим горам! Вас вообще надо три раза в неделю кормить!» — орал на них командир. А вот что рассказывали солдаты: «Встанем вокруг этого котелка и на счет «Раз!» все жрать начинаем. Две-три ложки схватишь — и всё. До следующего раза».

Все это называлось громким словом «укрепление боевой дисциплины». А потом эти солдаты воровали у чеченцев овец и коров, не стесняясь, грабили и мародерствовали.

Думаете, только наша бригада? Нет! У нас многие офицеры еще оставались людьми. У нас были еще цветочки. Как-никак, а это было боевое соединение, которое еще не обросло надменными штабами с толстокожим начальством. Большинство наших командиров имели реальный боевой опыт и гнули палку только до известной поры. Они-то знали, чем может закончиться очередной выход в лес. Здесь вполне часто убивали зарвавшихся. В соседней части гранату бросили в командирскую палатку, как раз, когда началось совещание. Гораздо хуже было в тех соединениях, что несли гарнизонную службу в каком-нибудь военном городке или местном селе. Там уже заканчивали считать потери от врага. Там вообще люди реально сходили с ума от тупой однообразной службы, от деспотии местных тиранов, от лютого следования букве Устава. Кто-то повесился, кого-то застрелили в пьянке, кто-то готовил другому мину и подорвался сам, одного избили до инвалидности, еще один повредился в уме и поехал отсюда не домой, а в психушку, иной стал алкоголиком

или наркоманом…

Но служили, служили и терпели всё это, и не собирались до срока домой. Люди ждали денег. Своих заработанных денег. А их обманывали, им обещали и ничего не платили. Не рассчитывали, не перечисляли после на книжку. Сколько уехало отсюда, получив лишь гроши с того, что было на самом деле?.. Попробуй теперь сосчитай! А их деньги никуда не девались, лишь сыпались не в тот карман. Часто солдату «закрывали» за месяц по три-пять дней «боевых», а какому-нибудь отцу-командиру, что и ноги не выносил за ворота, какой-нибудь секретутке со штаба, что работала на спине по ночам, перепадал весь «боевой» месяц.

А попробуй уехать раньше установленного срока… Надорвешься собираться. «У вас один выход убраться домой: напиться, попасться мне на глаза, быть за это избитым и брошенным на неделю в зиндан, а после, прямо из ямы, в чем есть, на «борт» и, на родину!» — не раз предупреждал нас очередной полководец.

Оказалось, что наше добровольчество здесь никому не нужно. «Думаете, герои, да?! На войну приехали?!.. Хотите Родину защищать и деньги еще получать за это?!.. Да, видали мы здесь таких героев!.. От вас же скотиной несет! Вас же гноить здесь надо!..» — уже более откровенно признавался другой.

…Мы же не знали, когда подписывали свои контракты, что это всего лишь купчая на обычное рабство.

Потом начались строевые смотры. По нескольку раз в месяц, под палящим солнцем, под проливным дождем, от зари и до зари. Безумные и бестолковые смотры. Потому что, несмотря на всю свою помпезность, они все равно ничего не решали; мы продолжали ходить в обносках, продолжали жить в рваных палатках, продолжали роптать…

А потом нам отменили «боевые». Отменили подло и втихаря. И сказали об этом не раньше, чем через месяц. Мы были тогда на очередном выходе и, когда пришла эта весть, поначалу не знали что делать. Бросить оружие нам мешала только отдаленность от батальона. Кто-то из солдат, ездивших туда за пайком, описывал невероятные картины развала и хаоса: никто не желает служить, никого не собрать на построения, в расположениях взводов ни души, по всем палаткам без присмотра валяется оружие, некоторые уже избавились от камуфляжей, и щеголяют в гражданке, офицеры кричат: «Идет всё к черту!», и хлещут с солдатами водку, прилетает какой-нибудь борт — не пробиться, у вертолетов драки до крови, до выбитых зубов…

Мы еще не видели этого сами, не участвовали в этом, но теперь, когда к нам приходили командиры, и начинали что-то

требовать, угрожать, а потом и просить, мы просто отворачивали лица: «Нам это не надо. Кому платят, тот пусть и воюет».

Мы уезжали из полнокровного, сильного соединения, а вернулись в какую-то бесформенную, аморфную, ни на что не способную массу. Батальон редел на глазах. Каждый, уходящий отсюда вертолет, опустошал его сразу на несколько взводов. За месяц от нас осталась едва треть. Это был самый настоящий бунт Армии! Никто не желал за гроши продавать свою жизнь. Чеченская — это не святая Отечественная! Это не Брестская крепость и не Сталинград! Насмерть стоять никто не будет. Нас уже продали здесь в прошлую войну. Чего же ждать от этой?!.

В этот месяц на крошечных посадочных площадках горной Чечни строились целые полки. Громадные толпы, которые больше ничто не держало здесь. Которые, наконец-то, оставляли свое военное рабство.

Они уезжали, а им завидовали. Черной ядовитой завистью. Завидовал все те, кто не мог уехать с ними, кто был привязан к этому батальону, к этой войне, к своему стажу, к своей работе. Кто знал в жизни только одно — много лет таскать на себе погоны и много лет ждать дня своей пенсии. И, если кто-то еще понимал уходящих, и тепло с ними прощался, то некоторые не могли смотреть на это без ожесточения. Некоторые командиры плевали в сторону своих вчерашних солдат, презрительно обзывая их «предателями» и «изменниками Родины». Порой отсюда невозможно было уехать без какого-нибудь «дембельского аккорда», неизбежных «трудодней», без каких-нибудь унизительных просьб. Кто-то пошел за характеристикой: «Напишите. В военный Институт поступать буду». А ему: «Как может предатель идти в офицеры?» Нашелся один майор, — Человек! — написал. Только вряд ли это помогло. Всех, кто уезжал, не дослужив, увольняли по отрицательной статье. Будто, действительно, кто-то из них торговал Родиной.

Теперь нам было уже не до боевых выходов, не до войны. Всё это сделалось таким редким, словно праздник. У нас едва хватало сил на охрану самих себя, имущества, техники. Если раньше в рейд шла отдельная рота разведки или пехоты, то теперь приходилось подниматься всему живому. Теперь со мной в горы шагал и тыл, и штаб и неповоротливые взвода обеспечения.

…Вот так кончился наш батальон. Выдохся, растерял силы, не удержал перебесившихся своих псов.

74-я Юргинская бригада… Сокрушающая гроза Чечни. Славные боевые традиции, победная летопись русского оружия. Время неустрашимых героев, время мрачных легенд и бескорыстных подвигов…

От нее ничего не осталось. Теперь всё это — только добыча прошлого.

Отстучали по земле молоты наших орудий, отходили по головам мечи нашего возмездия, оплакали русские и чеченские женщины своих сыновей.

74-я Юргинская… Это ведь не больше, чем сон. Настанет утро, и он уйдет, ее последний, обескровленный батальон.

…Все друзья возвращались в Россию. Уехал и мой брат.

Жаль, но мы не прошли с ним по трудным дорогам Чечни. Прошли, но совсем не так, как этого ждали, прошли следом друг за другом, но не вместе. В горы, по которым таскало меня, через неделю приходил и он, в аулах, где заставала его ночь, спустя месяц я начинал день. Мы так редко виделись с ним за эти месяцы, мы лишь несколько раз грелись у одного костра.

Нас разлучили еще в декабре, еще в первую минуту, как сел вертолет.

Я снова остался. Остался один, потеряв свой взвод. Меня перевели в другую роту, поменяли командиров и друзей. Но это уже ничего не решило. Я уже давно замкнулся в себе, давно не хотел никого видеть. Теперь, если ничто не отнимало у меня вечер, я брал автомат и уходил на пустую безлесную высоту. Она стояла далеко за линией батальона и, чтобы на нее подняться, нужно было израсходовать час.

Я проводил на ней целые вечера, просто наблюдая даль, не переживая о настоящем, не размышляя о будущем. Там было так легко, на этой высоте, куда каждый вечер приходили лучшие воспоминания прошлого. Они, словно птицы, слетались туда к закату, и подолгу сидели рядом, не торопясь ни в какую дорогу. Это было таким лекарством — не видеть вокруг себя людей, не слышать рядом их голоса. Чем чаще я ходил туда, тем меньше мне хотелось что-то менять в завтрашнем дне. Я знал: будет плохо утром, будет плохо днем, но вечером я вновь приду на свое место. Вечером ко мне снова придут воспоминания, вечером я снова обрету покой.

Иногда мне казалось, что я бы просидел на своей высоте целую жизнь. И, наверное, был бы счастлив. Наверное, она бы не прошла тогда даром, неудачная моя жизнь.

…А ночью всё чаще и чаще снится дом. Там ведь сильно так ждут. Пусть ничто не помешает и не обманет их надежд.

С гор задул суровый ветер,
Пробирает до костей.
День от чёрных туч не светел.
День рожденье без гостей.

День рожденье без улыбок,
Без торта и, без вина.
В пыльном воздухе кружится
Прошлогодняя листва.
Не одет я, не наряжен
В день обычный на войне.
День рожденье в камуфляже
На переднем рубеже.
Продувает, прям до сердца
свист на разных голосах.
Никуда уже не деться,
вот и вечер на часах.
В хмуром небе тучи, тучи
с горных кряжей всё бегут.
Хоть бы малый солнца лучик,
все тепла с надеждой ждут.
Ветер лица обдувает,
гонит с юга облака.
Только он пришёл поздравить
с днём рождения меня.

Сегодня мне исполнился 21 год.

Романтика больших дорог

Сегодняшний день:

…Я еще стоял вторую, третью ночь. Еще держался, еще не был безразличен к утру. Но больше так не могу! Такого рейда не было никогда. Днем мы ездим в нежилой чеченский поселок, где снимаем с брошенных домов пригодные листы шифера. Их грузят в машину и увозят в другой, близкий отсюда аул. Сколько за них дают, мы не знаем, и денег этих никогда не увидим. Мы не высыпаемся… Мы нарочно роняем и бьем при погрузке листы, поджигаем со злобы, стоящие во дворах сараи и стога сена. В первый день я автоматом пробивал в шифере дыры, но от этого расшатался приклад…

А потом мы делим пополам ночь. Бесконечную военную ночь…

И я не могу больше! Я не вижу причины, чтобы не спать. Даже собственная жизнь — и это не повод отогнать сон.

Пусто и тихо в нашем походном лагере. В разрушенном доме спит в одной комнате, измотавшийся за день взвод — горстка, не

дождавшихся своего вертолета бойцов. Из сырой чащи леса сочится теплый весенний воздух. Ночь ведет ко мне цветные ясные сны, от которых уже не оторвать глаз. Над моим постом поднимаются корабельные мачты сибирской тайги — пахнущие смолой и медом, вековые могучие сосны. У голых ног, с которых сгинули сапоги, плещется теплая речная вода. Ангара!.. Светлая жемчужина Вселенной! Позабытая родина моего детства…

«Нет, мне нужно ее переплыть… Я уже совсем взрослый…» — шагаю я в воду, навстречу давней свой мечте. А она все также прозрачна, теплая речная вода. И даже на глубине я вижу под собой зеленые камни дна. И по ним, влекомые течением, медленно ползут толстые затонувшие бревна… Но от меня уже уходят силы. А он всё дальше и дальше, берег, к которому мне никогда не доплыть. Я тону молча, сложив на груди руки, оставив бесполезные свои трепыхания…

…Передо мной сидит на корточках черная недвижимая тень. Свой? Нет. Здесь никто не ходит по ночам. Я лежу в небольшой яме, уложив на груди автомат. Без движения, без звука, прижав палец к спусковому крючку. Но Он чувствует меня. Как во сне я почувствовал Его. Ему надо лишь протянуть руку, но Он ничего не видит. Мне нужно лишь повернуть ствол, но я успеваю только нажать на курок. Я проспал. Но мы чувствуем друг друга, и не делаем ни одного движения.

Я вновь напрягаю глаза. Ничего нет. Вокруг только ночь. Растворилась во тьме недвижимая человеческая тень. Я знаю, что остался один. Чувствую.

Но даже страху не поднять меня на ноги. Даже ему не тягаться со сном. «Это хорошо, что не сегодня…» — думаю я, и, уловив из разрушенного дома негромкий всплеск у ведра питьевой воды, вновь закрываю глаза. «Там все живы», — понимаю я, и оставляю их на произвол судьбы…

Объявленный в начале года вывод войск не снял напряжения и не способствовал миру. Армия покидала Чечню, но, вопреки указаниям сверху, отсюда совсем не торопилась война. Ее невозможно было изгнать громким словом, от нее нельзя было откупиться, прекратить какой-то амнистией. Ее можно было только задавить здесь!

Проходя, проезжая через села и аулы, мы наблюдали всё те же лица вчерашних врагов. Нам никто не был рад здесь. Это был не Дагестан, не равнины Терека. Мы всегда оставались тут только незваными, ненужными гостями. И самые радушные приемы, что были оказаны нам — это пустые, без единой человеческой души улицы. И они, эти улицы, действительно, были лучше, чем другие, полные темной озлобленной толпы. Порой весь поселок

выходил нам навстречу. Они стояли вдоль дорог, женщины и дети, оскорбляли нас, исподтишка кидали камни, бросали в спину железные вилы. И ничего нельзя было сделать. Потому что нас никто не учил воевать со слабыми. Потому что это не в обычаях русских солдат. А их мужчины, отгородившись шумной этой стеной, молча смотрели на нас, считали технику и людей, а ночью, достав из тайников оружие, шли убивать. А мы всегда только поражались этому упорству, этому невиданному ожесточению, что таили в себе чеченцы.

Видно, давно миновал день нашей дружбы, давно прохудилось и сделалось отравой, распитое нами вино.

Однажды, потроша в горах зимние их «квартиры» и «схроны», мы нашли, брошенное невдалеке, поруганное наше знамя. Не трехцветное российское, с имперским двуглавым орлом, а красное советское, с молотом и серпом, с призывом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» На нем были написаны разные оскорбительные слова, оно было сплошь загажено человеческими испражнениями. Советское знамя, под которым когда-то русские и чеченцы, вместе гнали к рейхстагу миллионные фашистские орды.

Но как нам изменило время!.. Как поменяло местами и одних, и других, и третьих…

Теперь мы находили в их «схронах» любое, направленное против нас, иностранное оружие: новые, только что с конвейера винтовки и автоматы Турции, США, Польши, Китая; любые иностранные продукты: голландские сыры, английское мясо, тайваньские фрукты, норвежская рыба; самые различные дары заграницы: военную форму НАТО, французские средства женского туалета, горное швейцарское снаряжение… Да что там говорить?!. Часто даже посуду украшала надпись на неизвестном нам языке…Я помню, как возле очередного тайника, мы второпях топтали сапогами дорогое германское масло. Его было так много, а у нас было так мало времени, что мы попросту не успевали всё погубить. Помог нам водитель, который в последнюю минуту раскатал колесами БТРа эту желтую жирную массу.

У них было всё! Всё, чего мы никогда не видели и не имели в своей жизни. Весь мир протягивал им руку! Их приветствовали в Вашингтоне, обогревали в Тбилиси, давали приют в Лондоне, подпитывали живой силой в Прибалтике, Афганистане, Египте, Саудовской Аравии, Алжире, и даже Киев — мать городов русских — и тот, на свой позор, давал им хлеб. Все помогали им! И никто нам! А мы все равно трепали, все равно били их и гнали отсюда в шею! Мы — нищие голодные солдафоны, обманутые нашими правительствами, оклеветанные продажными демагогами и

писаками, все равно стояли на ногах! А у них, кто шипел за нашей спиной, кто отливал для нас заграничные пули, никак не хватало сил, чтобы поставить нас на колени.

И никогда не хватит. Никогда за ними не будет победы!

Чечня. Когда-то здесь звучали хвастливые речи о непобедимых армиях, способных пройтись с огнем и мечом по целой России. Отсюда, с этого малого клочка земли, нам угрожали потерей Кавказа, разрушением Москвы и вековым рабством. Угрожали с такой наглостью, с такой самоуверенностью, словно это было предрешено книгами судеб. Отсюда был запущен миф о тысячелетней Ичкерии, которая еще будет потрясать половину земного мира…

Но прошло лишь несколько лет. Куда они ушли, те, кто вчера замахивался на нашу свободу? Кто стоял у микрофонов на митингах, кто разъезжал с громкими визитами по мировым столицам, кто, зарядив автомат, шел разрушать наши дома? Вон — земля побелела от их костей! Мы пришли и растоптали всех! Они думали, что нет им равных под солнцем, а мы отобрали его у них, и отправили всех в вечный мрак.

Где они, кто своими долларами думал повалить Россию, да не устоял сам? Кто хотел обладать чужим, да не удержал своего? Вон — забились в горные щели, уползли под землю, нарыли в ней нор и убежищ, бежали в Грузию, Турцию, Азербайджан. А теперь, в изгнании, в темных подземных берлогах, они слагают героические саги о погубленной своей родине.

Пусть слагают. Мы ведь, действительно, отобрали у них солнце, действительно, лишили их дневного света.

Землянки, времянки, лесные подземные лагеря… Они были разбросаны повсюду и нередко вставали на нашем пути. Иногда, чтобы их обнаружить, требовалось провалиться в скрытый дымоход, вентиляцию, уловить в воздухе какой-нибудь посторонний запах. Это были целые произведения человеческого искусства — мрачные холодные лабиринты со множеством дверей, комнат и коридоров, в сырых стенах которых сходили с ума от ненависти, усталости и отчаяния, стоявшие против нас люди.

Мы сумели отнять у них всё! И не оставили им другой радости, кроме света луны.

…Сколько потерь несли мы здесь по глупости, по лени, по неосторожности. Сколько раз уповали на извечный русский «авось». Мы были так самонадеянны, так сильны, что иногда просто забывали смотреть по сторонам, просто не помнили, что есть родной дом, куда обязательно нужно вернуться.

Многие получили ранения, изуродовали себя, стали

инвалидами из простого человеческого любопытства; им интересно было знать, из чего состоят и как срабатывают снаряды, гранаты, взрывчатки. Кто-то учился применять незнакомое ему оружие, погиб сам или погубил другого. Так один гранатометчик, показывая новоприбывшему работу станкового АГС-17, начал в упор палить по ветвям деревьев. Осколки вспороли новичку горло, и за какие-то секунды его прибрала смерть. Другой, тем же способом, пытался в лесу прорубить себе сектор обстрела. Осколки прошили ему живот, и он немало помучился, прежде чем рассчитался с жизнью.

Кто-то неосторожно, по воле других, получил увечья. При посадке один из бойцов не успел влезть на броню, как водителю дали команду трогаться. Солдата затянуло под гусеницу, и БМП, пережевав ему катками ноги, выплюнула назад одно только месиво из тряпок, боли и костей. Этот окровавленный комок висел от самого паха. Все произошло ночью, и нужно было ждать рассвета, пока прилетит вертолет. Но солдату не повезло — за ним не поторопилась смерть. Какой-то самоотверженный летчик привел за ним в темноте свой «борт». А у него самого еще хватило сил, чтобы выжить после операции.

Многие уснули на посту и были захвачены в плен. Хотя никто и не видел их мертвыми, и числились они пропавшими без вести, мало кто верил, что у них есть какой-то шанс. Потому что там, куда их увели, всегда был слишком большой выбор своего конца: медленная мучительная смерть от голода, холода и побоев, от непосильного рабского труда, смерть под пытками, петля, крест, четвертование, дыба, сожжение, редко для кого-то пуля. И почти никому не выпадала свобода. Так двое солдат приволокли с собой на пост спальники, завернулись в них, и завалились спать. Утром взвод встал без своих часовых. Чеченцы унесли их с собой, но почему-то не тронули оставшихся. Обоих долго таскали по горам и лесам в качестве бесплатной рабочей силы, затем одного отправили на виселицу, а второго отпустили без выкупа. Он еще несколько дней пробыл в бригаде, где в шутку похвалялся, что попал в плен нищим, а вышел богачом (за много месяцев плена ему не переставали перечислять «боевые»), но вскоре уехал домой.

Некоторые, не справившись с собой, шли в аулы за водкой. Их не пугала ни ночь, ни плен, они не размышляли о смерти. Трое таких романтиков были окружены нашей ротой в какой-то низине, прижаты огнем к земле и, наконец, взяты в плен. Мы сначала не верили, что это свои, а те также приняли нас за бандитов. Но после, когда услыхали русский мат, они радовались нам, словно родным. Им повезло; их просто избили, бросили в

зиндан, а затем отослали домой. Этим, да, повезло, но были и другие, кто не возвращался из таких походов, а, если и приходил обратно, то лишь для того, чтобы вскоре встать под трибунал. Один солдат расстрелял мужчину и двух женщин, что отказались продавать ему спирт. И утром на батальонный КПП пришла половина поселка. А после, еще несколько дней подряд, в этом поселке забрасывали камнями любые наши колонны. А мы подолгу судили между собой убийцу: кто давал ему десять лет лагерей, кто предлагал выдать его чеченцам, кто желал ему немедленной смерти, чтобы ничего не узнала семья. Никто не пожалел. Это не к тому, что здесь уместны или неуместны какие-то оправдания. Это к тому, что мы давно нигде не встречали жалости. И успели забыть, что это такое.

…Странно, но мы все еще верили в победу. Мы боялись произносить само это слово, говорили друг другу, что нет никакой надежды, но втайне думали об этом счастливом дне. И не потому, что представляли себя в роли великих героев прошлого, воротившихся домой со славой, а потому, что не видели другого выхода из этой беды. Мы ведь искренне хотели, чтобы всё скорее окончилось. Чтобы, наконец, прекратилась война.

Мы просто не понимали, что не будет тех побед, которые были в прошлом. Что Грозный 1995-го и 2000-го — это совсем не Москва 1941-го и Сталинград 1943-го. Мы привыкли, нас так воспитали, что конец каждой войне определяет победа или поражение. И мы наизусть знали законы истории: у нас уже был Брестский мир Хасавюрта, пришло время и Берлинской битвы.

Да вот несчастье — эта война не поддавалась никаким законам. Мы ждали жестоких атак, но ничего не играли горнисты. Мы рады были выйти на смертный бой и, наконец, решить, кому лежать мертвым, но никого не стояло в поле. Мы все время ждали, когда покажет свое лицо враг, но он всегда только смотрел нам в спины. Он никогда не рвался к честной схватке, и мог быть сильным только перед слабыми, перед старыми, только перед немощными и больными, только перед безоружными нашими пленными. Но всегда пятился, всегда дрожал, когда вставал один на один с нашими воинами.

Какие там великие победы эти бандиты оставили за собой?! Будденовск, Первомайское, Ярыш-Марды, Хасавюрт, Улус-Керт, Жани-Ведено — всё над женщинами, над детьми, всё по предательству, всё из засад, всё при превосходстве один к десяти. Сказал же Масхадов на весь мир в 98-м: «Мы не победили Россию. Мы купили победу! Мы не разгромили русских. Мы купили Лебедя!»

Но пока мы бьем их! И, поможет нам Бог, разобьем всех, если снова за нашей спиной не начнут торговать победой.

…А в апреле был новый выход в Зандак. Он уже покрылся зеленью, и ничто в нем не напоминало о прошедшей зиме. Даже, подымавшиеся за ним горы, с которых никогда не сходили снега, и те, словно потеряли свой белый блистающий свет. Они стояли какие-то серые, разом постаревшие и совсем хмурые. Вокруг распускались сады, а они ничего не имели, кроме камня и льда.

Перед самым входом в поселок на нас заложили фугас. Он был закопан в обочине и ждал, пока подтянуться, груженные людьми БМП. Но в этот раз Зандак отпускал нас без потерь. На фугас наткнулись бойцы русского ОМОНа из гарнизона поселка. А через несколько дней мы отплатили им той же монетой, когда наша разведка сняла, подготовленную для них ракету «Ураган». Она висела на дереве и была нацелена на здание местной школы, где и располагался ОМОН. На часовом ее механизме стрелки отсчитывали последний свой час.

…Заходит красное солнце Зандака. Надев черные вечерние платья, стоят вдоль дорог ароматные огромные липы. У каменных исполинов гор готовятся в набег грозные орды туманов. В наглухо смолкшем поселке гаснет последний безмолвный двор.

О чем задумался, Зандак? Неужели проходит твое время, неужели закатывается кровавая твоя звезда? Неужели теперь будет некому сеять смерть в этом краю? Ты так много награбил, так много обездолил, обидел, погубил во взаимной вражде. И так ослабел, так надорвался в этой борьбе. Не твои ли сыны уходили в Карамахи, в Новолак, в Грозный? Не над их ли могилами болтаются теперь зеленые знамена мести?..

А помнишь, Зандак, как две весны подряд, мы всё ждали, когда навсегда расстанемся друг с другом? Как мечтали вернуть себе былую свободу. Но ничего не могли сделать…Как я хотел избавиться от тебя, Зандак, сбросить на землю тяжелые твои цепи! И как ты мечтал когда-нибудь прийти непрошенным гостем на мой порог! Как мы желали друг другу смерти!

…Зандак. Мы снова сидим в твоих окопах, нарытых морскими дьяволами Севера. Нам все равно, какой день или год отсчитывает наш календарь. Нас не тревожит падение царств и целых Галактик. Мы так устали от этой жизни. Нам давно ничего не нужно.

…Здесь нас поставили на убогий суточный рацион, пригодный не на большее, чем кормить умирающего. Ну, разве можно было насытить взрослого мужика тремя 250-грамовыми баночками в день? Но оказалось, можно. В инструкции к сухпайку стояла запись: «Предназначено для суточного питания». А,

значит, не было причин для жалоб. Помню, этот продукт был сделан в Ставрополе и имел красивую привлекательную обертку. А внутри ничего не было, кроме трех упомянутых наперстков. Эти, выданные на пять дней пайки, мы уничтожили за два. А весь третий день просидели у потухшего костра, в неясной надежде на чудо. Но никакого чуда не произошло. Тогда мы подались в лес и убили бродившую там корову. У нее на рогах болтался яркий отличающий знак — голубого цвета тряпка, о которую мы после разделки по очереди вытирали ножи. Всё, что не смогли унести на себе, мы забросали листьями и землей. Наверное, корову нашли не сразу. Потому что в эти три дня никто так и не пришел про нее спрашивать. Конечно, чеченцы знали, на чью сторону ушла их скотина, но не могли дать против нас ни одного козыря.

В этих рейдах мы понемногу отходили душой. Они несли опасности, угрожали бедой, но всегда давали нам свободу от дурной батальонной жизни, от не проходящей ее тоски, от частых пьянок и нелепых обид. Мы всегда были более дружны, более откровенны друг с другом в этих выходах. Мы предпочитали грызть сухари, но угостить мясом товарища, уступали кому-то на броне удобное место, а сами лезли за него на башню, вместе садились в кузов машины и дружно запевали «Катюшу»… Стоило нам покинуть батальон, как у нас начиналась жизнь. Мы радовались новому дню, мы гордились, что носим в руках оружие.

Но вот приходил день возвращения и, словно менялся мир. Мы боялись шагнуть в свои роты при полном военном параде. Мы второпях, пока не подошли командиры, бежали прятать имевшиеся у себя гранаты, ракетницы и дополнительный запас патрон. Это было неслыханное преступление — найти у солдата гранату, детонатор, пластид. За это многие поплатились зубами и многими днями свободы на дне земляной ямы. Когда-то мы отдали за этот боезапас продукты, сменяли его на фотопленки, разные вещи, а теперь тайком закапывали за палатками самое дорогое свое имущество. Но в сырой земле Чечни оно быстро ржавело, отказывало, и приходило в негодность.

Нам угрожали, отнимали у нас оружие, прятали его в металлические сейфы и ящики, говорили, что мы не воины, что мы трусы, что не мужчины…Отнимали у нас оружие. А это была лишь весна 2001 года. Весна 2001-го!.. Кто был здесь, только задумайтесь над этим! Здесь только входила в силу масштабная партизанская война! Война, которая продлиться еще много лет, которая не окончилась даже теперь…Говорили, что мы трусы, что не мужчины. И после от нас еще требовали служить Родине! Требовали не жалеть своей крови для защиты ее рубежей! А мы

только плевались от этих речей, только еще больше озлоблялись на службу.

Однажды в нашей палатке командиры устроили шмон. Подло, втихаря, заранее отправив подальше весь взвод по какому-то бестолковому делу. А когда мы вернулись, всё стояло вверх дном, было вывернуто наизнанку, опрокинуто, выпачкано в земле. Что за несметные сокровища искали они у нас? Золото, деньги, наркотики?.. Да вот ничего не нашли, кроме железных мисок, гнутых алюминиевых ложек и изношенного тряпья. А запасные портянки, припасенную для поездки домой новую форму и берцы, унесли с собой. На склад к старшине. Зачем?.. Неужели батальон разбогател на личном нашем несчастье? Нет, он еще раз обеднел нашей преданностью, еще раз потерял нас.

А мы за то, что осмелились что-то иметь у себя, до вечера рыли в лесу никому не нужные окопы.

Не знаю, кто придумал и провел в жизнь идею обмануть чеченцев. Нам было приказано сменить условия проживания. У нас решили забрать палатки и навсегда переселить всех под землю. «Здесь невыносимо летом. Вам будет прохладнее в землянках», — врало нам командование, а само всерьез верило в больную свою идею — заставить чеченцев поверить, что мы еще долго не уйдем с их земли. Мы рыли огромные ямы, в которых должны были жить взводами и ротами. Сначала мы по нескольку дней не знали других дел, как от зари до зари держать в руках кирку и лопату. Мы упрямились, саботажничали и сопротивлялись этой работе. Потому что никто не хотел менять чистый воздух на затхлую вонючую нору. Тогда пригнали экскаватор и, перестаравшись, он оставил каждому взводу целый котлован, неровный, с рыхлыми осыпающимися краями котлован, в котором запросто уместилась бы усиленная рота. Но в эту яму мы так и не переехали. Сначала были разные отговорки, ссылки на отсутствие того, другого, а затем наше новое местожительство стало заполняться водой.

Они думали обмануть чеченцев. Никого не обманули. Те знали и месяц нашего вывода, и даже приблизительный день. Это факт — мы приходили на местный рынок, договаривались о какой-нибудь будущей купли-продажи, и неожиданно слышали отказ: «Нет, через два дня ты не придешь. У вас зачистка в Беной-Ведено». Поначалу никто не верил. Ну, кто они такие, эти тетки из-за прилавка? Мы и сами-то узнавали о своей судьбе не раньше, чем за день, а название села и вообще за минуту до выхода…Мы не верили. А в третье утро над нами вставало солнце Беной-Ведено.

И после уже не надо было думать и гадать, куда еще двинется

наша рота. В какие еще аулы приведет нас завтрашний день. Нужно было просто сходить на то место, где всякий раз без ошибок угадывался твой жизненный путь. Где главным предметом торга было только одно — твоя судьба.

Они не разу не обманули нас, вставшие за рыночный прилавок невозмутимые ясновидцы будущего — чеченские женщины, дети и старики.

А они так и остались незаселенными, безобразные наши дома — громадные земляные котлы, полные мутной грязной воды.

Походы, походы, походы… Где ни один день не отличим от другого… Где бродят по твоим следам надежда, разлука и смерть… Лагаши, Бачи-Юрт, Гордали, Даттах, Жани-Ведено… Я давно не вспоминаю этих названий. У меня не хватает памяти на каждый из них. Я стал путать лица, даты и имена. Я начал все забывать…

74-я гвардейская бригада. Счастливый край моей молодости!

Как жаль! Её не перелистать заново, тлеющую летопись этих дней…

Они все ушли, кто был рядом, ходил по одной дорогой, пил из одного ручья, кто слушал по вечерам печальные мои стихи. Кто пережил или не пережил день этой вражды. Давно пропали или стали ненужными старые их адреса. Растерялись за прошедшие годы многие мои записи и дневники, разошлись по чужим рукам и альбомам чеченские мои фотографии. Износилась до дыр и отправилась в огонь военная моя форма. Потускнел благородный металл скромных моих наград. Опустились морщины на чистое мое лицо. У меня ничего не осталось от тех дней, что бы не потеряло, не утратило бы своей цельности и цены. Ничего, кроме собственной тени.

Возвращение

Май 2001 года.
Дома:

В тот день, когда я принял решение вернуться, что-то легкое и чистое наполнило мою душу. Я вдруг понял, что мне больше не требуется война. Что, наконец, она исчерпала себя, наконец, вернула мне потерянную свободу. Это произошло в один миг. В один миг, который освободил меня от прошлого и решил всё! Я, словно впервые обернулся вокруг и увидел, сколько мерзости, дряни, преступлений и зла, окружали все это время мой жизненный путь. И по какой грязной, отхожей дороге, я шагал в завтрашний день. А сколько безвинных людей погубила война, сколько сожгла плодородной земли, сколько свалила городов, обрушив доныне неприступные стены?..

Но это уже безразлично… Если еще вчера я давал клятву в вечной верности своему делу, еще вчера собирался потратить на войну пол своей жизни, то теперь не мог смотреть на этот кошмар. Теперь мне было все равно, закончиться ли вообще вторая чеченская, и скольких еще живых отправит она могилу. Было все равно, сколько лет продлиться эта беда…Я просто не знал, как вынести один-единственный ее день. Потому что до сих пор не был убит, а жить дальше уже не мог! Потому что еще немного, и я бы сошел с ума!

Теперь мне все равно, что будет там без меня. Хоть весь Кавказ полыхнет огнем и провалится в преисподнюю.

…Мы уезжали домой, а с нами не могли даже честно расстаться. Мы когда-то верили своим командирам, а они пытались обмануть нас в который раз. Почему? Неужели, это стало привычкой? Неужели во власти так нелегко следовать правде?..

Им просто нечем было нас удержать, кроме лжи. Это происходило все последние дни до того, как прилетел вертолет: нас, уходящих, собирали вместе и долго листали перед строем какие-то бумажки, читали какие-то приказы, обещали золотые горы, кричали, что желают нам только добра… Но не было ни одного слова о долге, о верности, о патриотизме. Не было. Потому что и мы, и командиры знали, что от этого уже ничего не осталось. И здесь не поможет никакой обман. Нам врали только про деньги — единственное, что еще было не безразлично.«…Не знает Путин, — говорили они, — он разберется! Вам всё вернут!», «…Будут платить «президентские», они еще больше «боевых»!»,

«…Да, вы нигде больше не увидите таких денег!» А мы стояли перед ними и только хмуро смотрели в землю. В ту землю, которую не могли уже видеть глаза. Мы даже не задавали никаких вопросов, потому что знали, что никто ничего не заплатит, никто ничего не вернет. Но все же находились те, кто поддавался на уговоры и разрывал рапорта. «Еще послужим», — говорили они и отходили в сторону. Когда начали уговаривать и меня, то я не совладал с собой: «Да, я ненавижу всю вашу Армию! Всю вашу Армию!!! В прошлом любил, а сейчас НЕНАВИЖУ!!!»

…И вот, оставив всё, отвернувшись от командиров, от обещанных ими денег, от всех агитаций и советов друзей, бросив всё, я возвращался домой.

Домой! Туда, где, наверное, восстановится ослабевшее мое сердце. Где, наконец-то, замедлится этот бешеный жизненный бег. Где, может быть, я заново начну свою жизнь…

…Я еще не понимал, когда стучали колеса поезда. Не понимал, ОТКУДА я еду. И как мне вообще удалось сохранить жизнь, среди стольких смертей. Это пришло в ту секунду, когда я увидел свой старый вокзал, когда шагнул из вагона на свой старый знакомый перрон.

Я не понимал, почему не могу ровно поставить ногу. Отчего так шатает меня, если не пьян. А у меня просто дрожали колени. Я просто не мог идти.

А у своих дверей я потерял голос. И не сказал, едва прошептал: «Это я». Потому что забыл все другие слова.

…Теперь, когда всё отошло в прошлое, я увидел как, на самом деле, прекрасна мирная жизнь. И все еще не мог поверить себе: неужели она сбылась, давняя моя мечта? Неужели она не уйдет следующим утром? Но он никуда не девался, мой счастливый мир — мой маленький город, что всегда стоял за окном. К нему можно было выйти в любую минуту, и в жаркий солнечный полдень, и в лунный прохладный час. И никто бы не крикнул за твоей спиной «Куда?!», и не надо было оглядываться на каждом углу. Я так отвык от этого. Я три года ничего не знал, кроме походов, ничего не видел, кроме оружия и, ничего не ждал, кроме войны. И вот настало время проснуться! Настало время изменить мрачному своему пути!

Я, в самом деле, был счастлив!

Но как повредилось мое сознание! Как много новых красок приобрел окружающий меня мир!

Я гулял в парке и ни о чем не размышлял, кроме войны. Садился на лавочки и равнодушно отмечал деревья, из-за которых удобнее пустить в меня пулю. Останавливался в каком-нибудь кафе и всегда прислушивался к играющим там песням. Не

проплачет ли «Кукушка», не прогремит ли «Черный тюльпан». Я встречался с девушками и, глядя на них, почему-то представлял их мертвыми. Убитыми, брошенными с простреляннной головой. Представлял не от какого-то садизма, не в приступе какой-то жестокости. Нет. Эта картина была меркой моей симпатии к ним. Я видел их мертвыми и только тогда разбирался в своих чувствах. Только тогда мог точно сказать, которая из них не безразлична моему сердцу. Меня притягивали все заброшенные, все недостроенные в городе здания. Только они, нежилые эти дома, казались мне по-настоящему завершенными шедеврами архитектуры. Только они были достойны моего восхищения. Я ходил вечерами смотреть на городские огни и вновь видел перед собой походные костры и пожары. Я не общался с людьми, которые не были «там», а, если и вступал в разговор, то просто не слышал их. Я закрывал глаза и вновь возвращался в Чечню…

Нет, война не стала моим кумиром. И она не преследовала меня. Она как-то тихо вошла в этот мир и сделалась неотложной его частью. Стала его украшением, его богатством. Его богатством!.. Я не знал раньше, как звучит тишина. Ни разу в жизни не слышал ее голоса. Не чувствовал, как пахнет трава, лес, воздух. Не видел вокруг никакого другого горя, кроме мелочного своего. А теперь все это со мной! Пусть, пройденные мною дороги, притупили остроту моих глаз, убавили чуткость моих ушей, пошатнули мое здоровье. Но теперь я вижу и слышу больше, чем прежде! Теперь я познал цену всему! И жизни, и смерти, и красоте, и правде, и лжи.

Я, наконец-то, обрел самого себя! Благословенна земля Чечни, что дала мне такое богатство!

Как тяжело было тогда, в августе 2000-го, покидать Кавказ. Нас увозила колонна и я, сидя у кунге ЗИЛа, долго смотрел, как отступают, становятся темными и мелкими, грозные наши вершины. И все не мог отвязаться от навалившейся вдруг тоски. И не мог понять, откуда она взялась. Да видно сердце чувствовало, что ненадолго уходит отсюда.

И вот совсем наоборот случилось в этот раз. Мы улетали «бортом», и я даже не оглянулся, даже не помахал напоследок рукой. И так легко, без всякой тоски, без жалости и сожалений, ступил на спущенный вертолетный трап. Мне больше не нужны были, стоящие за спиной горы. На мою жизнь пришлось достаточно этой беды.

…А где-то, в самой глубине души, я знал точно одно: мне еще придется вернуться. Быть может, через много лет. И, как оправдание, повторял себе: «Кто-то должен».

Всё возвратилось на свои места. И во многом не так, как я бы

того пожелал. Самое страшное ранение ждало меня здесь…Мне казалось, я давно смирился с Ее молчанием, давно пережил бури собственных чувств. Но всё это было там. А теперь, когда мы встретились здесь, когда я заглянул Ей в глаза, и понял, что все кончено, меня словно вернули обратно. К тем светлым дням, где у залитых дождями костров, я читал непослушными губами, посвященные Ей стихи. Где, закрывшись от воды, их переписывали в блокноты, сидевшие рядом друзья. К тому времени, когда я еще верил, что Она обязательно отогреет замерзшие мои губы…

Но война научила меня гордости. И отучила от слез. Я ушел спокойно, ушел навсегда, и не показал своей боли.

…А она не могла оставить меня, тайная моя боль. Она все терзала и терзала сердце.

Куда он уплыл, неуловимый корабль моей Любви? В какие гавани подался теперь, мой летучий голландец? И не напрасно ли я жду у берега, куда он никогда не придет? А ведь был день, и была буря! Буря, что так трепала, так швыряла по волнам древнее мое судно. Что так хотела отправить его на дно. И свершила бы это, если бы я был один. Если бы не было рядом Ее.

Но вот отходили волны, отсверкали молнии, и он уплыл, печальный корабль моих надежд. Окончился горький этот круиз, и в пустом порту я сошел один на долгожданную сушу. И потерял под ногами землю. Зашатался, заболел, загрустил… Захотел снова вернуться к штормам.

И все же осталась одна пристань, где можно снова увидеть знакомые мне паруса, можно заново пережить уже уходящие чувства. Там, на чеченской земле, я навсегда сохранил Ее имя. Я написал его на каменной стене, случайно подвернувшейся зеленой машинной краской. Написал второпях, дурно, с потеками, большими кривыми буквами. Я ведь вечно куда-то спешил. Я ведь не знал, что придется все равно опоздать. Придется сойти одному в пустынной гавани почивших своих надежд…

Что ж… Плыви, мой летучий голландец! И забери с собой черную мою печаль, освободи уставшее мое сердце. Плыви, и дай отдых, который я заслужил.

И все же, если не сгинешь в пучине, обязательно возвращайся к моему берегу. Нам нужно отыскать заново потерянную нашу Любовь. У нас с тобой четыре мировых океана…

Уже давно никто не стрелял, не будил среди ночи, не нужно было куда-то бежать, вздрагивать при каждом звуке и шорохе. Все ушло и провалилось в прошлое. Ушли своей дорогой бесконечные походные несчастья, разбежались, не выдержав тишины, военные

злые тревоги, утратили в каменных стенах свою силу суровые ледяные ветра. И покинула бессонница мой родительский дом.

И все же Чечня не отпускала меня ни на час. И каждая ночь возвращала меня обратно. Но утром я не всегда помнил, что именно видел во сне. Их было так много, обрывочных этих сновидений, и я так хотел избавиться от них, что намеренно гнал их от себя, намеренно ослаблял память. И помнил только один сон. Он приходил постоянно — этот несбывшийся в жизни кошмар:

Я стою на коленях у кучи наломанных ветвей, пытаясь развести костер последней оставшейся спичкой. Она пылает в ладонях и не может зажечь бурьян. Еще немного, и синеет ее желтое пламя. Всё… Уже не будет огня и впереди только сырая зимняя ночь. Я поднимаю глаза, а вокруг меня сидит взвод. Сидят Хохол, Фикса, Дух, Старый, Бурят… Усталые, замотавшиеся, на голой грязной земле. И никто не видит меня, все смотрят только в костер…

Но пропадали сны, и меня поднимал на ноги день. Я выходил в город, и все еще шарахался от каждого звука и свиста, подавляя в себе желание броситься на землю. Все еще боялся наступить на газон, хотя уже давно не рвались под ногами мины и фугасы. А еще со мной случилось нечто непоправимое и страшное: я полюбил одиночество. Полюбил его давно и только сейчас понял, насколько велико мое чувство. Теперь я мог часами сидеть в своей комнате, часами одиноко бродить по улицам. Мне не нужна была ни одна живая душа. С ними было так сложно, с окружающими меня людьми, они всегда требовали общения, присутствия, постоянно отвлекали, задавали свои вопросы. А мне не хватало покоя. Не хватало мертвой пугающей тишины.

Все те реабилитационные центры, которые нам предлагали теперь, не могли вернуть и части утраченного нами. Не могли сделать нас прежними. Я не был в них, но почему-то уверен, что там не лечат, а лишь заново заставляют пережить прошлые потрясения. Лишь заново калечат. Один врач, что однажды вызвал меня на беседу, долго и напрасно рассказывал о каком-то смысле жизни, о каком-то ее будущем… А я сидел, смотрел в стену и, думал лишь о том, когда же он кончится, нелепый наш разговор. «Какой там смысл жизни, какое там ее будущее?.. — думал я. — Это говоришь мне ты, который давно спятил сам, общаясь с душевнобольными. Который вряд ли держал оружие и на простой срочной службе. Который удивится синим разорванным животам и плоским раздавленным головам«…Если бы он налил мне водки и рассказал любую собственную беду, наверное, я бы поразился ее ничтожности и, наверное, мне бы

сделалось легче. Но он ничего не сказал про себя, и мы так и не поняли друг друга. «Помог хоть чем-то?» — был его последний наивный вопрос. Но я не мог обидеть доброго этого человека, не мог сказать ему правду. И, вместо «Нет», ответил «Не знаю…»

Теперь мы стали «невозвращенцами». Теперь я часто слышал от других: «Вам нужно жить дальше!», «Поверьте, еще обязательно будет счастье!» Но уже был глух к этому. И мне было уже все равно, потому что я больше ни во что не верил. Я разрывался сам в себе, спорил с самим собой. Был счастлив оттого, что не умер, и несчастлив потому, что живу. Я полюбил ночь и не желал видеть солнца. Я перестал совершать зло, но так и не научился добру. Я оставил всех друзей, чтобы побыть одному, но стал не нужен самому себе.

…Я бы уехал куда-нибудь, да не было таких мест, где бы не догнала война. Я бы облегчил душу, да не нашлось бы таких ушей, чтобы выслушали сполна. Я бы наложил на себя руки, да не знал, когда вновь увижу оружие.

Говорят, всё лечит время. И нет таких несчастий, чтобы продлились дольше человеческой жизни.

Что станет с нами, «невозвращенцами»? Чем же окончится, затянувшаяся наша болезнь?

А чем когда-то окончилась бубонная чума? Конечно же, смертью…

…И все же мы вернулись домой! Дай Бог, навсегда!

Мир Всем Вам!!!

Барнаульский юридический институт

Сегодняшний день:

…Я стою на плацу, наблюдая, как катится по асфальту темная дождевая вода. Только что успокоилось небо. Только что заступила на землю ночь, и отправила в сон душную нашу казарму. Я отпустил дневального, чтобы самому унести в штаб строевую записку курса.

Но мне некуда с ней спешить. И я стою на плацу, провожая уходящий своей дорогой дождь. На мне те же погоны и тот же старый мундир. Я стою и разговариваю с собственной тенью…

Зачем я пришел сюда?.. Зачем снова напялил берет, снова подался к романтическому своему берегу? Неужели горе не нашло себе другого попутчика? И кого винить в этом несчастье, кроме себя?

Зачем?.. Я задаю себе этот вопрос и сегодня. И до сих пор не найду верный ответ.

Я ведь на самом деле мечтал только об одном: сорвать, бросить и позабыть истаскавшиеся свои погоны — этот тяжкий груз прошлого. И это почти произошло, почти свершилось в моей жизни. Они уже отправились в шкаф, обтрепанные мои камуфляжи, с единственной широкой лычкой на плечах. Но мне показалось мало… Мало этой единственной широкой лычки. Я захотел звёзд. Только с ними мог уйти на покой старый мой камуфляж. С блестящими звездами офицера. Не важно, полковника или лейтенанта… Зачем? Неужели я настолько сошел с ума? Видимо, да… Потому что испугался. Испугался начать жизнь с нового листа. И не захотел другого неба, кроме белого потолка казарм…

Я ведь столько читал, столько знал песен о наших офицерах, так возносил про себя это звание!.. Я просто не мог пройти мимо этой судьбы… «Это ведь не навсегда… — думал я, — Он пройдет, этот день в погонах, и я вновь стану свободным… Я обязательно покину этот печальный дом… Я еще найду мирную свою дорогу… Потом…»

Барнаульский Юридический Институт. Бывшая Школа Милиции…

…Уже кончается осень. Пошли черными пятнами мягкие желтые листья, и обрели силу грозные ледяные ветра. Ушли, не оставив следа, теплые ночи лета.

Я стою на темном плацу, провожая уходящий своей дорогой дождь…

Вечером я приводил сюда группу, петь строевую нашу «Катюшу». Я принес песню из Армии и очень ее любил. Ни дождь, ни огромные лужи, не были помехой для нашего марша. Они шли рядом, вчерашние дворовые хулиганы и беспечные школьные прогульщики, злые мои курсанты. Шли, черные от воды, с бледными ожесточенными лицами. Шли и ненавидели меня больше, чем дождь. И не пели, выли волками, «…Про степного сизого орла».

Днем кто-то из бойцов провинился в службе, и это был лучший урок остальным.

Барнаульский Юридический… Поздняя осень 2001-го…

…Зачем я пришел сюда? Да, вспомнил… Мне нужно посмотреть, нужно измерить расстояние до парадной трибуны. Скоро конкурс строевой песни, и мы не должны отдать первого места.

Ребята… Дорогие мои, земляки! Курсанты, сержанты! Товарищи, братья! Помните, как много счастливых дней подарил нам Алтай?! Какие великие дела ждали нас впереди, и как мы думали изменить мир!

Помните, наши состязания между курсами, соревнования, субботники, КВНы, творческие вечера, парады, городские дискотеки и драки? Те длинные предзачетные ночи, что, начатые с учебников, часто заканчивались картами и анекдотами. А утром мы не знали, какому богу молиться на день.

А наши светлые молодые лица! Вы помните их? Да, они еще с вами, — счастливые фотографии из мира прошлых надежд. И они еще не потеряли свой блеск. Но как постарел тот мир! Ведь нет такой красоты, что бы не погубило время. Как много разных забот и бед наложило оно на наши лица. Как потушило глаза, замкнуло губы и, наконец, отрезвило умы. И теперь я не знаю, смогу ли заново кого-то узнать.

О, память! Подними из пепла давно догоревшие мосты! Верни мне вновь Барнаул! Возврати радость моему сердцу!

Барнаул — неизлечимая наша болезнь, светлая, как весенняя печаль, безрассудная, как первая любовь…

…Самое начало субботнего дня. Уже отмыта, отскоблена до бела, унылая наша казарма. В расположениях групп стоит тяжелый дух человеческого пота и дешевых одеколонов, досыхает во всех углах белая мыльная пена. У дверей командирского кабинета копится большая толпа — обманчиво тихие, но полные затаенной дерзости и слепой надежды курсанты. Выходит в коридор черноволосый маленький азиат. У него в руках пачка билетов на вечерний театральный аншлаг. Зачем они ему? Ну, это так ясно! Это ведь театр! Культура. Он получил билеты в штабе, получил еще неделю назад, во много большем количестве, чем у него подчиненных. И обязался всё распродать.

Но никто не захотел театра. Никому не понадобилась культура. Начальник поднимает над головами зажатую в кулаке пачку:

— Одно увольнение — три билета.

Мимо, взвившейся от восторга толпы, вальяжно проходят безжалостные сержанты. Они презрительно глядят на собрание и думают только одно: «Какие им увольнения?! Какие мамки, папки?!.. В Армию всех! На полигоны!»

Через минуту из рук начальника вырывают последний билет. Кто сплоховал, у кого не хватило денег, и он не успел их занять, — остался в казарме.

…Мы сидим на кроватях, ковыряясь в коротко остриженных волосах: я, мой замкомвзвод Степа и два первогодка из «особо приближенных к трону». Мы только что вскрыли два стандарта тарена, и нас отпустило сознание. Сейчас мы сидим с кроваво-красными глазами и небрежно снимаем с голов мохнатых отвратительных пауков. От них не найти спасения. Они валятся с

потолка, бегут по стенам и занимают весь пол.

В кубрике, на случай появления офицеров, выключен свет. Медленно, незаметно для всех, пополз вниз обшарпанный потолок. Сузились до амбразур широкие казарменные окна, затянулись кактусами и колючей проволокой открытые настежь двери. Уже поздно куда-то бежать…

Прямо из-под земли вырастает мои курсанты. Они встают поодаль, маленькие, будто грибы, и вежливо напоминают о службе:

— Товарищ старший сержант, вечерняя поверка у нас…

Еле поднимаются и шагают в пространство двое «особо приближенных». Мы с «замком» мотаем у пола бессильными головами:

— Не… Не можем…

…Нудные и бестолковые часы самоподготовки. Напирая на дисциплину, лютует с проверками неугомонный Учебный отдел. Нельзя выйти из класса, чтоб не остаться без замечания. Но никто и не думает выходит. Какой-то серьезный зачет готовит нам завтрашний день. И, уткнувшись в учебники, что-то бубнят про себя «духи«…Но здесь невозможно учить. На последней парте без устали кроют матом заскучавшие их командиры.

Перед уходом из класса, группе дает последнее наставление замкомвзвод: «Ну, не дай Бог, меня завтра спросят!»

Серьезный зачет следующего дня. Уже «отстрелялись» и сгинули из класса все наши «духи». Уже выросли в журнале преподавателя незаслуженные их «трояки». На последних партах хмурится сержантский состав группы — восемь заслуженных «дедушек-красноармейцев». «Не нам, не нам здесь учиться!» — бубнит старое свое заклинание замкомвзвод и не понимает, почему у него еще нет «четверки».

Но преподавателю не нужны знания. Он мелкий взяточник и спекулянт. Учеба интересует его лишь, как процесс обогащения. От него можно избавиться только подарком или, наоборот, покупкой. Курсовые работы, сделанные одними, он продает другим. Но мы не желаем тратить и копейки. Мы думаем получить зачет только из-за того, что носим на плечах лычки, а он думает поставить его лишь, как разрешит свою нужду…Мы просто сидим и ждем. Сидим в тишине, и каждый надеется на счастливый исход. Звенит звонок. «Не зачет!» — говорит преподаватель и показывает на дверь.

…Голодные послеобеденные часы. Я рассаживаю группу, запираю изнутри класс, и приступаю к проведению обязательного диктанта. То, что сегодня подали в столовой, — надолго отбило у нас аппетит. И сейчас по командирской инициативе подчиненные

пишут анонимные записки в «ящик жалоб и предложений». «Неудобно, командир», — говорили они поначалу, честные мои курсанты. «А что, нравится пища?» — спрашивал я, и всегда оставался без ответа.

Завтра этот жалобный ящик вскроется в штабе и начнется очередная служебная проверка. Еще через неделю на всеобщем построении Института объявят ее результаты: «…действительно выявлено плохое качество подаваемой пищи… к виновным приняты дисциплинарные меры». А еще через месяц все забудется. И они вновь вернуться, эти голодные послеобеденные часы. И мне, и «замку» Степе, снова придется диктовать обязательную эту жалобу, которую так не хотели писать курсанты. «Мы потерпим», — говорили они, не понимая, что их обворовывают, унижают и учат безмолвию.

…Уже миновал первый год службы. Окрепли, выросли и потеряли былую простоту вчерашние школьные неудачники. Они уже привыкли не видеть мать, и стали по-мужски протягивать руку отцу. Уже совсем по иному входили они в родные дома. А беззаветную родительскую любовь, наконец-то потеснила гордость.

…Наш выпускной 2-й «Б».

…Курсанты заливает водой этажи Учебного корпуса. Уже миновала суббота и еще далеко до следующей. Одни во всем Институте мы драим пустые длинные коридоры. Не особо налегая на тряпки, скоблят двери и стены, невозмутимые мои бойцы. Они делают все уверенно, быстро и спустя рукава. Им нужно скорее отсюда бежать, чтоб до отбоя успеть в самоволку. А я не вижу пользы от этого наказания — внеурочного парко-хозяйственного дня. Зачем нам объявили его? Потому что мы — 2-й «Б».

2-й «Б»… Вечная чехарда курсовых командиров… Всегда на «особом контроле» у генерала… Всегда с водкой, «травкой», двойками и судами чести… Всегда самые последние среди последних… Но это нормально. Это уже традиция… 2-й «Б» — рассадник авантюризма, анархии и провокаций. Первые среди первых в борьбе за выживание…

…Еще один Суд чести. На скамье подсудимых командир группы и замкомвзвод. Мы избили курсанта, и, после долгих разбирательств, было принято решение именно так разрешить дело. Но у обвинения ничего нет, кроме самого пострадавшего. А мы не признаем своей вины. И ни одна из сторон не имеет свидетелей.

— Они давно хотят выгнать меня из милиции! — ищет себе союзников курсант.

— Да, если б мы кого-то избили, он бы не смог здесь

стоять! — приводим мы главный оправдательный козырь.

В сущности, Ваньку никто не бил. Степа уронил его пару раз на пол и эти закончил всю драку. Он ронял его, а я стоял рядом и завидовал. И лишь напоследок дал вдогонку пинка.

Этот суд так ничем и не кончился. Вопрос о вине завис в воздухе. А через месяц генерал во всеуслышание объявил Степу «лучшим курсантом БЮИ», а мне лично вручил премию в пятьсот рублей, как «лучшему командиру группы».

…Над спящими казармами бродяжит бледная скупая луна — неусыпный глаз ночи. В белых надушенных платьях стоят вдоль дорог доцветающие кривые яблони. В открытые настежь окна течет прелый воздух весны. За высокой железной оградой теплится жизнь. Там еще полны песнями и пьяной отвагой ночные бессонные кабаки. Но здесь хозяйствует тишина.

На холодном поле стадиона сидят две сгорбленные фигуры — ночной патруль от моего караула. Они узнали меня по походке и не спрашивают пароль. Я подхожу, и сажусь рядом на вкопанное машинное колесо.

— Что?.. — киваю я в сторону ворот.

— Самоходчик один пробегал, — отрывается от сигареты Орел. — Но мы отпустили. К даме своей ходил…

— В первой казарме пел кто-то. Но давно. Мы сообщать не стали… — добавляет Вареный и, улыбнувшись, оскаливает желтые в темноте зубы, — Голос у него — дрянь совсем.

«Давно ли оба бегали ко мне за советом, как сделать одно, как не ошибиться в другом? — смотрю я на самостоятельных своих бойцов. — Давно ли я сам считал их детьми?..»

— Устали? — прозвучит мой негромкий вопрос.

И строгий мужской ответ:

— Не уснем, командир.

…Скоро наступит выпуск. Орел подастся в следователи, женится и обзаведется детьми. Вареный станет участковым и утонет через два года во время купания.

Да, скоро выпуск. Еще какой-то месяц, неделя, день… Еще немного и разбогатеют звездами пустые наши погоны. И каждый найдет единственную свою дорогу. По которой уж не с кем будет идти…

Потише, стремящийся к разлуке!!! Ты скоро поймешь, что здесь потерял!

…Ребята, товарищи, земляки, братья! Помните ли, вы, эти дни — наше невероятное счастье, от которого ничего не осталось теперь!

Где вы сейчас? Куда дело вас время?

Я знаю… Вы давно оставили службу. Не выдержали,

разочаровались, устали. Ушли в Армию, на гражданку, сели в тюрьму, погибли, скатились в нужду, или наоборот, обрели уют.

Ребята! Мы думали изменить мир, а что осталось от нас?! Мы надорвались. Умылись слезами наши лица и истекли кровью наши сердца. Мы не переделали мир, а сделались лишь его частью. Мы были честны, благородны, ненавидели трусость и страх, а стали малодушны, боязливы, засомневались в себе.

Вы! Кто открыл эту книгу! Вспомните, какими были вы десять, пятнадцать и двадцать лет назад! Какая сила копилась в вас и сколько добрых дел хотели вы совершить. Какие сокрушить горы, какие опустошить моря! На каких сильных, здоровых конях въезжали вы в эту жизнь. И как богаты были надеждой быстрые ваши колесницы… Да вот ничего не произошло. Споткнулись и покалечились сильные кони, разбились на поворотах все колесницы, потерялась, или была украдена, ваша надежда. И жизнь поломала вас. Согнула и смяла. И в этом не только ваша вина. Я знаю… Я сам видел это… Вам не давали дышать, учили, как жить, говорили доброе о злом и злое о добром, принижали ваши достоинства и завышали недостатки, запрещали быть самим собой. И не злые боги земли. Нет. Такие же вчерашние выпускники школ, институтов и академий, какими были и вы. И, вместо сильных, вы делались слабыми. И, вместо высоких, становились низкими. И как-то забылся, сменился на торопливый, всегда гордый ваш шаг.

Я часто слышал: «Это система. Напрасна любая борьба». Но нет. Всё это ложь. Система не может существовать без людей. А, значит, всё дело не в ней. А, значит, все дело в людях.

Не система, а люди погубили моих друзей, — молодых лейтенантов 2003 года. Кто-то когда-то не заступился за них, побоялся гнева начальства и не пожелал портить с ним отношения. Кто-то промолчал, когда нужен был голос, кто-то опустил руки, когда нужно было действие. А лейтенанты оказались на улице, отправились в тюрьмы, запили от обид, свели с собой счеты.

А все от трусости! Командиры и начальники бросили их в самый нужный час, отдали на откуп системе, плюнули им в лицо. Потому что трепетали за свою шкуру. Потому что умели только требовать, наказывать, кричать, но не могли помочь и защитить. Потому что, имея на плечах большие погоны, всегда боялись любого спроса с себя, любой ответственности за людей…

Они просто исчезли, те ребята, что думали потрясти Вселенную. И от них не осталось и памяти.

Плачь, бедный мир, ты свой утратил клад!

…Я не только о милиции. Я обо всем, что сгибает человека,

личность. Что делает его червяком, рабом, быдлом. Вспомните каждый, какими вы были вчера! Сколько в вас было совести и правды. И куда это делось теперь. Может, кто-то ответит, мол, обеднела с той поры и сама земля. Но, нет, и еще раз, нет. Это мы обеднели. Потратили себя на мелкие ссоры и дрязги, пошли на поводу у других, стали послушными и безропотными, отдались предрассудкам и потемнели сердцем. Поройтесь каждый в себе, и вы увидите, сколько грязи накопилось в вашей душе. И, как вы крепите это, и сопротивляетесь всему новому, лучшему, доброму. И сколько обид и боли дали вы людям.

Услышьте, кого еще не оставил слух! Кто еще помнит, как когда-то присягал совести и правде! Ведь еще не поздно повернуть свою жизнь. Еще не поздно заново стать Человеком.

…Барнаульский Юридический Институт.

Ребята! Курсанты, сержанты и офицеры! Если вы остались в живых, если вас не растоптало время, я прошу обнажить головы! Прошу минуту молчания!

Она заслужила того — наша юность, что сгинула под погонами.

Это была самая богатая жертва.

Когда не хватает горя

Май 2002 года.
Алтай:

Прошел целый год с того майского дня, когда я вернулся домой.

Кануло в Лету тяжелое время Армии. Сели на свои аэродромы, отбомбившиеся самолеты, вернулись к своим вокзалам полупустые поезда. Приютили инвалидные тачки ущербных своих калек. Захлопнулись двери полевых лазаретов и госпиталей. Легли на полки запоздалые медали и ордена. Раскололи пули, назначенные им черепа, и дошли до родных порогов все похоронки…

Я стал привыкать к этой тихой спокойной жизни, что окружала меня теперь. Учеба и мелкие бытовые проблемы вновь встали на первое место. Взамен прежних, оставшихся там друзей, появились новые. Начал иссякать военный мой лексикон, стали теряться походные мои привычки. Даже сны куда-то сбежали от меня, и я месяцами не видел Чечни. Теперь можно было загадывать на завтрашний день, не боясь, что он никогда не наступит. И не было нужды по каждой мелочи ставить на карту судьбу.

Оказалось, действительно, всё лечит время…

За этот год будто прошла целая жизнь. Огромная, красочная, с невероятными радостями и переживаниями, со своей неограниченной свободой. А та, прежняя, в сапогах и шинели, впервые показалась временем упущенных возможностей. Временем, когда, впустую и напрасно, были потрачены лучшие годы жизни. Годы, которые остались на полигонах, которые сгорели в топке чеченской войны. Годы, прошедшие как один день. И как жаль, что их нельзя возвратить.

Но жалко было не этих лет, а того, как они прошли. Наверное, это болезнь каждого — жалеть о своем прошлом и мечтать его изменить. Вот и мне впервые захотелось что-то исправить во вчерашнем дне. Потому что он должен был быть другим, не таким тяжелым и, не таким кровавым. Он должен был пройти по-другому, мой невозвратный вчерашний день. «А как по-другому?» — спрашивал я себя и, наконец, понимал, что ВСЁ, ВСЁ так и должно было произойти. И только так.

Ну, разве я смог бы учиться в каком-нибудь Университете, ВУЗе, колледже, и еще несколько лет прилежно слушать, зубрить, когда только вчера за мной захлопнулись школьные двери? Только вчера дала мне свободу школа. Конечно же, нет. Я бы сбежал оттуда в первый призыв. Разве не я в свои семнадцать явился в военкомат проситься контрактником в Таджикистан? А до того отправлял туда мать, кланяться, чтоб меня досрочно призвали в Армию…Конечно, никуда она не пошла. А еще раньше поступал в военное училище…А после, уже в армейском карантине, так гордился этим поступком, — единственный несостоявшийся офицер среди рядовых целого взвода.

Да, были годы, когда у меня не было другой мечты, кроме Армии! Когда такой сказкой, такой фантастикой, казалась мне военная служба! Когда я бежал к ней сломя голову, и не чуял под собой ног.

Ведь я прожил целых восемнадцать лет, а при мне ни разу не изменился мир. Не поднялась на дыбы земля, и не рухнуло наземь небо.

…ВСЁ, ВСЁ произошло так, как и должно было произойти. И эту причину нужно искать не там, не у порога военкомата, не в конце 90-х. Нужно искать раньше, еще до того дня, как я сел в поезд, впервые не заплатив за билет.

Это началось с книжек, со старых дедовских наград, с первых, еще страшных, военных фильмов, с безобразного детского меча, сделанного впервые из штакетины соседского забора. Началось с одного истрепанного атласа, что валялся у нас в доме на книжной полке вперемешку с пожелтевшими журналами и грудой

советских идейных газет. Географический и политический атлас мира. Лучшая книга моего детства. Книга по которой я делил мир… Совершал завоевательные походы, сметал города, отнимал территории и губил государства. И не было на карте такой страны, где бы каждый вечер не хлестала потоками кровь. Не было таких континентов, куда бы не доходили древние армии фараонов, несметные полчища персидских царей, тяжелые македонские фаланги, свирепые орды азиатских варваров. Я, как хотел, менял мировую историю. Мой Цезарь громил империю инков на американском континенте, мой Тамерлан облегчал под Сталинградом неповоротливые фашистские шеи, мой Жуков стоял против Аттилы под стенами Вечного города…

«…И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять, да день продержаться!» — Аркадий Гайдар, «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» — Кодекс Чести моего детства.

«…Мчались танки, скорость набирая, наступала грозная броня. И летели наземь самураи, под напором стали и огня! — Борис Ласкин, «Три танкиста» — песня моего сердца.

«Нет такой молитвы, чтобы уберегла от рабства. Ибо для погибающих спасенье одно — о спасенье не думать. И, если твое оружие не молитва, а меч — никогда не носить рукам позорных оков…» — непреложный завет моего деда — бывшего участника бывшей большой войны.

А еще в моем детстве были горы… Маленькие безвестные вершины сибирской тайги. Они были недостойны звания гор, и им не досталось имен. Но они были, как было теплое, вставшее за ними желтое солнце, как холодная, идущая с них талая вода. Они стояли сразу за поселком — унылые карлики, никогда не державшие неба. Они были полны трав, ягод, грибов, дичи. Они кормили, давали приют. Они манили к себе каждую минуту и целую жизнь. Их тропами ходили мои отцы, деды и прадеды…

Но они были так малы, эти горы, словно несерьезные детские игрушки. Они не могли дать головокружительной высоты, не могли сбросить с нее в ущелье. У них не было лавин, камнепадов и жертв…А мне не хватало неприступных вершин. Мне нужно было дотянуться до облаков, увидеть перед лицом восходящее солнце Памира, Кавказа. И не было разницы, кто выпишет эту путевку туда. Война или мир. Жизнь или смерть.

И вот настал тот день, когда все они сошлись на одной дороге — на грозных вершинах Кавказа. Сошлись все. Мирные и военные. Мертвые и живые. И содрогнулась земля от их древнего

спора, кому над кем повелевать. И я, участник невероятной той драки, был в ней ни жив, ни мертв…

Кавказ, зачем ты украл прежнюю мою радость? В какие пропасти сбросил мою надежду, какими обвалами засыпал ее следы?

…Они никогда не кормили, не грели, не давали приюта. Наоборот, только морили голодом, только хлестали буранами, плевались пулями — жестокие кручи Кавказа. Они навсегда развеяли детскую мою мечту о горах.

И сейчас мне жаль одного. Жаль, что в начале этого века на Памире не было большой войны. Потому что теперь мне никогда не узнать, были ли его горы лучше, добрее, чем кавказские…

…Ну, что? Ну, что же теперь? Разве всё это — не начало моего Пути? И здесь что-то не так? И всё должно было пойти по-другому? И разве я думал иначе прожить эту жизнь?.. Разве я был не я?..

НЕТ!

А, значит, всё на своих местах? И Кавказ — не случайное зло, потащившее меня за собой? И, значит, не о чем плакать и, не о чем больше жалеть? Значит, нужно смириться с судьбой?.. И понять, что я остался самим собой?..

Значит, да…

…И все же мне жаль. Жаль, что нельзя отнять у истории чеченской войны. Нельзя оставить меня в покое…

Я впервые задумался об этом Пути еще там, в первой своей Чечне. Но задумался мельком, несерьезно, едва напрягая мозг. Та, первая моя Чечня — это было удивительное приключение, необыкновенная удача, которую мне подбросила жизнь. Удача, что приходит лишь раз, чтобы больше никогда не повториться. Но — горе моё! — это приключение окончилось прежде, чем я устал, прежде, чем исчерпала себя удача. Война не отправила на мою улицу ни одной затрепанной похоронки, ни одного самого захудалого гроба. Она отпустила меня живым, оставив с собой лишь мою душу. Всего лишь какую-то душу, что и не видно живым глазам. Какую-то мелочь, вымысел запойных поэтов и безумных попов…

Я не верил в существование души до Чечни.

Да, Чечня подарила мне душу! Подарила только за тем, чтобы затем отнять и оставить с собой. Я не жил до Кавказа. Меня просто не было. Я был пуст, как зимнее поле, бесполезен, как потухший костер. Война дала мне почувствовать свое «я». Дала мне силу, мужество и отвагу. Но оторвала от сердца радость, навсегда увела покой. И, может, именно за ними, за обретенными и растраченными чувствами, я подался туда во второй раз. Чтобы

заново собрать свое «я».

Я думал обрести себя, а лишь больше терял, больше страдал, уставал и не желал жить…

Мне казалось, чем чаще будет видеть меня Чечня, тем более сильным, более целостным стану я сам. Чем больше за моей спиной будет войны — тем будет лучше. Был однажды — буду и дважды. Я ведь не понимал, что война мерится не днями, не годами, не количеством командировок, а горем. Горем, являющимся мерилом всего.

Каким же простым оказался ответ на мой вопрос: для чего я подался туда вновь? Мне просто не хватило горя! Не хватило однажды и стало не хватать всегда. Теперь я понял, что бы счастлив только тогда, когда вокруг не было счастья. Один счастливый, среди сотни тысяч несчастных. Один, кому не хватило горя…

Зачем я открыл двери милиции? Потому что знал, куда поведет эта дорожка. Потому что для меня больше не было жизни в тылу. Потому что меня уже нельзя было вылечить от этой болезни. А Доктор Смерть все задерживался в пути…

…Весь прошедший год там продолжала литься кровь. И не было минуты, когда бы она остановила свой ток. Там вновь роняли бомбы, отбомбившиеся вчера самолеты, и вновь бежали по взлетной полосе, поднятые по тревоге экипажи… Оттуда снова тянулись в Россию полупустые поезда… И, может чуть тише, чем вчера, скрипели по улицам новые инвалидные тачки и, может чуть уже, чем раньше, вновь открывались двери полевых лазаретов и госпиталей… Там снова кололи пули, назначенные им черепа, и пожирала земля, отживших свое людей… Там вновь правили бал Ужас и Страх…

А я был здесь…

Тупая, бессмысленная бойня, которой не будет конца! От которой ничего не останется, кроме кладбищ, памятников и костей. Которая еще раз обчистит нашу, и без того бедную на добрые дела, землю…

Да, мои глаза были открыты на это безумие, но как болело по нему сердце!.. Как металось в тоске по прошлому, как не хватало ему место в груди…

Через год после Чечни я вновь потянулся к стихам. К поэтической той отдушине, без которой мне трудно было дышать. Оставив когда-то войну, я истребил привычку писать, забросил все сочинения и перестал волновать ими чужие души. И, наконец-то, освободил ночи для сна…Они ведь были никому не нужны, поэтические эти часы, приходившиеся в самую полночь в мой дом — старую кирпичную казарму, полную лунного света и умерших в

ней надежд. Мне просто некому было посвящать стихи.

Но однажды мне не поверила одна девушка: «Когда ты полюбишь вновь, то обязательно вернешь себе этот дар. Обязательно что-то напишешь. И он будет о любви, новый твой стих». И она оказалась права. Первый, после года забвения стих, действительно, был о любви.

А девушку, что не поверила мне когда-то, звали Марина. У нее были грустные большие глаза, светлые, как солнечный день, зеленые, как утренний туман. И каждый из ее круга мечтал побыть у нее в объятиях час или год…

…Я пришел сюда в звании и не захотел остаться без работы. У меня вновь появились подчиненные. Подчиненные, за которых я всегда был в ответе не перед начальством, не перед буквой Устава, а перед своей совестью. И цель научить чему-то молодое, неопытное еще поколение, стала для меня первой среди других. Я показывал все, что умел сам, объяснял, требовал, наказывал своих курсантов.

Вон они, — замерли в строю, — ребята, навсегда занявшие место в моем сердце. Они еще обижаются, еще не понимают, еще думают, что всегда неправ командир. Еще надеются переломить мою волю. Но уже перестали мне врать, остановили драки друг с другом, наконец-то, утратили прежнюю робость. Наконец-то, стали превращаться в мужчин.

Ребята… Бесценные мои товарищи… Давно потерялись, разбрелись во все стороны, уснули в земле отделения и взвода, которыми я командовал прежде. И все кончилось раньше, чем я ожидал. Прошли годы, выросли звания, сменились люди. И вот у меня осталась только она — 211-я учебная группа — последние самые преданные мои бойцы.

«Что будет с ними потом?» — так часто спрашивал я себя. «А что стало с тобой, когда тебя отпустили на волю?» — отвечал я себе и не мог замолчать свою правду: «Ничего такого… Мне просто не пригодилась свобода. Я, видимо, так и сложу свою голову, не сносив погон. Так и останусь верен своему Пути». Но, дай Бог, чтоб хоть они никогда не узнали войны. Дай Бог моим ребятам умереть в городе своем. Умереть седыми от старости, а не от скорби и слез.

…Странно, но предо мной не стояло цели закончить Институт. Это было что-то туманное и далекое. Он все равно должен был прийти, этот час, когда нам повесят погоны. И не к чему его торопить, ведь у него не будет другого выбора.

Я не спешил уходить с Института. Я привык видеть день, от которого нечего было ждать, кроме повторения прожитого вчера. Привык определять вечер по рубиновым пятнам заката,

ложившимся на узкую мою кровать. Я уже знал, когда отсюда уходит лето, приходит осень, меняется год. Я выучил наизусть все их приметы. Я давно понял, что в этом мире застоя не будет подвигов и наград, но как-то сдержал себя и смирился с этим. Мои часы остановили свой бег, и замедлилась сама жизнь…

Я не хотел уходить отсюда, но и не мог обрести здесь покой.

…Говорят, ничего не повторяется вновь. Говорят, не приходит дважды вчерашний день. А я чувствую, как к сердцу крадется беда. Чувствую, как мало осталось до встречи с ней.

И теперь, вместе с чувством беды, ко мне приходит безумие.

…О, ярость судьбы, довольно! Верни дыхание задыхающемуся! Всколыхни мир, где уснула война! Разбейтесь материки и дайте под ноги Чечню! Ибо я уже не могу ходить по земле Алтая…

Боль моя — Чечня! Радость моя — Чечня! Надежда моя — Чечня!

История одного предательства

Сегодняшний день:

Мы еще понимали друг друга два месяца назад, пытались понять последний месяц, но окончательно разошлись теперь.

Что же развело нас? Что нам с тобою было делить? Неужели, власть? Оказалось, что да. Я не понимал тебя, когда ты не командовал, когда отстранялся, когда, вместо общих, решал личные свои дела. Когда я не знал, где искать тебя, если мне нужно оставить группу. Я обижался, считал каждый твой промах, и, наконец, мне стал не нужен такой командир. Командир, что по-иному, не так, как я, смотрел на людей.

Я был ведь максималистом, как и все, кто когда-то был молодым. Для меня не было в жизни других цветов, кроме черного и белого, и я никого не обошел этой меркой. Если ты не умеешь подавать строевой шаг, не знаешь команд, если курсант с тобою на «ты», — значит, ты плохой командир. Значит, ты никто. Значит, тебе не место в нашем строю. Это святая заповедь, которую я на всю жизнь усвоил в армейской сержантской учебке. Но ты не был сержантом, Сергей. Ты был всегда рядовым и не стремился к званиям. И ты был хорошим солдатом для своего времени. Но оно миновало, то время, и мы оба, и многие другие, еще не понимали, что Армия — это давно сгинувший день, с которого уже нечего взять. Не понимали, но всё продолжали что-то делить…

Нет, я не жалею, что был командиром. Я был достоин своих

погон. Я был и зол, и жесток, я наказывал, сурово спрашивал с солдат, и редко кого-то жалел. Но умел и прощать. Но ни разу никого не оскорбил, ни разу никого не унизил. И не лишил куска хлеба, как делали это со мной. И ушел, оставив по себе добрую память среди всех, кто меня знал. От рядового взвода до полковника бригады.

…Сергей, ты помнишь, как первое время, пока не открыли столовую, нас кормили сухой консервной кашей, перловкой и гречкой? Как у нас была одна на двоих ложка, как мы оба ели из одной банки. Как ты отстранял меня, когда нужно было поднять тяжесть. Ты первым протягивал руки и говорил: «Я возьму». И как, еще позже, когда меня свалила болезнь, ты таскал меня с температурой по лестницам старых больниц. И как мы каждый просили один за другого у командира курса и, как радовались потом, что оказались в одной группе. Как напрасно думали пройти с тобой эти два года.

Да лучше б нам отказали тогда! Лучше б мы не ходили вместе, чтобы потом не сторониться друг друга!..

…Мы встретились в Институте в самом начале августа — молодые ветераны Чечни, Таджикистана, Абхазии — полтора десятка головорезов, не знавших кому продать свое ремесло. Безработные бродяги, чьи золотые на любой погром руки, неожиданно остались без дел. Но даже в безликом этом строю, мы сразу узнали друг друга — двое в форме, среди остальных без погон. Двое, в ком ярче всех горела душа.

Нас взяли вне конкурса и до начала учебы подрядили дешевой рабочей силой на ремонте казарм. Днем мы драили полы, таскали шлак, белили стены, перекрывали крыши, лопатили землю. Днем мы ненавидели внеконкурсное свое поступление, и почти завидовали абитуриентам, которые никогда не ждали урочного часа, что нас избавлял от труда. Мы завидовали их свободе и копили в себе злость, крепкую и слепую. «У-у-у… Духи!.. От Армии пришли хорониться…» — скрипели мы зубами, завидев у казармы нескладных, негромких и растерянных, как после пожара парней. «А-а-а… Душечки!.. Радовать прибыли нас…» — хлопали мы в ладоши, взмыленным на кроссе девицам, падающим на финише с мокрыми красными лицами.

Мы быстро окрепли, стали справляться с любой работой и начали бить вчерашние трудовые рекорды. Но всё равно наш день был бесплоден, как пустынный песок. Ему всё равно не хватало красот и чувств. Ведь работа — это не то, на что стоит потратить жизнь. Если у тебя нет свободы подраться и выпить, нет наглости подойти к незнакомой девушке, наговорить ей комплиментов и пошлостей, если ты не считаешь себя героем, — значит, ты

напрасно попираешь землю. И, действительно, мы напрасно стаптывали свои башмаки до того часа, как начина густеть тень. Но вот приходил вечер, и оживал мир. Приходил вечер, и мы вновь одевали зеленые свои береты, что так редко видели солнце. Приходил вечер, и нас не могли удержать ни наряды, ни замки КПП…

Братья! Товарищи мои по оружию! Соседи мои по грязным окопам, проводники мои по минным полям! Моя надежда на завтрашний день! Не поворачивается язык, сказать вам, «ветераны»! Вы помните: Барнаул, проспект Ленина, август 2001-го года?! Ту аллею, что собирала наше братство. Те часы, как начинали гореть фонари…

…Остывает тяжелый горячий воздух. В каменных кварталах домов занимаются первые слабые огни. Синяя тьма, легкая и подвижная, берет в плен обессилевший город. И вечер — родитель застолий, любви и разбоя, — вновь ставит драматические свои спектакли…

…Центральный проспект Барнаула — старинный театр без крыши и стен. Здесь хорошо летом и невыносимо зимой. Сюда свободен вход и не нужен кассир. Здесь легко быть и актером, и зрителем. Здесь так трудно сорвать аплодисменты.

Идет спектакль… Без аншлага, без множества репетиций, без единой фальшивой маски… Неузнаваемые актеры разовых ролей небрежно ходят по сцене, спотыкаются, смеются и плачут на новой своей премьере. Сегодня не капает дождь, и здесь забит до отказа зал. Костлявые, исписанные ножами ложи, — деревянные скамейки и лавки, — ютятся по окраинам сцены. У согнутых их ног выставлены в ряды зеленые пивные бутылки. Из-за кулис — из темных подворотен дворов — плывут задушевные пьяные песни…

Мы стащили друг к другу три лавки, но все равно не хватает мест. У нас кончилось спиртное, и мы не знаем, как проводить вечер теперь. Невдалеке — нам слышно каждое слово — двое из нас покоряют девичьи сердца. Это Гранит и Щерба — бравый неугомонный десант. Они пьяны, легки на язык и еще не сняли тельняшек. Приняв их пример, мы с Сергеем отходим от группы и сами пускаемся в путь.

Аллея тесна от одержимых влюбленных, потомственных шарлатанов и бездомных бродяг. Но мы не принадлежим ни к одной касте. Наши сердца пусты, мы презираем обман и, дай Бог, наша казарма простоит еще сотню лет. «Вон те, в белом…» — говорит друг и тянет к самому фонарю. «Нет, — успеваю повернуть я назад, — Ноги кривые».

Проходит несколько минут. Мы уже прекратили поиск и

легко говорим о чем-то с двумя подругами. Еще какое-то время и каждый уносит с собой домашние их телефоны. Но это уже лишнее. Это награда, которая тут же обесценивается, попав в карман. Потому что мы придем сюда завтра и возьмем у новых девушек новые телефоны и адреса. И так будет всегда. Ведь мы молоды, ведь на нас военная форма. А по этим номерам нам не звонить. Завтра мы без сожаления сомнем и выбросим их.

Знать бы тогда нам, Сережа, что мы выбрасываем… Знать бы, что не навсегда наша молодость, не навсегда военная наша форма… Собрать бы их заново, истлевшие эти записки, начерканные дрожащей рукой цифры и имена…

Быть может оттого, что не сложилась моя судьба, я до сих пор помню одну: милую и скромную, что так не похожа была на бойкую свою подругу, с которой знакомился ты. Ту девушку, перед которой бледнела Нежность. Я позвонил ей на следующий день, назначил встречу и не пришел… Я впервые посчитал себя недостойным такой чистой души…

Мы возвращаемся к оставленным друзьям. Здесь снова людно и весело. Здесь только что нашли деньги и всё пустили на пиво.

— Невесты-то где? — кто-то полушутя спрашивает нас.

— Мы хоть и без формы, а к нам, вон, — показывает на соседнюю лавку другой, — сами подходили… — И задумчиво качает головой. — Вот страху-то было…

Нам протягивают бутылку, одну на двоих. Подносящий улыбается и стряхивает под ноги полный крови кулак. Он долго сворачивал пробки, пока не снял с ладони мозоль.

— Заткни вот. Небось, без заразы, — суют ему пачку содранной листвы.

…Кончается вечер. Уже холодеет воздух и подходит к концу бездарная наша премьера. Мы вновь спустили все до гроша, вновь прозевали в казарме отбой. Мы бежим огромной толпой и, как всегда, отстает Гранит. «Девушка! — кричит он кому-то во тьме. — Ваш телефон?» — слышим мы и теряем его из вида. И все поворачивают назад. Мы можем, но не хотим, заходить без кого-то на КПП. А Гранит всё удаляется в город… И ни кому не придет в голову крикнуть: «Куда? Ты же подставляешь всех!» Хотя это так явно.

Мы вновь опоздали, нас вновь задержал у казармы патруль — тщедушные институтские парни, ни разу не бривши щек. Мы бы смели их одной рукой, но это не Армия. «Еще успеете показать свою дурь. Идите, спите», — отправляет нас в койки скупой на язык офицер. И мы уже знаем, с чего начнется завтрашний день.

— Кто пил вчера — два шага вперед! — командует утром щуплый майор.

Пили практически все. Но выходят лишь самые честные — не больше пяти человек.

— Я устал, ребята… — говорит командир. — Когда-нибудь доложат не мне, а прямиком генералу… Вас не оставят здесь…

И мы не знаем, куда пропасть от стыда…

Мы будем раскаиваться весь день, будем работать, будем искать виноватых… А потом снова наступит вечер. И нас вновь не удержат ни ворота, ни замки КПП. И мы снова вернемся туда, на центральный проспект Барнаула, в свой старый театр без крыши и стен. В театр, где раньше свободен был вход, где был не нужен кассир. В театр, куда ни за какие деньги теперь не купишь билет…

Ребята, да не забыли ли вы? Да не выкорчевали ли нашу аллею за давностью лет? Помните ли, вы, себя? Тот август 2001-го, что собирал наше братство? Тот час, как начинали гореть фонари. И фонарей тех было больше, чем звезд! И всякий камень был мягче, чем наш союз!

Как мы были дружны тогда, как честны между собой, как думали, что продлиться это всегда!

А потом пришли курсанты. И мы стали командирами отделений, групп, замкомвзводами. И разбились на кучки, на стайки, обвешали друг друга наветами, разругались, расплевались, и продали прошлую дружбу.

Сергей, чем я отплатил за твою преданность? А чем испокон веков платит бездушный? Одной лишь неблагодарностью. Черной, как моя фамилия. Прошло два месяца, и я, командир отделения, пришел к тебе, командиру группы, лишь за одним: «Отдай группу. Отдай, слышишь?..»

…Мне кажется, ты уступил от обиды. Уступил потому, что остался один. Твою дружбу, бесценную твою дружбу, сдали за ничтожно малую цену — всего лишь за право первым подавать команду в строю. Тебя, прошедшего ад на земле, променяли на тех, кто ни разу не спускался в окоп. И променял тот, перед кем ты вчера нараспашку открывал свою душу. Это от него ты услышал: «Отдай!»

И ты уступил, ты отдал мне группу.

Все верно. Чем было еще дорожить, если тебя предал друг?..

Мы поменялись ролями и больше уже никогда не садились рядом, не смеялись вместе, ни собирались на один адрес в свой выходной. Но нет, садились, смеялись, собирались, но лишь по службе, по надобности, без прежней радости и простоты.

Но мне было все равно. Я видел, как ты молчишь, как надолго куда-то уходишь и, как нескоро возвращаешься обратно всё в том же своем одиночестве. Но твое горе не стало моим. Я был так

занят… Я собирал в ежовые рукавицы твою группу. Я торжествовал от своей победы.

Но однажды ты оставил в классе, забыв второпях на парте, свой личный блокнот. А я не удержался, чтобы его не открыть. И увидел только её, единственную запись на сотню страниц, — надсадный крик человечьей души: «Андрюха! Где ты сейчас? Где же ты, друг?! Ты помнишь, как всегда помогал мне? Как вытаскивал меня в Чечне… Как просто было тогда и, как тяжело мне сейчас…»

И лишь тогда понял, что произошло. В простых, в неумелых этих строках я, наконец-то, увидел, столько боли, столько обиды оставила тебе наша дружба! Какую тяжелую рану носит твоя душа! И впервые почувствовал себя подлецом. Но так и не пришел извиниться, так и не захотел ничего менять. Ведь для этого нужна была совесть. А я так давно ее потерял.

…Мы — горстка сержантов-чеченцев — вдруг помешались на власти. Она затмила и дружбу, и совесть, и правду. Никто, кроме меня, моего замкомвзвода Степы, еще пары сержантов, не умел, как надо, командовать, не имел права учить курсанта. И вчерашние наши товарищи, кто либеральничал, не был решителен, кто не желал власти, уже не могли ждать от нас пощады. Мы стали смеяться над одними и начали презирать других. Да, Сергей, мне стал не нужен такой командир. Ты редко использовал власть, а мне ее хотелось, как воздух. Ты, сам рядовой, где-то по-солдатски жалел курсанта, а я не мог на это смотреть. Ты приводил его с зарядки, а меня бесило, что он не валится с ног. Ты давал ему свободную минуту, а я еще не слышал «Отбой». И вот у меня не хватило терпения. И я наплевал на дружбу, и черной неблагодарностью расплатился по всем счетам.

Я преуспел. Мы — свихнувшиеся на власти сержанты — за какие-то дни задавили все курсантские демократии и установили свои единоличные диктатуры. Моя 211-я группа стала тем местным дисбатом, куда со всего курса отсылали на исправление самых зарвавшихся бойцов.

Да, мы были глухи к курсантскому горю. Мы радовались, когда курсант задыхался от нагрузок, брезгливо отворачивались, когда он плакал, смеялись, когда он просился домой, и ненавидели его, если он опаздывал в строй. Нас не трогали никакие разумные доводы о семинарах, зачетах, экзаменах, об усталости и недосыпе. Мы были строги и беспощадны. Мы были тупы и упрямы. Мы тормозили учебу и не видели прок в подчиненном, если он сбивает на марше шаг, не знает доклада, не разбирает званий. «Да мне без разницы, сколько у вас двоек!

Мы плохо ходим в строю и будем здесь до ночи!» — не раз кричал я на группу.

Наверно, нас нужно было гнать поганой метлой. И вообще не подпускать к дверям Института. «Послал же Бог командиров!», «Тупые деревянные армейцы!», «Палаты дурдома плачут по ним!» — шепотом за нашими спинами скулили курсанты…Да, всё это правильно. Да, мы всегда перегибали палку. Всегда не давали дышать. Но почему-то мне не дает покоя одно. Почему-то именно мы, «тупые деревянные армейцы», оставались в милиции. Не уходили, не бежали, не прятались от неблагодарной ее работы. Не увольнялись пачками, как это случалось через год и два после каждого выпуска. Почему? Потому что за нами была Армия — суровая школа жизни. А у них не было ничего. Их послали сюда родители, а мы пришли сами. Они ждали в милиции теплых мест, ждали романтики, а, хлебнув первого лиха, не устояли на ватных ногах. А кто из нас, воевавших, ждал здесь теплых мест? Мы когда-то поднимались к облакам и ложились на снег, мы так давно были на «ты» с любой суровой погодой. Нас нельзя было купить дешевой романтикой службы. Мы знали, как выглядит лихо, и умели разговаривать с ним. И вот они покидали милицию, а мы оставались. А, если и уходили, то только последними.

…Сергей, если бы мне заново прийти в Институт. Что бы я сделал тогда? Неужели бы поступил иначе?

Да! Я понял это через несколько лет после милиции. Понял, насколько дешево тогда купила меня власть, — всего лишь за право первым подавать команду в строю. Я понял, что пока продается за власть, за деньги душа, не бывать на белом свете никакой дружбе. И не надо обирать землю, чтобы купить предательство. Потому что во все времена это было самое дешевое дело — продать своего ближнего. И цена эта редко была больше, чем «тридцать серебренников». Какое там?!. Всего лишь право первым подавать команду в строю…

Да, Сергей, я понял теперь, как дорого стоит дружба. Я думал, ты был плохой командир, а оказалось, у тебя был никудышный друг. Я думал, мы будем вместе два года, а предал тебя через два месяца. Я так рвался к власти, так хотел оставить в Институте свой след!.. Я был так решителен, дерзок и смел!.. Я думал: «Кто, как не я!», «Где, как не здесь!», «Когда, как не сейчас!» Но жизнь остудила мой пыл. Они оказались никому не нужны, все мои рвения и труды. Как и не было памяти о моих заслугах, когда ко мне приходила беда. Я когда-то выбивался из сил, а оказалось, что это никому не было нужно. Я получил от тебя целую группу, но не отыскал в ней ни одного друга…

Когда свершится божественный суд, когда и надо мной полыхнет небо, я знаю, за что придется держать ответ. За то, что я всегда презирал и ненавидел в других. За то, что когда-то совершил сам.

И все-таки не для того, чтобы мне было легче в объятьях Иуды, не для того, чтобы смягчить приговор, я бы хотел до своей смерти увидеть тебя, Сергей. Хотел бы, чтобы нас снова свела судьба. Не там, не на теплых аллеях Барнаула, не среди вековых тополей. Я жду, когда разразиться война! И тогда я, а не ты, буду первый, кто из нашего окопа прыгнет в атаку.

…Я просто не знаю, как по другому искупить вину.

Любовь моя — Кавказ!

Март 2003 года.
Алтай.

Мне кажется, я действительно сошел с ума. Я позабыл минуту, час и день, когда бы не вспоминал о Кавказе. Теперь он был вечно рядом и приковывал все мои мысли. Теперь меня не интересовал Институт, пьянки и девушки. И все, кто меня окружал, давно знали, что я одержим только одним — возвращением на ту страшную землю. Я мог с любым говорить об этом часами, но ненавидел, если кто-то мне возражал. Если кто-то пытался меня вразумить, предостеречь от бредового этого шага. «Зачем ты поедешь? Что же там делать?» — спрашивали меня. «А ты не лезь в мою жизнь! Я дело себе найду!» — закипал я на такие вопросы.

Эти два года меня все время отвлекала учеба, друзья, власть. И я стал уже забывать, зачем пришел в Институт. Но вот, наконец, прояснилось сознание. Наконец-то, я вспомнил всё! Вспомнил, что не время праздно стоять с оружием здесь, когда его так не хватает там! Там, где бьются наши ребята и каждая рука на счету! Там, где каждый ружейный выстрел родит сирот!

…Я вспомнил, зачем подался в милицию. Мне нужно найти дорогу обратно. У меня больше нет сил, сопротивляться Кавказу.

Кавказ! Как тоскую я по тебе! Как переживаю, что жизнь однажды закроет врата в твое мрачное царство. Царство голубого бездонного неба и идущих под ним похорон. Мне бы снова туда! Мне бы еще раз захлебнуться воздухом горных вершин! Еще раз поскользнуться на отвесной тропе, еще раз услышать надрывное это «Держи!!!..», и поймать протянутый автомат. Мне бы опять попасть в зимний буран и, наконец, сменить старую кожу на

обмороженных пальцах. Мне бы услышать, как стучит пулемет, и снова рвануться ему навстречу. Выйти на бессменный ночной пост, чтоб вновь возненавидеть Чечню…

Люди, знали ли вы такие чувства?!. Сходили ли так с ума?!.

Любовь моя — Кавказ!

Люблю Кавказ! Люблю сильнее.
Чем дальше он, тем мне родней.
Люблю места, где поседели
Его вершины в горе дней.
Сиянье их и многоцветье
Под жарким небом голубым,
Снегов искристых многолетье
И даль влекущую долин.
Люблю Кавказ я! Дни былые,
Где память юности светла,
Тех дней походы боевые,
Ночей бессонных чернота.
Тоскливых будней хороводы,
Дороги полные беды
Зовут к себе сквозь эти годы
И не стирают их следы.
Любовь моя в объятьях смерти
Там ярко дышит и живёт,
И строчка нежная в конверте
Вновь болью сердце шевельнёт.
«Привет с Кавказа!» Как и прежде
Живые письма не дают
Порвать нить тонкую надежды,
Что так зовет в обратный путь.
В кошмарных снах люблю всё больше
Кровавый пот и грязь боёв,
Буран кавказской горной ночи,
Что у палатки стропы рвёт.
Его вершины золотые
В последних отблесках зари
И ярких звёзд огни ночные,
Что в небе смуглом рождены.
В пейзажах красочных рассветы,
Что расплавляют мрак ночной.
Люблю Кавказ я безответно
В его строптивости живой.

Непостижимый и дремучий,
В сплетенье нервов и интриг,
Я гордый нрав его научен
С особой тонкостью любить.
Давно снедаемый тоскою,
В своей душе я дал обет,
Какой бы ни было ценою
Вернуться в мир военных лет.
Вернуться в мир, где долг мой с честью
Оставлен в хрониках побед,
Где нет корысти, лжи и лести,
И где за трусость есть ответ.
Там свят приказ, присяге верность,
И малодушья ни на грош,
Там наших чувств святую честность
С войной уже не разорвешь.
Моя печаль и боль, и радость,
Моей души и сердца стон
До капли отданы Кавказу,
Как кровь, не смытая с погон.
Не потому ль ещё сильнее,
Что столько дел осталось там,
Мне с каждым годом всё роднее
Кривых хребтов могучий стан.
Дождей потоки ледяные
И зной, палящий летний зной,
И звёзд созвездия ночные,
И ветер с сыростью морской.
Моей любви своей любовью
Кавказ не хочет отвечать.
Он равнодушием холодным
Её не в силах обласкать.
Любовь моя к земле кавказской,
Где светел призрак лучших лет,
Летит сквозь грозы и ненастья,
Как сердца пламенный привет.

А еще помню Кавказ, потому что там была смерть. Смерть, с которой всегда следовал страх. Они приходили вместе и вместе душили надежду, вместе забирали друзей. И если кто-то из нас поддавался страху, начинал суетиться, озираться и торопиться, мы уже знали, что предрешен его срок. И редко в ком ошибались. Почему-то все, кто боялся, всегда умирали раньше других.

Нет, мы не были сверхчеловеками и, не переставали бояться сами. Но там, в Чечне, мы впервые узнали, что существует оружие против страха. Оружие, которое помогло нам сломить Золотую Орду, Наполеона и Гитлера. И имя ему — Ненависть!

Кавказ! Ты научил меня ненавидеть! Научил ненавидеть и ближнего, и дальнего, и даже самого себя. Никто не смог дать мне этого, кроме Чечни. Я помню, как крепла, росла моя ненависть у трупов своих. И, как сменяла ее радость, у трупов чужих. Настоящая человеческая радость. Та, которую я никогда не ведал в миру.

О! Ненависть!.. Однажды нас собрал командир: «Ребята, два ордена на взвод… Кого награждать будем?» Нас словно сбили с ног. А разве мы заслужили?.. Зачем они нам?.. И каждый предлагал кого-то, но не себя. И многие, если им выпадал жребий, только виновато опускали глаза: «Да я и не убил никого…» И даже те, кто убил, не хотели славы: «Я ведь не для наград… Их же давить всех надо!!!» Мы час не могли решить, кому дать ордена. Но, наконец, присудили тем, кто не сидел рядом и не мог отказаться: механику-водителю взводного БМП, что почаще других плавал в разбитом своем корыте по грязевым болотах Чечни. Он и тогда которые сутки не вылезал из засад. Второй орден ушел гранатометчику, что попал на мину и, легко раненый, был отправлен в Моздок.

А мы, кто делил ордена, думали только одно: «Найти бы то поле, где можно встать против чеченцев и посчитаться за все обиды! Всех бы по гробам разложили!..Сами бы все награды отдали!» Ведь какое-то время, мы были в плену только у одного чувства — ненависти. И, если бы тогда каждый день нас ставили перед выбором: идти против банды или ехать домой, клянусь, у нас бы отвалился язык заикнуться про дом.

Какие товарищи окружали меня!.. Если бы вы знали, что за мальчики! Мальчики из тихих наших дворов, из разбитых тесных песочниц, с детских засиженных каруселей. Мальчики, что едва оставили классы и парты. Наивные школяры, так легко и беспечно подавшиеся на фронт. Воины! Настоящие воины! Не отступавшие без приказа, не дававшиеся живыми в руки врага…

…Они так и не пригодились им, белые рубашки выпускных вечеров. Одних положили в могилу при всем военном параде, в беретах и камуфляжах, другие просто возмужали и раздались в плечах.

Когда-то давно, еще до первой своей войны, я всегда делил русских и чеченцев лишь на «своих» и «чужих». Я думал, что нет такого чеченца, чтобы не мечтал завладеть моим домом, не мечтал бы пустить мою кровь. А потому и сам много раз в своих

мыслях выводил на расстрел весь чеченский народ. Это было так легко — быть безжалостным к тем, кого никогда не знал. Но прошли долгие беспощадные годы… И много отняли у меня, и много мне дали взамен. И много перевалов я перевалил, и много вод перебродил с этих пор. И много раз переделил заново и «своих» и «чужих».

…Это было в самом конце зимы. На третьи сутки своего рейда мы вошли в небольшой чеченский поселок. Разведка, которая была здесь до нас, уже доложила, что мужчины ушли и, видимо, теперь не миновать нам засады. Мы торопились дальше и, наплевав на зачистку, сели на перекур в каком-то дворе; вся группа — десяток разозленных окоченевших бойцов. Никто даже не пошел в дом, все попадали у забора, у разбитой поленницы дров. И в этот миг на крыльцо вышла хозяйка — высокая чеченка с двумя грудными младенцами на руках. Вышла к мужу, а встретила нас. Вышла к мужу, а увидела, как у нее на дворе бросают оружие и мотают портянки враги…У нее отказали ноги. Она так и осталась стоять на крыльце, со страшными большими глазами. Потому что увидела, что мы поняли всё!

Когда я шагнул на крыльцо, — клянусь! — никогда в моей жизни страх не показывал так близко свое лицо. Не тот страх, к которому я привык. Не человеческий страх перед смертью. Нет… А нечеловеческий страх матери за детей.

Я шел что-то спросить, а не смог вымолвить и слова. И не смог шагнуть выше первой ступени.

Уходя с этого двора, я знал, что никогда в жизни не подниму руку на женщину.

…А тот чеченец, сорокалетний мужик, которому еще бы воевать да воевать, мстить да мстить? Зачем он пришел к нам? Но ведь пришел. Принес два автомата: «Сыновья у меня погибли, не удержал. Другие растут. Заберите оружие…» Еще один принес орехи и молоко: «Берите, ребята. Один живу, часто и угостить некого. И я раньше в Советской Армии служил…»

…А как однажды с нескольких дворов бежали к нашей колонне дети. Как они встали на обочину и дружно махали нам крохотными ладошками. Маленькие ребятишки в заношенных советских пальто. А мы сидели на броне и не могли поднять рук. Потому что каждый думал: «А что скажут товарищи? Кому ты там машешь?!» Сидели и озирались друг на друга, пока на нас не закричал водитель: «Вы что?! Это же дети!»

С какой радостью мы махали в ответ!.. Пристыженные, что сначала не подняли рук, счастливые, что эти дети смогли отнять у нас ненависть.

…Ну что?! Всех истребить?!

Слать туда солдата за солдатом, пока не обезлюдеет Россия? Пока не покроется пеплом Чечня?..

Да, шагайте вы к дьяволу, все безумные идеологи этой войны!!! Все, кто решил свести на ножах всех русских и всех чеченцев! Кто решил обратить нас в зверей и воскресить жестокие прежние распри!

Вы ждали, что от крови у нас помутится рассудок, а она отрезвила нас. Ждали, что от нее протухнут желудки, а она не сделалась нашей пищей. Мы сполна насмотрелись на гадкое это блюдо и давно не ждем его на столе…Думали обратить нас в зверей, а мы сумели остаться людьми!!! Нам не нужны жизни чеченцев! Как — я верю в это! — чеченцам не нужны жизни русских.

…А, может, правда, всех истребить? Ту женщину с безымянного чеченского двора, чей муж отправился в банду, — за мужа; того чеченца, сдавшего два, стрелявших в нас автомата, — за сыновей; другого, бывшего солдата Советской Армии, — просто за нацию; тех маленьких детей в заношенных советских пальто, радостно махавших нам с грязной обочины, — за отцов… Истребить всех, чтоб и некому было рассказать про нашу жестокость. Сжечь все книги, стереть все песни об этой войне, свалить все памятники, разровнять все могилы… Да только что станет с нами, русскими? Как мы расскажем другим народам, что мы сотворили с Чечней? Да, ладно, другим народам. Как сами будем после этого жить? Немцев и тех было жаль. И там-то не убивали детей и женщин, и там-то не отправляли в «душегубки» их пленных мужчин. А ведь и жестокости, и ненависти было, что не соберут в себе и десять чеченских.

Кто-нибудь еще помнит, кто стоит в Трептов-парке Берлина? Кто-нибудь знает, как его зовут? Безымянный русский солдат с немецкой девочкой на руках — простой рабочий с Кузбасса гвардии сержант Николай Масалов, совершивший свой подвиг 26 апреля 1945 года. А с кого ваяли тот памятник, еще не забыли? Такой же рабочий с Тамбова гвардии сержант Иван Одарченко. Земляк, а может и дед, моего Тамбовского волка, заступившего бандиту дорогу в рай. Какие схожие судьбы!.. Сколько им было, этим сержантам, когда они били фашистов, не равняя с ними детей? Столько же, сколько и нам, когда мы громили ваххабитов, не трогая их семей. Двадцать два одному и восемнадцать другому.

Немцы их помнят, а мы позабыли…

…Да, я давно все пересмотрел. Я давно не вывожу в своих мыслях на расстрел весь чеченский народ. Я, наконец-то, смог развести и «своих», и «чужих».

Отошел в сторону чеченский народ. «Свои» остались «своими». А жизнь дала мне сполна разглядеть «чужих». Вон они — длиннобородые миссии, алчущие рая под сенью сабель. Спятившие пророки, помутившие разум у тысяч других. Свирепые разорители беззащитных дворов, беспощадные судьи, не знающие других приговоров, как смерть. Бешеное зверье, что при всех режимах и во все времена нужно лишь убивать! Убивать каждого первого! Убивать до последнего, никого не оставив в живых!.. И для этого мы возвра́щаемся. Приходим, осатаневшие от ненависти, сами похо́жие на зверей. Возвращаемся, чтобы самим вершить правый суд. И, как тогда, «С нами Бог!»

Вы, родящие горе! Хотевшие превратить нашу Россию в печальный дом рабства! Мечтавшие о бандитском своем Халифате на нашем Кавказе. Собиравшиеся уничтожить имена наций, стереть границы, забросить всякое ремесло, кроме войны… Вы, думали, в наших сердцах не хватит жестокости? Не хватит ненависти и злобы, управиться с вами? Думали, русские будут терпеть бесконечно?

Да, вы думали, русские будут терпеть бесконечно…

Эх, русские, русские!.. Почему мы всегда ждем, когда нас кто-то ударит? Почему никогда не бьем первыми?

Где же мы были, когда топтали наш флаг, когда на наших улицах строились первые бандитские батальоны? Где были позже, когда уже начали стрелять, отбирать наше имущество, плевать нам в лицо? Где?.. Да, там же и были. Сами все видели, сами все слышали. И всё продолжали терпеть. Потому что, русские…

Нас предали там, в Москве, и мы потеряли Чечню. Мы потеряли свой Грозный, свои богатые казачьи станицы, политые потом и кровью земли своих отцов. Там больше не звучит русская речь, не скачут по равнинам Терека большие русские табуны. Там больше некому держать наши флаги, кроме наших солдат. Но скоро и те состарятся и уйдут оттуда. И случится то, о чем так радели когда-то все дудаевы, масхадовы, яндарбиевы. И станет Чечня поистине чеченской республикой. И все позабудут, кто основал Грозный, кто распахал и засеял поля Червленной, Асиновской, Наурской, Шелковской, чьи неухоженные кресты гниют теперь в черной земле степей…

Но пока нас там еще держит ненависть. Но пока мы еще не за все посчитались с «чужими». С теми, кто, помнится, хотел с нами войны. Помнится, похвалялся поставить нас на колени. С теми, кто припомнил вековое забытое прошлое, и воскресил давнюю кровную месть.

Что? Хотели с нами войны?.. На те! Возьмите, если сможете унести! Что? Много?.. Что, у самих подламываются колена?

Уходит из-под ног земля?.. Ну, это по-русски, от всей души! Мы редко мелочимся в великих делах. Возродили кровную месть?.. Что ж, и у нас найдется, за что отомстить. Наши павшие, замученные товарищи дали нам право!.. Вот вам кровная месть — и первая, и вторая чеченская! Всем!!! За всех наших униженных, забитых, застреленных! За всех наших солдат, искалеченных при жизни, сожженных заживо на кострах, распятых на крестах и столбах, потерявших свои головы под топорами басаевских и хаттабовских палачей! За горькие мужские слезы растерянных их отцов, за бабий надрывный вой обезумевших их матерей! За затопленные детской кровью больницы Будденовска и Кизляра! За то, что который год мы ничего не ждем от завтра, кроме беды, разлук, похорон. За то, что разделили себя на друзей и врагов. За то, что не стало в России такой семьи, куда бы хоть раз не входила Чечня. Входила потрясением с соседнего двора, куда вчера вернулся из многолетнего рабства чей-то отец. Входила горем с соседней улицы, где сегодня схоронили мальчишку, что полгода назад толкал эту дверь. Входила страхом за подрастающих собственных сыновей…

Довольно об этом?.. Нет!!!

Захлебнись ты кровью, Чечня! Загноись от неприбранных трупов, задохнись от дымных завес!

Потому что не измерить то зло, что ты принесла. Потому что этому не бывает прощения. Потому что мы еще не сполна отомстили за всех… За тех, кому отрезали ноги и руки в полевых лазаретах Грозного и Ханкалы, кто получил свои награды бинтами, колясками и протезами. За тех, кто не вышел живым из Норд-Оста. За тех, на чьи головы рухнули стены собственных домов в Каспийске, Москве, Волгодонске. За их белые безжизненные лица… А наши беженцы!!! Беженцы на дорогах собственной Родины! Эти тысячные колонны оборванных, грязных людей. Униженных, запуганных и ограбленных, потерявших свой дом, схоронивших тайком в огородах своих родных… Как они ждали нас в черный свой день!!! Как верили, что мы придем! И как мы спешили туда, да не пускала Москва… И все-таки мы пришли! Но как поздно это случилось! Как опоздали мы со своей помощью!.. Со слезами на глазах нас просили, умоляли только об одном — отомстить! И мы клялись отомстить. В тот день, взяв в руки оружие, мы тоже шли убивать.

Эй!!!.. Кто там хотел с нами войны?.. Вы, еще слышите?.. Еще не отдали душу?..

Вы, кому еще не сбили голову, посмотрите вокруг! Все ваши дома разбиты, все ваши семьи обречены на скитания, нищету и болезни, вся ваша земля покрылась пожарами и могилами. Вон

куда завела кровная месть! Об этом ли вы мечтали, однажды продавшись джихаду?.. Этого ли ждали от завтра?..

…Когда еще кончится эта война? Когда остановиться этот волчий гон?

Когда-то и я ждал наступления мира. Потому что уставал, недосыпал, недоедал, боялся. Потому что мне было жаль и мать, и отца, и сестру. Потому что я хотел вернуться домой… А вот теперь мне никого не жаль. Теперь мне ничего не нужно, кроме Чечни. И мне уже все равно, какую цену за возвращение придется платить. Пусть даже и смерть…Я просто не могу без этого. Я молю Бога, продлить это ад.

Пускай не гаснут пожары и не ржавеют снаряды. Пусть всемогущий Рок во всей жестокости сохранит для меня вторую чеченскую. Пусть туда не поторопится Мир.

Я хочу заново всё повторить. Ведь я, действительно, повредился в уме.

Почему не пришел командир

Сегодняшний день:

Эта история началась в августе 2002-го и, видимо, не окончилась даже теперь.

Как мы нашли друг друга, не вспомнить за давностью лет. Толи я позвонил по телефону в записной книжке, толи мы случайно столкнулись на улице. Да это уже не важно. Главное, что мы вновь стояли против друг друга: командир взвода и его командир отделения. Что оба искренне радовались этой минуте. И не смогли разойтись без русских ста грамм.

Мы сели в кафе, бывший сержант и бывший старлей одного батальона. Кто из нас знал, что вот так, за одним столом еще раз сведет нас судьба? Без погон, не в наряде, без прежнего «вы». Мы сели и поначалу даже не знали, что рассказать, чем похвастаться и удивить. Ведь прошло только два года, а про то, что случилось, хватило бы историй на целую жизнь. Получил капитанские звезды, успел встретить несколько призывов, сменить несколько должностей и уйти из Армии командир. Столько бед и побед не миновали мой путь. А оказалось, нам не о чем говорить, кроме общего прошлого. Кроме того, что у обоих начиналось с одинаковой фразы: «А помнишь, как?..»

…А помнишь, командир, как я оставил вокзал? Как подвел тебя, как разменял на стакан твое доверие и потерял лицо. Я просто напился тогда, бросил патрульного, и отправился в город по девкам и кабакам. Загулял и не поторопился в часть. А там все

думали только одно: это дезертирство, это побег. И не на часть, не на взвод, а лишь на тебя ложилось черное пятно этого позора. Кого же ты воспитал?!..Я вернулся, и отстоял несколько бессменных нарядов, недоспал несколько долгих ночей. И все говорили: «Вот! Попил, наконец-то! Бросай свои лычки, сержант! Шей чистый погон!» И я уже думал стать рядовым. А что сказал ты? «Пройдет. Забудется. С комбатом поговорю». И, действительно, прошло, забылось, остыл и не тронул меня комбат. А я так и не понял тогда, как это можно было простить.

Стыдно ли мне? Да, даже теперь стыдно перед тобой. И поэтому я молчу об этой истории. И точно знаю, что, помня её, ты никогда не помянешь прошлого. Потому что остался Человеком! Потому что никогда не предавал свого имени. Которое звучит, как и прежде, Евгений — «благородный» в греческом языке.

…Я хлебал пиво и рассказывал то, чего не знал командир. О том, что уже женился и успел кого-то родить старый ефрейтор Архип. Что изменил своему прошлому и давно снят с наркологического учета почетный гражданин забегаловок рядовой Граф. Что на двадцать первом году жизни ступил в гроб бессменный повар нашего взвода рядовой Яма. Что совсем разболелся войной, и через каждые три месяца мотается в Чечню тихий и скромный ефрейтор Полежай. Что таким, как и прежде, таким же коварным, как змеиное сердце, остался наш замкомвзвод старший сержант Василек. Что потерялся, как сгинул из жизни, внештатный наш вышибала добрый и справедливый рядовой Репа… Что кончился наш четвертый патрульный взвод. Разошелся по всей земле и забыл дорогу в свой дом — серую безрадостную казарму, где нас навсегда оставило детство.

— Я же стих написал… — совсем разволновавшись о прошлом, уставил я в стол пьяный свой взгляд. — Про часть нашу, про всех…

Милицейскому батальону В/Ч 5428 г. Барнаула

Ещё одна смена ушла на войну.
Менбат опустел. Никого на плацу.
Оставила тумба в покое солдат.
Везут в эшелонах на запад ребят.
Никто над Уставом давно не сидит.
Ржавеют кровати. Казарма молчит.
Бегут чередою безрадостно дни.
Покинули город давно патрули.

Померк и вокзал, провожавший парней.
Оркестр молчит вот уже много дней.
Бездвижны ворота, замки КПП,
И некому даже сидеть на «губе».
И нет на 9 Мая ребят,
Без них начинается этот парад.
Концертных трибун оглушительный рок
Не слышит в окопах забывшийся взвод.
И город не город — обитель теней.
Опали фонтаны его площадей.
Понуро листвою шуршат тополя,
Им некого прятать теперь от дождя.
А в небе сегодня такие цвета!
Ведь теплое лето приходит сюда!..
Но глохнет в груди не раздавшийся стон.
Всё дальше на запад идёт эшелон.
Всё выше и выше, вперёд к облакам,
Уходят ребята к холодным горам.
Далёкого боя доноситься гул,
И в этих горах снится им Барнаул.
Тоскливо дожди умывают дома.
Проспектов и улиц прохладная мгла.
Но нет батальона и нету солдат,
Пустыми глазницами смотрит менбат.
Пустая курилка, дорожки и класс,
Пылятся «Кираса», ПР и «Витраж».
Последняя смена ушла на войну.
И город молчит. Одиноко ему.

— Трудно было, когда вы ушли. Ты, Репа, Лоб, Полежай… Итак служить некому, еще и война… — сознался в своей беде командир. — Долго вас вспоминал…

— Мы, когда уезжали в ту ночь, комбат портупею на Полежая одел, — зачем-то вспомнив дурное, развязал я язык. — С себя снял и одел. Уважал нас за то, что добровольно… Только зря он её отдал. Полежай продал ее первому дембелю. Кажется, за сотню всего… Мы так и не поняли, зачем. Я думал еще вернуть портупею-то, ходил к тому парню. Куда там… Пальцы веером: «Продаю за триста!» Денег у меня не было. А портупею до сих пор жалко. Не на того одели…

…Мы всё сидели с пивом и не спешили никуда уходить. Бросали в тарелку рыбьи кости и плевались в неё чешуёй. Мы — два старых солдата, пришедшие на вечер воспоминаний своего

батальона. Два выпускника серой безрадостной казармы на самом краю Барнаула.

Как-то незаметно разговор целиком перешел на меня.

— Куда пойдешь после выпуска? — задал в лоб командир.

И я даже растерялся от неуместного этого вопроса:

— …В милицию, конечно. Или, ты, про отдел?

— Да нет, — засмеялся он, — не про отдел. Слушай, — убрал он улыбку с лица, — мало ли что там в твоей милиции… Послужишь, конечно, разберешься, сам все решишь. Но на будущее: у нас в ГУИНе и платят больше, и год за полтора идет, и даже не это главное. Людей не хватает. Не служак, а Людей. В которых уверен, про которых знаешь, что не подведут… К нам приходят из милиции, бывает. Вот и ты, если что, не забудь… Найдешь меня. Послужим еще, как раньше…

Но тогда я ни на что не собирался менять милицию. Ведь ловить преступников всегда интереснее, чем их охранять. Ну, что там на зоне? Следить, смотреть, ходить за заключенными по пятам? Ну, уж нет! Мне нужно бегать, драться, стрелять. Про это я читал еще в первой своей книжке о милиции. И это мне по душе.

— Посмотрим после выпуска, — сказал я, — посмотрим, как жизнь повернет… Может послужим.

— «После выпуска…», — повторил командир. — Знаешь, — задумался он, посветлев пьяным добрым лицом, — у меня ведь тоже был выпуск. Новосибирск. 1996 год. Всего лишь каких-то шесть лет… Шесть лет назад, Артур! А помнится, будто вчера. И у меня была группа, и я был курсантом. Учился, бегал с занятий, в наряды ходил, на кухню и в караул, и дурдом весь армейский на себе испытал… Да тебе ли мне говорить? Сам всё прошел…А выпуск? А выпуск — это святое! Свобода! Праздник молодости! Первые погоны! Дорога в жизнь!.. Знаешь, какие чувства?!.. Душа плавится! Мы группой нашей собрались в последний раз… Столько лет ноль внимания друг на друга, а тут заболело…А тут стало жаль… Вижу их до сих пор, наших ребят, и плачет сердце. Достаю фото и никак не могу наглядеться… Собрались мы тогда, чувствуем: вот мы — сила! Вот мы — мужики! Да кто нас сокрушит, пока мы вместе?!. Это понять надо, прочувствовать! Такое раз в жизни бывает!..Командир группы тогда не пришел. Не знаю, почему не пришел. Да и что теперь?.. — отмахнулся старлей от загадки прошлого. — Мы-то там были…

Он говорил что-то еще, а я уже ничего не слышал. Кивал ему головой, поддакивал, но ничего не слышал. Я думал лишь об одном: почему не пришел командир?

Неужели нет границ людской надменности? Что было такого, в том командире, что он позволил себе плюнуть в лицо своей

группе? Позволил забыть, как прошли эти годы! Разве только сержантские лычки? Нет. Всего лишь пустое сердце. Сердце, в котором давно завелась гордыня, спесь, высокомерие перед ближним. Которое ничего не имело, кроме злой памяти о былом.

А я? Неужели я тоже не приду к своей группе? Неужели тоже наведу порчу на свое имя?

Нет! Я не равняю службу и дружбу, но, слава Богу, теперь научился жертвовать первой во имя второй. И остался не злобен, и не злопамятен, и не помню прежних обид.

Я не подведу свого имени. Я обязательно приду на последний наш сбор. Я был при рождении группы, буду и при ее конце.

…Из людного нашего кафе давно сбежали все мужики, а, может, их просто и не было. Что был это за день, я не помню. Вряд ли даже какой выходной. Просто еще было лето и мало кому не хотелось на воздух. Мы сидели, два молодых мужика, и уже почти не общались друг с другом. Какие-то женщины, решив испытать удачу, сдвинули вместе наши столы. Зрелые серьезные женщины. Но они были пьяны, и это уравнивало всё. Про что мы там говорили? Да точно не про погоны. Я, помню, рассказывал какой-то стих о любви. Ведь, как поэт, не мог пройти мимо свободных ушей. Рассказал один, за ним другой, спьяну сболтнул о Чечне. Болтал до тех пор, пока самая взрослая из женщин не показала на меня пальцем и восторженно заявила: «Будет мой зять! У меня такая дочь! У меня две дочери!..» Уже ушел командир (Мы встретимся через шесть лет, летом 2008-го, совсем в другом городе, при совсем иных обстоятельствах. И это будет прямое продолжение этой истории, но пока я еще не решил, рассказать ли о ней), уже у всех кончились деньги, а я все не мог подняться из-за стола; новоявленная теща все вытягивала из меня то стихи, то разные личные тайны.

До казармы в тот вечер я не дошел. Женщина, пророчившая мне в жены дочь, оказалось, не имела терпения. Мы сели в один трамвай, а на своей остановке она вывела меня вон и потащила к себе. Я шел за ней и все боялся, что произойдет примерно следующее: войдя на порог, она объявит: «Дочки! Это — ваш папа!» Но я зря сомневался в женщине. Это, действительно, была мать. Я даже не успел разуться в прихожей, как было объявлено: «Дочки! Это — ваш муж!»

Дочки и вправду могли гордиться своей красотой. Две золотоволосые бестии, что дали бы крупный барыш своему продавцу в былые времена рабства. Которая из них предназначалась мне в жены, я так и не разобрал. Мне слишком хотелось обоих. Но наше знакомство не зашло дальше, чем вечер на кухне и, еще позже, случайная встреча в городе в самом начале

осени. Мать зря готовилась к свадьбе. Она ведь не знала, кого привела в дом. Уходя поутру, я, ветреный повеса, в соседнем дворе мимоходом влюбился в высокую чернявую девчонку. И больше никогда не стучал в двери дома, где думал жениться на двух.

…И все-таки я был потрясен рассказом старлея. И все-таки он не выходил из моей головы.

Почему не пришел командир? Почему??? Разве можно про это забыть?

Мне нужен был кто-то мудрее меня, кто-то мыслящий иначе, чем я. Но кто мог быть мудрее и мыслить иначе, кроме старших по должности?

Я понял, куда пойти за ответом.

Степа, мой замкомвзвод, которому я рассказал эту историю, по своему понял, почему не пришел командир:

— На кого там смотреть?!. Ну «духов» этих?! Они тебе самому поперек горла не встали? Возимся с ними, как в детском саду, не ударить, не в нарядах сгноить! Ты что, собрался прийти на их выпускной? Смотреть, как жрут они водку? И что они будут делать, когда перепьются? Да передерутся между собой. Это сейчас мы сдерживаем их. А после ничего не останется… Да, черт с ними, если перепьются, передерутся. Пусть хоть вообще поубивают друг друга. Они тебе, что — дети родные? Да, эти сынки даже в Армию не пошли! Отсидеться решили здесь…

С кем там прощаться?!. Чем тебе отплатил Пасечник за последнее увольнение? Не забыл историю с гардиной? А ты простил ему. А зря! А за ним и Плотный туда же… И ему простишь.

Да всё верно в этой истории! Почему не пришел командир? Да, потому что нечего там делать! У них своя каста, у нас своя. И не надо мешаться друг с другом. Равенство, братство — это для дураков. Есть мы, воевавшие, и есть они, беды не имевшие. Кому из нас еще проситься за чужой стол — вот в чем вопрос!.. Не нам, Артур! Не нам за ними ходить!..

Он говорил что-то еще, а я только слушал, только молча поражался этой жестокости, этому равнодушию и правде. И под конец речи сам встал на его сторону. Сам подумал, как он: «А ведь, правда, кто они мне? Мало мне крови попили?.. Тот же Иван, Волох, Хакас… Но даже достойные, Шниперсон, Жуткий, Парик, Спецназ, и те совсем не причина, чтобы прийти… Как там правильно брякнул Степан: «духи», беды не имевшие…»

Я перестал мучиться, как мне поступить. Я понял, что мне, действительно, не за чем за кем-то ходить. И полностью согласился с «замком»:

— Значит, командир-то был прав. Что делать князьям за столом у крестьян?..

…Но прошел, пробежал на резвых ногах, этот год. И много в нем было обид, и много удач, и немало надежд. И, наконец, пробил час, о котором мы не смели мечтать. Наконец, пришло время всем сравняться в погонах, и навсегда потерять звания сержантов и рядовых.

Сорвав с плеч лычки и «кашки», в последний раз топтали мы плац Барнаульского Юридического Института. В последний раз обнимались друг с другом, вместе смеялись и даже плакали, пили шампанское и с размаху били о плац высокие пустые бокалы. И самым счастливым считался тот, чей сильней разлетится вдребезги. И ни у кого не было дня, равного этому! И никогда мы не знали столько радости, как тогда! А еще мы впервые, совсем по иному, услышали великую песню Газманова, звучавшую в тот миг с парадных трибун: «…ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры! Россияне! Пусть свобода воссияет…» Впервые эта песня звучала для нас. Для двух сотен лейтенантов, многим из которых шел только девятнадцатый год.

Мы были так счастливы на том плацу в беспечном июле 2003 года! И никто не знал, как трудно будет теперь. Теперь, когда не будет теплых казарм, бесплатных обедов, раннего отбоя и злых командиров. Когда придется самому накрывать свой стол, искать на завтра жилье, забыть о слове «отбой». Когда ты останешься один, когда не поможет ничем командир…

…Все командиры отделений и групп остались с бывшими своими курсантами, чтобы в последний раз посидеть вместе, в последний раз вспомнить, как тяжело прошли эти два года. А мы, сержанты 211-й, остались верны прошлогодней правде, и отдельно от своей группы заказали кафе. Мы ведь еще год назад разобрались, что нам не за чем за кем-то ходить.

Я пришел самый первый в это кафе, когда еще не накрыли на стол. Пришел один, раньше всех друзей и подруг. Я, было, сел у окна, но не смог просидеть и минуты. Меня никак не отпускал Институт. Я, командир, не знал, что сейчас происходит в группе. Мне всегда так хотелось от нее отдохнуть, а сейчас я не находил себе места. Я переживал, вспоминал нашу службу, и не знал, что делать теперь…

Я никого не дождался. Я не совладал с чувствами и оставил кафе.

…Они уже разливали по кругу водку и совсем не смотрели вокруг. Они и сами не ждали, что придет командир. А я не мог признаться, что тосковал по ним. И в последний раз предстал перед группой таким же, каким она привыкла видеть меня всегда:

спокойным, без лишних эмоций, с тяжелым армейским юмором:

— Ну что, духи поганые… Наливайте…

И впервые за все два года стоял я в кругу пьющих своих бойцов. И впервые мне было жаль этот день. Потому что… Потому что от меня навсегда уходило счастье. Потому что теперь можно было лишь махать рукой счастливому своему прошлому. Тому времени, когда за железными воротами Института меня оберегала судьба. А вот теперь впереди была Жизнь. И я знал, что ждало меня. Завтра, через месяц или год, я должен был вновь увидеть Чечню. И не было той дороги, чтобы смогла ее обойти…

Они не знали этого, мои бойцы. Не знали, зачем приходил командир. И не смогли бы поверить, что я приходил прощаться совсем.

Она была совсем коротка, последняя моя речь. И даже сейчас я могу вспомнить, что там говорил:

— Если кто-то еще помнит прошлое, и не забыл прежних обид, — можете ставить свои стаканы. Когда-то я был неправ, неправы были и вы. Ни перед кем извиняться не стану и ни от кого ничего не жду. Не держу ни на кого зла. И желаю вам только удачи! Чтоб эти звезды не были последними на ваших плечах! И еще. Теперь и вы командиры. Теперь и вы будете отдавать приказы, вершить собственный суд, изменять чью-то судьбу. Берегите своих людей! И сами останьтесь людьми! Вот, что самое важное… За вас, ребята!

— Счастливо тебе, командир!

…Когда я вернулся в кафе, за нашим столом еще пустовала одна пара мест. Но вот и их занял Степа с будущей своей женой. Он пришел самым последним, и самым радостным среди остальных. Он сел со мной рядом и даже не сразу все рассказал.

— Ты, что опоздал?

— Опоздал я… — вдруг став серьезным, поднял глаза замкомвзвод. — К группе ездил. Выпил с ними… Надо было съездить, Артур. Надо было…

Сейчас, после того, как я давно оставил систему, мне не дает покоя одно: каким он упал наземь, тот дешевый стеклянный бокал, брошенный с размаху о плац бывшим лейтенантом милиции? Разбился ли он вдребезги о бетон или лишь раскололся, что можно было собрать? Я пытаюсь вспомнить тот день, но вечно подводит память. Я хочу увидеть это во сне, но моя ночь свободна от сновидений прошлого.

Зачем это мне? Мне нужно знать, был ли я счастлив в милиции? «Это же бред!» — говорю я себе, и сам же поминаю о правде, — «А разве надо мной когда-то был властен разум?»

Так разлетелся ли он в стекло, рублевый фетиш моей судьбы? Гостило ли когда-то в моем доме счастье? Или же этот бокал рухнул, едва отшибив у стенок края? И все эти годы был я женат на беде…

Мне б хоть на час вернутся в милицию. Хоть на час открыть двери своего дома, где так давно не гостило счастье, куда позабыла дорогу беда. Где много лет некому жить, кроме тоски.

Вальс золотых погон

Октябрь 2003 года.
Алтай.

…Я ждал войны, как воскресения из мертвых.

За месяц до моего выпуска Барнаул принялся вооружать новую партию добровольцев, новый сводный отряд для отправки в Чечню. Когда эта весть дошла и до нашей казармы, у меня помутило разум: если я не уеду сейчас, то никогда не уеду потом.

Но что было делать? Куда было деваться от курсантских своих погон?

В тот день я сбежал с занятий. Я так и пришел с буквами «К» на плечах, сначала в батальон «Тигры», что выставлял большую часть бойцов, затем в приемную к генералу, начальнику всей алтайском милиции. У меня была только одна просьба: «Возьмите меня туда!» И ни один среди полковников и майоров, кто видел горящие мои глаза, кто слушал безумные мои речи, не отправил меня к чертовой матери, не показал пальцем на дверь. Все поняли. Оценили. Может быть, вспомнили себя прежних. Кто-то пожал мне руку, кто-то обещал поговорить с генералом.

Но это был не Советский Союз. И курсанты армии и милиции давно уж не строились на аэродромах страны по боевой настоящей тревоге. А я спутал время и все два года учебы напрасно ждал, когда прозвучит этот сбор. Напрасно два года подряд ложился в кровать с одной лишь мечтой, что утро сменит казарму на «борт». И зря представлял, как поведу в бой свою группу.

Я думал, полетят все, а не взяли и меня одного.

…И вот собрало узлы, хлопнуло дверью и покинуло город лето. Бросило на разграбление зеленые свои дворцы, оставило на засуху голубые свои фонтаны. И разбило о землю все звезды, валившиеся с неба в теплые ночи августа.

Ушли, как не бывало, курсантские будни и жизнь повесила не отмыкаемые замки на двери наших казарм.

Эта осень словно не спешила сюда приходить. Словно, не

поверив, что ушло лето, продолжало стоять над дворами солнце. И весь сентябрь удерживали листву деревья, что начали золотеть лишь на исходе месяца. Как трогательна, как прекрасна была эта пора! И как жаль было этой осени, что ставила точку в прежней моей судьбе. Как мне не хотелось ее оставлять.

Синеглазая осень Алтая… Она была так похожа на ту довоенную осень далекого 99-го года — время дембельского моего одиночества и неясной солдатской тоски. Время, когда я еще не знал, какой из следующих дней протрубит мне сбор. Но уже чувствовал, понимал, что остался лишь миг до этой беды.

И вот теперь словно возвращалось время. Словно я вновь вернулся в тот год. И так же, как и тогда, мой сбор не требовал больше пяти минут. И также лежал в шкафу походный мой вещмешок, всегда готовый в дорогу и пустой, как и прежде. Мне нечего было в него положить. Я ничего не накопил за эти годы, а то, что имел, мог бы оставить без слез.

Конечно, никто не толкал меня в эту Чечню. И, получив работу, можно было как-то начать свою жизнь. Заняться карьерой, подумать уже о семье. Но это требовало стольких хлопот — думать о завтрашнем дне! Хлопотать по службе и строить с кем-то личное счастье. Зачем?.. Если так легко отложить всё на потом. И мой выбор был прост: Чечня превыше всего! Оказалось, что это несложно — выбирать меньшее из двух зол. Чечня не требовала никаких забот, на нее не надо было собирать денег, как на свадьбу, как на жилье и на собственный стол. Она и так всё давала: и деньги, и стол, и жилье, давала оружие, чтобы защитить себя, и с избытком патронов, чтобы иметь пулю для своего лба, когда это всё надоест. Там не нужно было рвать и метать по службе, чтобы тебя заметили и погнали с должности другого. Там для всех были свободны любые места — любые палатки, вагоны, бараки, траншеи, окопы… И в них умирали при любой должности и при любом звании. Чечня равняла всех. А здесь не проходил день, чтобы мы не делились на правых и неправых, не соперничали между собой, не переживали за будущий день.

И вот теперь я не знал никаких забот. Потому что купил свободу от завтра. Я забыл, как копить деньги и не жалел ни одну зарплату. Забыл, зачем нужны серьезные отношения и не собрался усложнять ими жизнь. Оставил все волнения и не имел планов даже на будущий час. Теперь, отписав все рапорта, пройдя все медосмотры, я просто сидел и ждал, когда по мою душу прилетит «борт». А он никак не приходил, день моего освобождения…

Говорят, нет ничего хуже, чем ждать. Когда одна за другой ползут пустые минуты и каждая дольше человеческой жизни. И

чем дальше катится время, тем все недоступнее кажется цель.

Мне бы запить, да я не научился находить утешение в водке…

В каком же безвестном небе блудит мой «борт»? И как сбить его с курса, чтоб приземлить, где он нужен больше всего?

…День занимал меня целиком и не оставлял времени думать об этом несчастье. И даже в свой выходной у меня хватало работы, чтобы не сидеть дома. Но если бы был бесконечен день!.. Если бы не было того момента, когда вновь приходилось открывать свою дверь — самый близкий к полночи час, что возвращал меня со службы домой. Возвращал пешком через сырые безлюдные дворы, мимо потухших холодных домов. Приводил в пустую мою каморку, где едва умещалась армейская железная кровать, шкаф да мелкая тумба. Где каждая ночь отнимала у меня веру в Чечню…

О, эти ночи — убийцы моих надежд! Время, когда мне хотелось рыдать, поняв, что без пользы проходит жизнь. Когда я боялся уснуть и встретить новое утро, ведущее следующий бестолковый день. День, который пройдет в трудах, в бегах, на пустой желудок, у равнодушных порогов чужих квартир. День, который я так не хотел приближать. Я всегда уставал при свете солнца, но всегда недосыпал при свете луны. Всегда находил какие-то дела, чтобы отсрочить сон. Что это были за дела, что были выше любой усталости? Да только глупые, потому что всегда о войне, мои стихи, да бездарные, потому что всегда неоконченные, мои поэмы. Я потерял свой поэтический дар и тщетно надеялся его вернуть. Огрубел мой гибкий язык, потеряла прежнюю красоту живая моя мысль, потускнел идущий от строчек свет… Я просто забыл, как сочинять. И напрасно бился каждую ночь над новым стихом. Ушла моя Муза и увела за собой самую дорогую часть бродяжьей души — Вдохновение. И я забыл, что такое Страсть.

Но остались следы. Легкие отпечатки подошв на дороге, по которой бежали от меня чувства. Бежали без оглядки на счастливую родину своего рождения. В поэтическую державу Кавказа. На подмостки горных вершин, где можно будет сыграть невероятную трагедию жизни и разжечь пожар ее невероятной страсти. Туда, где, наконец, я вновь обрету вдохновение или же призову свою гибель.

Мне нечего здесь терять. Меня оставили чувства и я почти мертв.

…И все-таки осень. Пора запоздалой любви, пора черного траура по золоту пляжных песков. Косматые туманы аллей, их сладкий дух загнившей листвы. Белые ночи бескровной луны…

Предвоенная, предгрозовая осень 2003-го… Осень моего

возвращения, осень сбывающихся моих надежд. Как хорошо, что я скоро увижу Кавказ! Потому что жизнь обманула меня во всех ожиданиях. Она ничего не дала мне из многих своих богатств: не поделилась любовью, не осыпала радостью, не показало дорогу к счастью, — ничего из того, о чем я читал в книгах, видел в кино, слышал в хмельном бреду во время задушевных пьяных бесед… А может, ничего этого нет? А может, это не больше, чем выдумка писателей, режиссеров, всего лишь дешевый блеф, обманувших меня людей? Но нет. Я чувствовал раньше. И любовь, и радость, и счастье. До той довоенной осени 99-го. И там, в Чечне, в горестном стане войны, мне почему-то казалось, что все это можно вернуть, стоит лишь забыть, как шелестят пули, как падают у твоего окопа железные болванки мин. Стоит лишь возвратиться в свой дом.

Но я ошибался. Я опоздал с возвращением. Мой дом навсегда меня потерял. Он просто ушел в тень, остался без дел, мой состарившийся учитель. Неожиданно я стал старше своего дома, своих родителей, сверстников и друзей. Стал мудрее и проще, перестал нуждаться в советах и опекунах. Когда-то мой дом готовил меня к жизни, а оказалось, что он не знал ее сам. Он все детство учил меня, как правильно играть в войну, а, вышло, что был негоден предмет. Он передал мне детский естественный страх перед гробами и кладбищами, рассказал столько историй об оживающих мертвецах, а я разобрался, что мертвое — это то единственное, чего не стоит бояться живым. Единственное, что уже неспособно причинить зло. И все эти истории об оживающих мертвецах на поверку оказались лишь сказкой. Я никого не встретил на своей дороге из тех, кто погиб. Хотя так этого ждал!..Да, мой дом навсегда меня потерял. Я обогнал его в возрасте и не нашел в нем своего места.

Мне некуда и не к чему было вернуться. Даже дом, и тот, сделался чужим для меня. Я ничего не успел узнать, увидеть в жизни до войны, а все, что увидел на ней, была смерть. Моя жизнь началась со смерти, и только с нее. И, если до войны я не знал ничего о смерти, то теперь мне не требовалось к кому-то идти, чтобы открыть эту истину. Я сам, сам отыскал ее! Я нашел смысл жизни! Это смерть и ничего больше…А разве этому учила меня школа, родители и дом? Нет. Они врали мне. Они скрывали от меня истину. Оказалось, вся моя прошлая жизнь была ложью. Как и весь мир, что меня окружал, оказался лишь негодной фальшивой декорацией… А война открыла мне правду. Она была честна со мной, она первой сказала мне, что я обязательно умру.

Весь мир обманул меня, и только Чечня поделилась истиной.

…Эта осень словно выбила из-под меня землю. Я совсем себя

потерял. И ничего не ждал от возвращения, кроме собственной смерти. Я так хотел погибнуть в Чечне. Потому что устал. Потому что подошел к пределу своего существования на этой земле. Потому что ничем, кроме смерти, не лечится больная войной душа. Потому что я давно не больше, чем тень…

Ничего не принесла, а только опустошила меня вконец, недолгая поездка домой. Я вновь увидел те улицы и парки, где впервые полюбил одиночество. Я вновь встретился со всеми своими друзьями: безнадегой, тоскою, хандрой… Последние, проведенные дома ночи, я почти не спал. У меня так болело сердце. Я чувствовал, понимал, как велика будет наша разлука.

Когда еще придется вернуться домой? Да и придется ли? Нужно ли это?..

В августе прошлого года ушел из жизни Герой России старший лейтенант Женя Остроухов, молодой ветеран первой чеченской войны. Непонятый самоубийца, сполна отходивший под Богом свой срок — двадцать шесть полных лет. И много было статей, и много пересудов по случаю последнего его выстрела. Гораздо больше, чем о его подвиге в тяжелом военном декабре 94-го. И никто не сказал главного, что же на самом деле произошло там, в Старых Атагах, на последней его зачистке. Никто не открыл правды. И только я знал, что толкнуло Женю на этот шаг. Знал по именам всех, кто загнал его в этот угол: Безнадега, Тоска да Хандра — старые спутники больной одинокой души, самые верные мои товарищи. Это они открыли мне последнюю тайну Героя.

…Я подался в участковые. Почему именно туда? Потому что это тяжело. Потому что интересно. Потому что не нужно сидеть в кабинете, ожидая, когда кончится день. Мой кабинет был огромен и не позволял сидеть. Его было не обойти и за много рабочих дней. Он вечно был полон тайн, живого дневного солнца, холодных вечерних звезд, мой каменный на голой земле кабинет, — лирический мой Барнаул. Город, полный осенних туманов, заблудшей молодости и невозможной мечты.

А еще, это такое доброе, такое теплое слово «участковый», такое значимое для каждого человека.

…Вся романтика милицейской службы слетела с меня за каких-то полмесяца. Оказалось, я просто не представлял, чем занимается наша милиция. Я думал, буду ловить бандитов, буду помогать людям, а все вышло совсем по иному. «Тебе не надо думать. Мы сами подумаем за тебя», — не раз озвучивал мне каждый начальник. И ведь думали… Я перестал существовать для самого себя. У меня отняли право на личную жизнь. Вся моя личная жизнь теперь начиналась лишь за полночь и уже

кончалась в самом начале утра. И то, если меня не брали в засады и на какие-нибудь «памятные» вечера…Я думал, буду ловить бандитов, помогать людям. Какое там!.. Вся моя работа свелась к бестолковой беготне, суете, разным бумажкам, которые я собирал в каждое дело, чуть ли не со всего белого света. У меня просто не было времени кого-то ловить, кому-то помогать, кроме самого себя. Я стал вечно не успевать. Я думал, не успеваю один, а оглядывался на всех и понимал, что нет такого милиционера, у кого бы не стояла работа. Мы погрязли в бумажках, в отписках, в никому не нужных справках, словно в болоте. А потому, за нехваткой времени, сочиняли их тут же, лишь получив материал, даже не успев отойти от стола. Все преступления в городе обрастали десятками взятых с потолка справок и объяснений, которые нужны были лишь для отчета. И это считалось у нас блестящей работой — слепить такое вот липовое дело. А мы лепили их не по одному в день.

Обычный пример. Приходит тебе материал по краже, побоям, по грабежу, по мошенничеству… И вроде как даже известно, кого надо схватить, арестовать, осудить. И надо ехать искать того человека. А тебя на очередное дурное совещание, на какое-нибудь бестолковое подведение итогов, на патрулирование улиц, на помощь другой службе, да еще в довесок кучу разных бумаг: идиотских заявлений, вроде: «…прошу привлечь к уголовной ответственности сантехников ЖЭКа, что криво поставили мне унитаз и тем обеспечили доступ зловоний из-под неплотно закрываемой крышки», сумасбродных жалоб, как«…соседи гонят по трубам отопления самогон, чем подвергают преждевременному износу всю отопительную систему» — умопомрачительных шедевров человеческой мысли, авторов которых гнать бы для начала в психушку. И вот, нахватав полные руки подобной белиберды, выйдя с распухшей головой со всех совещаний, тебе уже не до того жулика, которого ты собирался утром схватить. Чего уж там?.. Смотрите сны, преступники Барнаула! Не попались сразу — гуляйте, пока не прогуляете отнятое, украденное, награбленное. А прогуляете — дышите свободно, никто не придет за вами, не потащит за шкирку на нары. Действительно, куда мне ехать кого-то искать, если давно закатилось солнце, давно затворились все двери домов, и только я наконец-то освободился для настоящей работы. А на улице вторую неделю подряд стучит по дорогам дождь. А за пазухой у меня ничего не лежит, кроме пустого желудка. Мне нечем было обедать, потому что я третий месяц не получаю зарплаты. Где-то потерялся мой денежный аттестат. И никому нет до этого дела…А что до жулика, так я отпишусь сразу на нескольких листах. А сам

он никуда не денется от судьбы. Все мы под Богом ходим. Может, кто-нибудь и схватит его за меня.

У меня был специальный блокнот, где я хранил свои промахи по работе: обещал кому-то помочь — не помог; искал чью-то вещь — не нашел; где-то ждали меня — не пришел; собирался кого-то наказать — плюнул да позабыл… Не было дня, чтобы я не открыл этой книжки. Не для того, чтобы растравить совесть. Для новой записи о своей неудаче.

А еще был план. План, что всегда «горел» самым горючим пламенем. Всегда был невыполним и, в принципе, никому не нужен, кроме золотозвездных наших вождей: генералов, губернаторов да президентов. Может, когда-то милиция и работала на граждан, на государство, да вот мы не жили в тот день и теперь не чаем застать его до Страшного суда. Теперь вся наша работа свелась не к качеству, а к количеству. Чем больше задержанных, доставленных, посаженных, тем больше надежды победить план. И не так уж важно, насколько виноват гражданин.

Поначалу я чуть не потонул в административных протоколах. Где мне было искать каждый день четверых пьяных, одного иностранца, да мелкого хулигана? Не в любой праздник встретишь всех шестерых. Но помогли товарищи. Они открыли небольшие свои секреты, вывели меня на нужную дорогу и научили «гнать план» — немудреной своей науке, которой только и занимались несколько лет подряд. Оказалось, при правильном подходе к любимому делу, людей можно брать с потолка, давать им любые штрафы, обвинять по любой статье, не ведущей в тюрьму. И при этом, никого не задержав на самом деле, никогда не слазить с коня. Я обошел своих учителей. Если они готовились только на завтрашний день, то в моей папке лежали протокола с числами на неделю вперед. Я тоже научился работать в милиции; «гнать план».

Сложнее было с планом по преступлениям, здесь не всегда отпишешься и уж точно не запрешь за решетку мертвой души. Здесь приходилось работать по настоящему. Но мы не бежали от этой работы, мы сами ходили в рейды, сами жертвовали своими выходными. Мы понимали, что некому, кроме нас бороться с этой бедой. Другое дело, когда в приказном порядке от нас требовали раскрыть преступление любой ценой, когда лишали за это премий, каких-то денежных выплат. А мы были не волшебники, чтоб всем угодить.

…Почему так плохо думают о милиции? Куда пропало то уважение, что оставил ей Советский Союз? Куда они делись, тысячи тех, кто с детства мечтал носить милицейскую форму? Неужто наплевали на первую свою мечту?

Мы другие, не те милиционеры 80-х, не те майоры и лейтенанты, кого успел я встретить при СССР. Я вижу это по себе. У нас нет той доброты, простоты, уважения к людям. Мы жестче, злее, часто пренебрегаем людскою бедой. Откуда это? Неужели мы сами сделали себя такими? Нет, нас просто сломала система. Мы сумели потерять всё: доверие, уважение, авторитет. Сумели потерять однажды и впредь уже не старались это вернуть.

Мы ничего не делали, чтобы воскресить доброе имя милиции. Мы только носились с бумажками, без толку суетились, без пользы совещались, и ненавидели любого, кто шел к нам за помощью. Каждое утро, получая новую кипу бумаг, я думал всегда одно: «Да когда они умрут, все эти заявители?!» Не понимая, что винить нужно других, тех, кто придумал эту беду: волокиту, рутину с любой жалобой, с любым заявлением. И как обидно было порой, когда искреннее желание кому-то помочь, упиралось всё в те же бумажки, всё в то же равнодушие казенных глухих кабинетов. Это не помогало нашей работе, а лишь озлобляло всех на нее. Люди не отворачивались от нас лишь потому, что действительно больше некуда было пойти. Были такие случаи, когда потерпевший шел сначала к бандитам, к наркоманам, к дворовой шпане, а только потом к нам. И то лишь потому, что те отказали. «Ты зачем к ним ходил?» «Да ведь там больше помощи…» И часто выходило, что он оказывался прав.

А мы врали людям. Врали почти всегда. Несли всякую чушь о проделанной огромной работе, о том, что найдутся виновные, что будут нами наказаны, о том, что справиться в срок помешали другие отделы и службы… Врали, не отводя глаз. Вовсе не из мерзости своей натуры. Скорее от усталости. Мы не могли каждому все объяснить. Нас бы не поняли в двух словах, а тратиться на долгие речи, не выдержал бы язык. Работа поглощала целиком. Она забирала каждую минуту, отнимала день, воровала жизнь. Я вечно слышал только одно: «Ты будешь наказан! Ты будешь сидеть без зарплаты! Мы научим тебя работать!..» И теперь какие-то прежние мысли о карьере, о долге перед погонами, о помощи людям, — всё ушло, как дым. Теперь я ни о чем не думал, кроме, как выспаться, избавиться от очередной бумажки, потеряться от начальства в каком-нибудь патруле. У меня не было того часа, когда бы я не служил в милиции. Я кое-как переживал день, а она приходила ко мне во сне, кошмарная моя работа. Я вставал среди ночи, напяливал форму, шел через весь город за жуликом, приводил его к себе и пристегивал наручниками к батарее. А сам падал спать до того часа, как встанут на рельсы трамваи. А жулик всегда бежал. Он ломал наручники, снимал батарею, отрезал себе руку, но никогда не

ждал, пока я проснусь. А я поднимался и не верил, что всё это сон. Лез в шкаф за наручниками, проверял на месте ли батарея, искал на полу кровавые пятна. Но не было и следа, что у меня кто-то был. Ничего, кроме мокрых на голове волос, кроме неясной на сердце тревоги…

Я стал ненавидеть все праздники, концерты, соревнования, футбольные мачты, что брал на себя город. Потому что встречали мы их в оцеплениях, в заграждениях, в патрулях, злые, голодные. И были сверхурочные часы, сутки, за которые не говорилось и простое человеческое «спасибо», не говоря о каких-то там премиях, о каких-то там выплатах. Свою зарплату мы считали по копейкам. Как бы не раздували миф о материальном нашем благоденствии, его не было никогда. За гроши своей зарплаты мы мотались по засадам, по рейдам, где нередко сами становились пострадавшими и жертвами. И это было так открыто, так на виду! Но никто, никто ничего не видел! Для всех мы были «ментами», «мусорами», «оборотнями». И мы, не понимая близорукости людей, сами все больше отдалялись от них… Нет, мы не желали кому-то зла и не сделались эгоистами. Наоборот, чаще сталкиваясь с несправедливостью, только сильнее верили в справедливость. И пытались делиться ею с людьми. Но та их часть, которой мы помогли, была всегда неизмеримо меньше, чем та, что не дождалась этой помощи. Зачастую мы сами не видели этого и очень болезненно переживали упреки в свой адрес.

А еще оказалось, что нет у нас никаких законов. Есть, да не про нашу честь. Для того, чтобы посадить грабителя, хулигана, насильника всегда нужно было идти только на нарушение этого закона. Потому что у преступника было больше прав, чем у любого от него потерпевшего. И виноватому даже не нужно было искать лазейку в законе, чтобы уйти от расплаты. Закон и так был на его стороне. У этих воров и убийц всегда было столько свобод! И не им, а нам приходилось сходить с ума, хитрить, изворачиваться, чтобы обойти наши законы. Чтобы толкнуть преступника в двери тюрьмы. И нам, милиционерам, не верили! Не верили в судах, косо смотрели в прокуратурах, не слышали на любой людной улице. А тот, кто привык раздевать в подворотнях прохожих, обирать в парках зазевавшихся поздних гуляк, избивать вечерами на кухне своих жен и детей, попав в руки милиции, неожиданно становился святым. Неожиданно забывал за собой всю вину, и писал кляузы по всем адресам на «оборотней в погонах». Он-то прекрасно знали, что в демократической нашей стране нет никакой веры милиции. И многие наши товарищи сами попали под горящие «планы» судов и прокуратуры, сами надели наручники, сами пошли по этапу. Из-за одного доноса, из-

за единственной жалобы…А за их спинами были десятки и сотни раскрытых преступлений, был Афган, Карабах, Чечня. Были кресты Мужества, медали Отваги. Была целая жизнь, потраченная на службу России…

Я всегда сравнивал милицию с Армией. Если бы я не знал, что существует Армия, наверное, мне было бы проще здесь. Я бы меньше замечал несправедливость, меньше огорчался на ложь, меньше винил бы систему. Но, увы, мне было на что оглянуться! Было, что привести в пример. Да, тупая нелегкая служба, да, армейское неравноправие и самодурство, вечные скитания, учения и тревоги, непредсказуемая, как завтра, судьба, неизбежная, как старость, нужда… Но… Но там никогда не теряла цены отвага, не уступала слабости сила, умела говорить правда. А что я увидел здесь? Устану перечислять. Да и зачем, если и так некому постоять за милицию….

Обидно. Обидно, что нас делали такими: сгибали высоких, возвышали низких, клеймили правдивых, гнали строптивых. И тысячи нас бежали из этой милиции, как бегут воры, попавшие в людный двор. Не успевали высохнуть чернила наших контрактов, как мы без сожаления рвали их, бросая навек милицейскую форму. Уходили новички, уходили профессионалы, патриоты своего дела. Мы столько теряли каждый месяц и год, столько недосчитывали в своих рядах! Как там гласит народная мудрость: кто хочет остаться честным, должен покинуть этот дом… Но среди тех, кто не уходил, кто терпел весь этот бардак, среди большинства «сереньких», «безымянных», «безвольных», все же были и те, кто остался верен себе, кто искренне надеялся, что когда-то сломает систему. Милиционеры с большой буквы. Люди, что смогли остаться честными, не покинув этого дома.

Да, были Мужчины! Мужчины, которые, дай Бог, еще изменят облик милиции. Вернут былую гордость нашим погонам.

…Я засомневался в самом себе. Зачем я учился, зачем стремился к этим погонам? Для чего она сбылась, детская моя мечта стать офицером? Для чего? Если теперь я ненавижу каждый свой день?

…Невыносимая моя осень. Она пришла не на землю Алтая, она вошла в мою душу. Она открыла мне страшную свою тайну: больше нечего ждать. Не будет никакого счастья и никакой любви. Им просто не по пути с погонами. Все лучшие мои годы потрачены зря. Юность, о которой я так тосковал и так надеялся еще вернуть, кончилась.

Я понял, что впереди ничего нет, кроме пустоты. А всё, что осталось от жизни — это лишь прошлое. И теперь я не знал более важных дел, чем приходить к тем аллеям и паркам, где когда-то,

уже так давно, бродила моя любовь. А они были всё так же холодны, полны черного воронья и низких косматых туч, аллеи несбывшихся прошлых надежд. И никого не было на пустых тропинках, кроме меня. И никто не приходил к месту прежних моих свиданий. И только я, сбежав от работы, сидел на сырых скамейках в синем своем бушлате, держа в груди разбитое свое сердце, — единственный непьющий бездомный, явившийся на поминки собственных чувств.

Ну, вот и все… Осталось совсем чуть-чуть и, может, наконец, погаснет моя звезда. Она так долго ходила по небосклону, так долго надоедала живым. Теперь ей осталось одно лишь усилие — дотянуть до своего «борта». Она должна свалиться с неба именно там, где, вспыхнув однажды, ослепила меня навсегда. Лишила тех глаз, что видели мир без войны.

…АРТУР!!! Теперь-то ты понял, что кончилась жизнь?! И всё, что у тебя осталась — это дорога Туда! Накатанная твоя колея, ведущая к Югу. В черный предел Кавказа, где ты сыграешь последний свой блюз на большой танцплощадке войны.

Возвращайся скорей! Могила уже разрыта!..

Герою России

Старшему лейтенанту

Когда война ворвется в дом,
Огнем своим обуглив ставни,
Быть может, вспомнив о былом,
Мы одеваем вновь медали.
Мы одеваем ордена,
Как эхо тех воспоминаний.
На наши души и сердца
Ложится тень переживаний.
Ломая памяти рубеж,
Мы возвращаемся в те годы,
Где все горит пожарищ свет
И жизнь со смертью снова спорит.
В грязи раздолбанных дорог,
Завязнув, души остаются.
Ступив на старый наш порог,
Кошмары ночью в двери рвутся.
И ветеранами себя
Между собой не называем.
Те девяностые года

Мы слишком часто вспоминаем.
Да и какой тут ветеран?
Двадцатилетние мальчишки
По нашим селам, городам;
Ребята, парни да братишки.
Срывая дверь с петель, война
Вдруг позовет с собой обратно.
Да вот билет теперь туда
Не подают уже бесплатно.
В те девяностые года
Как не хотеть нам не вернуться.
А как рвались из них тогда,
Чтоб к дому снова прикоснуться.
Как я хочу еще раз сжать
Металл холодный автомата.
И обратить минуты вспять
К былому званию солдата.
К той правде, чести, простоте
Теперь которых не хватает
Я реже слышу о войне,
Да лишь сильнее душу травит.
Мое проклятие — Кавказ!
Как я люблю твои пейзажи.
Хотя смотрел на них не раз,
Взвалив на плечи груз поклажи.
Хотя снега лишали глаз,
При свете дня идущих в горы.
И ждал не сон в полночный час,
А те же трудные походы.
Какого бога мне просить
Теперь, Христа иль Магомета,
Чтоб, наконец-то, возвратить
Больную душу с того света?
…Быстрей минут шагают дни
Да ночи, как года проходят.
Живая память той беды
Свое насилье в дом приводит.
Срывая дверь с петель война,
Огнем затягивая ставни,
Всё ярче красит ордена
И начищает вновь медали.
Своим костром сжирает пыль
На потускневшем камуфляже.
Не тронув тот военный мир,

Дом обращает в прах пожара.
Еще немного. Гаснет свет,
И догорают ставни в доме.
И пепел серый этих бед
Волнами стелется по полю.
В проломе крыши солнца свет,
А ночью звезд замерзших бисер.
Прозрачный дождь и белый снег
Собой накроет пепелище.
И вот теперь в дверной проем
Уже никто не постучится.
Война, разрушив старый дом,
Не может радостью напиться.
И ничего с собой не взяв,
Оставив только запах гари,
Уйдет она, оставив страх
Давно рассеянный годами.
Огонь военных грозных лет
Все не дает душе покоя.
Но не прошу я новый век
Забыть то зло. Оно со мною.
Свое уродство спрятав вновь,
Война минуты все считает.
Когда прольется снова кровь,
Она уже не опоздает.
Когда война, ломая дверь,
Притащит в дом свое насилье,
Наверно я останусь с ней
И не пущу её в Россию.

ЧАСТЬ 3

От Барнаула до Ханкалы

Сегодняшний день:

Контракты в постоянный чеченский отдел — это было такое новое, неизвестное и мрачное. Их лишь недавно отпечатала Москва, и пока что желающих послужить едва вылавливали в самых захудалых местах. Добровольцев было не сыскать потому, что никакой кадровик не мог поклясться, что стоит за этим контрактом, и правда ли, что Родина расщедрится на квартиру каждому, кого не убьют за три года войны. Первые, кого удалось отправить в этот поход, еще не вернулись, чтобы все прояснить. Хоть их не видали в гробу, но и живыми никто не встречал. Спрашивать что-то у ОМОНов и сводных отрядов было бессмысленно. Те ездили не за работой. Ездили воевать, пить и хоронить. И максимум на шесть месяцев.

Замполит отдела, огромный нескладный мужик, отчасти поумерил мой пыл на Чечню. Смотрел он на это трезво и не разделял моего ликования. Узнав, что я собрался подписывать трехгодичный контракт, ничего доброго мне не сказал, а посоветовал отслужить годовой, после которого станет виднее, стоит ли рисковать собой. «Чем там занимается участковый? — повторял он вслух мой вопрос и тут же озвучивал свой ответ, — Смотрел фильмы про американских шерифов? Так вот… У них шериф, у нас участковый. Назначат шерифа в какой-нибудь городок, он там командует. Приходит банда — шерифа на висельницу. Уходит банда — присылают другого шерифа. Так и в Чечне…» Он-то шутил, мой замполит, а я всерьез подумывал, где взять столько патронов, для целой банды. И не лучше ли запастись ими здесь? Ведь, вправду, дадут какой-нибудь аул, помощи не дождешься…

Меня часто посещали сны. Они знали мою тоску и старались облегчить ее своими кошмарами. Много ночей подряд они возвращали мне мою радость, много ночей подряд я снова видел Чечню. Я вновь переживал обстрелы крохотных наших блокпостов и застав; нудные, как осенний дождь, несвоевременные, как дурная болезнь. Я вновь шагал в горы, спал на камнях, обмораживал легкие, ненавидел войну. Я опять попадал в окружение, в плен, спасался бегством, меня убивали, рубили на части, однажды даже варили в каком-то котле… Но проснувшись, я не чувствовал страха. Они больше не могли меня напугать,

недобрые мои сны. Ведь я продал бы душу, чтоб сбылся хотя бы один.

Как-то приснился сон: за мной прилетел «борт». Я ни с кем не попрощался и не прихватил ни одного узелка. Не чуя ног, я мчался в аэропорт. В лютую сибирскую зиму, не надев ничего, чтобы согреться…В Чечне я вылезал из самолета в домашних тапках, в старой прозрачной тельняшке, с запоясным тяжелым ножом — единственным оружием, что удалось раздобыть в Барнауле для драки. «Где форма? Как ты будешь работать?» — наседали на меня у трапа со своей ерундой полковники и генералы. «Дома забыл!» — кричал я в ответ, не понимая, как они смеют меня упрекать…

В то же утро меня вызвали в кадры: «Два дня на сбор!» Если б я выиграл остров в южных морях — так бы не плясала душа. Даже те, кто давно меня знал, теперь, наконец-то, засомневались: нормален ли я? Эти два дня я метался по всему Барнаулу, пил с кем придется и спал, где хотел. Роздал в случайные руки всё, что имел, бросил в костер всё, что любил: девичьи письма, книги, кассетные ленты, согнувшуюся от старости гитару — давний подарок ветерана первой чеченской войны. И еще простил своим должникам фантастические долги.

…Перед отправкой по обычаю выдавали обмундирование, которого мы не видели по нескольку лет. Но это был фарс. Не знаю, что было у других, но моя и предыдущая группа, не получили даже тренчик от фуражки, чтоб задавиться. Хотя, по совету тыловиков управления, мы явились туда с двумя-тремя сумками, и еще переживали в дороге, хватит ли рук, чтобы всё унести. Зря переживали. Никто и не заглянул в наши козыри — вещевые аттестаты без единой строки. Всем дали от ворот поворот. И только на мне не прошел обман. Я пришел туда сразу с пустыми руками; во-первых, потому что давно ничему не верил; во-вторых, мне ничего не было нужно, всё итак было на мне. Зачем мне лишние сапоги, шапки и звезды? Грош им цена на завтрашнем мертвеце.

Ах, да… Он был вещим, последний мой сон; участковые не отпустили меня без памятного подарка — тяжелого воровского ножа, отнятого патрулем у уличного хулигана.

…Москва, станция «Автозаводская», 6 февраля 2004 года. Мы опоздали лишь на какой-то час и, когда выходили на перрон, еще не знали, что там произошло. И так удивились, когда увидели, валявшиеся на земле окровавленные трупы, с подогнутыми ногами, в цветных разорванных пуховиках, в лакированных модных туфлях. Удивились, когда увидели раненых, посеченные их руки и животы, когда увидели, как плачут женщины, как

жмутся к взрослым испуганные молчаливые дети…

Этот взрыв прогремел так далеко от Чечни! И никто из раненых и убитых никогда не носил камуфляжа, никогда не жал на курок, не поднимал ни одного военного тоста, не поминая про «третий«…Еще вчера она была такой незнаменитой, рядовая эта станция, где глядевшие со стен богатыри, проглядели большую беду. Еще вчера здесь говорили, а теперь воют. Еще вчера каждый стоял на ногах, а теперь не всякий ползет и ползком. Еще вчера отсюда нечего было нести, а сегодня носилки на носилках и труп на трупе…

Сколько их было, свалившихся в тоннеле метро? Говорят, около сорока. Хотя, спросите об этом у тех, кто не умер.

…Мы улетали из Москвы в этот же день. И этим же вечером сидели в каком-то баре Минеральных Вод, сомневаясь насчет спиртного. Мы, два «диких гуся», наконец-то, прилетевшие на юг. И если я мог еще по неделе не брить бороды, то мой попутчик сгодился бы мне в отцы.

Распутный вечерний бар Минеральных Вод… Он поразил меня больше, чем те неподвижные куклы, валявшиеся на полу в московском метро. Здесь никто не смотрел на нас, собравшихся воевать. Мы были презираемой пустотой, случайной тенью в забытом богом углу. Да нам и дали место в углу — самое почетное из всех, что мы заслужили. Оказывается, сюда никто не ходил в форме, здесь не принято было говорить о войне, что начиналась почти за порогом. Здесь шли речи об открытии ресторанов, гремели бесстыдные тосты продажных девиц. Здесь тлели в золотых зубах смолистые кубинские сигары, здесь даже с пола разило небрежно пролитым армянским коньяком. Распутный вечерний бар… Сытые тяжелые лица, пьяные малиновые глаза… Они даже не смотрели на нас, двух убогих, покорно глодавших в черном углу истерзанную курицу — самое дешевое блюдо в этом раю.

Да лучше б мы не ходили туда, лучше б пересидели голодом ночь! И, может, было бы не так стыдно заходить в нищую казарму Учебки, где так часто отключали воду и свет.

…Перед Чечней нам дали вздохнуть. Две недели постигали мы краткие курсы медицины, Корана и чеченского языка. Расстреливали на полигоне белые камни Бештау, и не могли набродиться по хмурым аллеям Машука. А еще никак не верили, что окончен наш страшный сон — невыносимая служба в отделах России.

Оставшиеся после Барнаула и Москвы деньги, я потратил на книги: на мифы о Конфуции, на легенды о Македонском и Тамерлане. Учебка освободила меня для чтения, и этим лишила

последних грошей. Здесь я вспомнил, что такое питаться три раза в день, не на бегу, не поздней ночью, на кухне, а не в кабинете. Полгода назад я уходил из Института с мясом на костях, а сюда притащился полным скелетом. Какая-то сердобольная повариха взяла меня на заметку и держала на раздаче, пока не вручала вторую тарелку. «Кушай, сынок», — говорила она, а я готов был слопать и третью.

А еще здесь решилась моя судьба. В один из дней какой-то полковник разбрасывал нас по отделам Чечни. Он сидел за высоким столом, бездушный и строгий, и ему было плевать, какие села и города оставят наш след. У него не дрогнул железный голос, когда он дошел до Грозного. До того города, которым я бредил десяток лет. Который когда-то уволок в рабство свободную мою душу… И вот в день, когда в нём делили места, мне вдруг не досталось билета! Мне, самому преданному его рабу, что ни одного дня не мечтал о свободе! А те, кто был назван?.. Да у них не зашкалило сердце! Да у них не пошли пятнами лица, когда Грозный выбрал их имена! Недостойные!!! Недостойные Грозного, они молча сидели в первых рядах, в тряпочных креслах собрания, едва напрягая свой слух. А за их спинами, вцепившись в драные подлокотники, я один задыхался от горя.

Они захватили мой Грозный! Они убили меня у самых его ворот!

Для меня рухнул весь мир!.. Я настолько обезумел в эти минуты, что даже увидел заговор. И все, кто прежде пожимал мои руки, кто был со мной эти дни, участвовали в этом бесчестье…Я сидел в кресле, с белым мертвым лицом, и ждал, когда все уйдут. А потом, на негнущихся от волнения ногах, стоял перед полковником и врал, как когда-то штурмовал город. Свой Грозный, которого никогда не видел и не назвал бы в нем ни одной улицы. Но мне поверили. И дали право самому совершить бесчестье: я вычеркнул чью-то фамилию, поставив свою.

Теперь, за давностью лет, я не помню ни звания, ни имени этого человека. И мне всё равно, спас я его или же погубил. Он поднял руку на самую чистую мою мечту — Грозный. И даже теперь ему не дождаться жалости.

…Бронепоезд Моздок — Ханкала. Его прокуренные вагоны с замызганным, не разглядеть белого дня, стеклом. Его пропитые пассажиры с больной, не вылечить медицине, душой. Все воевавшие, все повидавшие, все пострадавшие… Их можно было пересчитать по пальцам, тех, кто впервые оторвался от дома. И пальцы эти легли бы в одну ладонь.

Вместе с нами в полупустых вагонах ехала тишина. Мы уже

не могли ни о чем говорить. Мы ехали все вместе и каждый с самим собой. Потому что пришло время, когда, наконец, забываешь о друзьях, о деньгах и о славе. Остается лишь он, твой единственный главный вопрос: «Что будет со мной?» И ты не знаешь, вернешься ли живым из этого похода.

Мы ехали и ехали, и ехали… Как будто так было целую жизнь. Как будто в ней ничего не было, кроме печального этого эшелона. Не было за нашими спинами ни холодного Барнаула, ни крепкого Курска, ни старой Казани. Не было детства и школы, не было дома, где мы износили все размеры одежд. Это не мы бежали на первое свидание, не мы воровали у поэтов стихи. Не мы еще позже стояли перед дверьми институтов, не зная, что зря ищем себя в науке, в экономике, в театрах и на экране… У нас ничего никогда не было. Ничего, кроме черного военного эшелона, где на железных платформах прикрытия, задрав в небо стволы, с нами катились заглохшие БМП. И все мы родились в пути на войну, и все умрем, не нажав однажды «стоп-кран». Мы — пожизненные попутчики бронепоезда Моздок — Ханкала. Все повидавшие, все пострадавшие…

Мы ехали и ехали, и ехали… И знали, что если случится беда, нас никогда не оставят павшие. Ведь их большой эшелон идет следом, и подбирает всех, кто оставил наши купе.

…В последний раз открывала мне объятия Ханкала. Здесь ничего не изменилось за много лет.

…Падает за синие горы больное бледное солнце. С заброшенных минных полей ползут в угасающий городок желтые ночные туманы. Подгнившие палатки полны грязной воды, неизбежных простуд и походных болезней. Мы сидим у маленькой толстой буржуйки, по очереди разогревая сухпай. На низеньких дощатых нарах копошится в матрасе ленивая мышь. От оборванного брезента дверей катится в ноги свежий холодный воздух. За никудышными стенами палатки собирается с силами беспроглядная тьма.

Кто-то успел сходить в магазин, запастись сигаретами и одной неприятной историей:

— Работала в этом магазинчике одна русская баба. Молодая, говорят, была, красивая. Женщины-то здесь редкость, вот кто только за ней и не бегал. Она и выбрала одного. Самого-самого… Офицера, Героя России. Сколько-то пофлиртовала с ним да потом и бросила. А тот совсем на ней помешался. Ревность его задавила. Напился однажды, пришел отношения выяснять, да тут же и застрелил ее. И всё. В тюрьму поехал. Дома жена, дети…

— А у неё-то родные были?

— Не рассказали. Наверное, и не знает никто. Она ж не

Герой.

Я выхожу на воздух. Над Ханкалой кружится снег. Отлучился в дикое поле и оборвал свои песни ветер. В теплом февральском воздухе слышна каждая первая пуля.

За колючей проволокой ограды спит на посту часовой. Он без движений сидит на бревне и видит солдатские сны. Я подхожу неслышно, мягко ступая в грязь.

— Зёма, — сажусь я на корточки, — время скажи.

Солдат смотрит на меня молча, не поднимаясь с бревна.

— Вляпаешься когда-нибудь, — усаживаюсь я рядом.

— Милиция? — кивает он на синий лейтенантский погон.

— Да, — сознаюсь я.

Тот не спеша подкуривает и сбивает с колена снег. Я присматриваюсь получше. Он слишком стар для солдата.

— Контрабас?

— Срочник. Учился долго. После института взяли.

Боец легок на разговор и не скрывает, что было:

— …А сюда за «мародерку» сослали. В разведке служил. Старшина в роте был — мужик человек. Горя не знали с ним. Хоть и, бывало, так «фанеру» пробьет — неделю пикнуть не можешь. Но за дело. Никто не обижался. Уходил он, керосин списанный нам оставил — хоть залейся. «Чехам», — говорит, — сдадите. Его отсюда никто обратно не повезет». И, правда, куда нам его? Через горы тащить — не дай бог подобьют. А здесь всё на соляре, керосинки и те уже на соляре. Повезли мы в поселок керосин этот. Договорились с одним за сколько-то там баранов. Правда, баранов он сразу не дал, сказал, мол, вечером сам привезет. Сейчас, мол, никак. Время молитвы, гости там у него… Чуяли мы обман, да торопились сильно — по рукам ударили. Керосин еще сами выгружали, в сарай стаскивали. Он-то и пальцем не шевельнул. Вечером, конечно, никто баранов нам не привез. И в другой вечер не привез, и в третий. Два раза к нему ездили; первый — дома не было, второй — он, якобы, с баранов шерсть сначала сострижет. В общем, поняли мы: шашлыка не будет. И решили сходить еще раз напоследок. Ночью пошли. Не видать ни черта. Как нашли только?.. Трудно было еще, его дом почти в центре стоял. Собаки нас много раз облаяли, но из жителей никто не высунулся. Побоялись, видно. Псину его мы с «Винтореза» без шума грохнули. Она и не лаяла, молча кинулась. Зашли мы во двор, замки с овчарни поснимали да явили там Варфоломеевскую ночь… Кончились его бараны. Десятка два было. А мы и не взяли ни одного. Мараться не стали.

Утром полпоселка к нам прибежало, шум подняли… А его не было. Не знаю, почему не пришел. Командир наш долго не думал;

кого куда сразу же отправил, чтобы концов не нашли. Меня вот сюда сослали. А баранов на какую-то залетную диверсионную группу списал.

— Двором хоть не ошиблись?

— Нет, — кривит он губы. — Его бараны были. Точно его.

Я покидаю пост и на ощупь иду к палатке. Под ногами не видно земли. Тучи потратили снег, и Ханкалу захватила ночь, гиблая, как проклятое болото, черная, как людская неблагодарность.

…Через день я увидел Грозный.

Все-таки она сбылась, моя самая безумная и самая долгожданная в жизни мечта. Все-таки хоть однажды меня обнимало счастье.

Ну вот и все. Я имел в жизни цель и дошагал до нее. И теперь мне не страшны ни старость, ни смерть. Им просто нечего у меня отобрать.

Афганский синдром

Февраль 2004 года.
Северный Кавказ:

«И снова туда, где когда-то теряли друзей…»

Салют, Кавказ! Салют, потерявшееся мое счастье! Салют, подлунная Святая Земля, полная беспредельных адских грехов! Я так скучал по тебе!!!

…Моздок. Мне запомнился не город, не осажденная эта крепость, в которую его обратило время. Я помню только одно: унылый ж/д вокзал, где на черном бетоне забора лепилась поруганная временем надпись: «С приездом, братство!» Кому была написана эта фраза? Тем ли, кто ехал оттуда? Нам ли, кто ехал туда?.. Спросить бы у автора. Но как волновал сердце потертый этот плакат — загаженный черный забор, где нашли себе место добрые эти слова!

«С приездом, братство!» Эти писалось для всех. Для тех, кто уезжал на войну, для тех, кто возвращался с нее.

Моздок — перевалочная база войны. Город на семи дурных продувных ветрах. Затоптанный воинский полигон, где все живые — служивые да отставные, где все колеса — гусеницы да траки, где всё жилье — шатры да палатки. Разбитые в хлам дороги, где не успевает садиться пыль… Километры колючей проволоки, охватившей всю землю… Уродливые бетонные коробки

нескончаемых блокпостов… Мрачный, унылый пейзаж некогда цветущего города.

Моздок — неразрывная составляющая общей беды. Не видавший боев город, который давно захватила война. Мы говорим «Моздок», а разумеем Чечню, мы вспоминаем Моздок, а видим Чечню, мы идем по Моздоку, а путь держим в Чечню. Моздок — наш маленький мостик в большую страну войны.

Моздок. А значит, снова туда!.. Туда, в холодные ночи аэродромов, вокзалов, палаточных лагерей. В те мрачные ночи, где так не хватало сна. Туда, на бесплодную землю Чечни, где с нами дружило счастье. Где даже звезды бледнели перед нашей славой.

…Но не было радости. И не было вдохновения как когда-то. За окном вагона безрадостные картины оставленных пепелищ.

Здравствуй, Чечня. Вот и свиделись, дорогая моя подруга.

Я вернулся.

Как я спешил сюда! С какой радостью ждал этой встречи! И сколько лет жил ради нее! Сюда! Сюда! Сюда!.. Отчего же теперь я, словно незваный гость, молча стою у настежь открытых дверей? Отчего не спешу заходить в этот дом? Неужто предвижу горе? Нет. Я просто понял, что все эти годы бегал от самого себя. Я понял, что этот, с настежь открытыми дверьми дом, никогда не имел выхода. И, войдя в него однажды, я все эти годы лишь переходил из комнаты в комнату, лишь думал, что выходил на свободу. Я никогда не уходил отсюда, я — вечный пленник в доме войны.

Никто не понял меня там, в оставленном Барнауле. Никто из друзей не одобрил мой шаг. Почему? Потому что они не знали войны. Потому что мир, в котором жили они, давал больше, чем отнимал и любил чаще, чем ненавидел. Они точно знали, что ждет их в жизни и не хотели что-то менять. Они катились по колее и не думали выбрать другую дорогу. А я так уже не мог. Я просто забыл, как жил раньше, когда не терял и не умирал.

И вот мои друзья только качали головами, только спрашивали, зачем я куда-то подался. А что я мог объяснить? И как было об этом сказать, не сорвавшись на крик? Как было не закричать: «…Да я ненавижу жить, как вы живете! Как каждый день ходите на работу, сидите вечерами на кухне, обнимаете жен, пьете водку в чужих гаражах! Как переживаете каждый свой промах, как боитесь плюнуть на все однажды и рискнуть головой! Да вы ничего не видели в жизни! Да вам нечего вспомнить, кроме ваших дурацких на наркоманов засад, кроме ваших порочных по девкам гулянок! Как мелко стоите вы в реке жизни! И даже не мечтаете броситься вглубь!» Что бы сказали они на это? Я знаю:

«А чем похвалишься ты? Что было с тобой?«…И я бы потерялся с ответом. Потому что не было того, чем можно хвалиться. Не было ничего, кроме автоматов да полигонов, и не о чем вспомнить сейчас, кроме казарм, боев да погон. И даже те дурацкие засады на наркоманов — о них можно рассказывать, над ними можно смеяться, не переживая их вновь. А мои засады? Кто будет над ними смеяться, если о них рассказать? И как это сделать, чтобы не пострадала душа?…А девушки? Сколько хороших девушек променял я на эту Чечню? Скольким показал на порог при первом же слове «Останься!» Я ведь думал, что они тоже хотели отобрать у меня войну… И молодость, прожить которую всё оставлял на потом, мол, успею еще, незаметно состарилась. Я стал таким стариком! Мне пусто со своими сверстниками. Мне не о чем говорить с ними, мне скучно в их окружении, я не хочу с ними никаких дел. А ведь тянуться они к нам; спрашивают, прислушиваются, уважают нас, да, всё-таки уважают. А мы? Смеемся им в ответ, без злобы над ними подшучиваем. Сначала да. Но потом? Потом все больше молчим, избегаем их, уходим в себя. Нам не до них. Мы никак не можем найти сами себя. И ни в чем не найти утешения. Проходит время и больше не помогает водка. Та самая водка — черное наше пойло, что лечило нас от окопной тоски на самых первых боевых рубежах. Не помогает водка… Не помогает «трава» и шприцы… А мы не знаем других лекарств от этой болезни. И вот спиваемся, садимся на иглу, лезем в петлю и подносим к вискам вороненые стволы пистолетов. Кто вел эту статистику? Кто считал наши смерти после войны? Боевые наши потери в без боев поредевших рядах. Мы ведь не афишировали себя, не кричали с высоких трибун. Мы привыкли молча переносить все свои унижения и обиды. Этому когда-то нас научила война. А мы были хорошими учениками.

…В день возвращения в Грозном шел дождь. Как же он был непривычен зимой.

Наверное, каждому, кто однажды ступал на улицы Грозного, казалось, что он попал в иной мир. На древнюю планету войны. Здесь можно было снимать фильмы о Великой Отечественной, не меняя никаких декораций. И самому сняться в этом кино, и по-настоящему умереть на самом последнем кадре. Сюда можно было привести дряхлых стариков-ветеранов, и они бы спутали век. И распрямили упавшие плечи, и сбросили поднявшие горбы…Опустошенные, заросшие диким бурьяном улицы Грозного. Их простреленные колонны, склонившихся, не разогнуть, рыжих столбов. Их обгорелые дворцы с высокими, не дотянуться, голубыми потолками.

Город на Сунже. Какая страшная беда нашла дорогу сюда и

как нескоро она отсюда уйдет. Какие немыслимые силы разломили твердые эти дома и вспахали гладкие зеркала площадей. Сколько металла и огня принял на себя этот город. Сколько хорошей крови протухло в его воронках, сколько крепких бинтов сгнило в его госпиталях…Желтая грязная Сунжа — неспокойная обитель тех, кого утащила вода. Кого никогда не накроют землей…Разорванный в клочья город! Грозный, которого нет. Каждое его здание изрешечено пулями, каждая улица раздолбана бомбами и снарядами. Бессмысленное нагромождение камня на камне и беды на беде. Обугленные, выпотрошенные без остатка черные скелеты домов. И нет таких, за которые бы не шел бой. Величайшие руины громадного города — безмолвные свидетели ада на земле, царившего здесь когда-то. И не будет столько дождей, чтобы смыть запекшуюся на бетоне кровь. И не прибудут такие ветра, чтобы отогнать от руин тяжелый мертвецкий дух. И долго еще будут рассказывать, показывая на то или иное здание, седые старлеи и капитаны, о забитых трупами этажах, дворах и подвалах. И оборвутся на полуслове, потому что не найдут таких слов, чтобы всё рассказать… Наши боевые офицеры! Неимущие солдаты Отчизны, вечно бегущие на самый передний край. Не за золотом, не за пенсией, не за славой. Кто из них не мечтал тогда, в прежние годы, вырваться из этого ада? Кому из них не хотелось домой?… Да вот все, кого не пришлось хоронить, вернулись обратно. И многие еще пожалели, что не легли вместе с павшими.

Как же назвать, эту безумную тягу к войне? Непоправимую эту беду, что сводит с ума!

Афганский синдром… Афганский, чеченский… Какой еще?.. Кто помнит сейчас об Афганистане? Кто помнит о первой Чечне, о второй? Кто вообще знает такие страны? Никто. Никто, кроме меня. Никто, кроме тебя. Кроме нас, кому жизнь дала в руки этот волчий билет. Кроме наших калек, что, стыдясь за награды, сидят теперь в переходах с фуражкой у оторванных ног. Кроме наших мам, что, не зная войны, все еще смотрят военные сны, где заслоняют от пуль сыновей. Кроме вдов, перед которыми нам не оправдаться за целую жизнь. Кроме детей, что больше не увидят отцов. Брат мой! «Афганец», «чеченец»! Поднимись, если не потерял ног, оглянись, коли не выплакал глаз! Посмотри вокруг! Кончился наш Афганистан, прошла наша Чечня! И мы с тобой лишь тени от этих стран. Нам, еще живым, уже поставлены памятники по всем городам. О нашей смерти уже сложены песни всеми, кто не видел войны. Ты сам слышал их! Эти бесстыдные похоронные марши нашей эстрады. Это стало так модно — петь наши песни. А ведь те, кто их пишет, не видели неба Чечни, не

вдыхали воздух Афгана. А вот взялись отпевать нас!..Я не против, когда поют наши песни, я против, когда их сочиняют.

«Чеченец», «афганец», «абхазец», «таджик», «осетин», у нас с тобой ничего нет. Все, что оставили нам — это салюты над нашими могилами, это гробы, что так надрывно и пышно провожают на наши же кладбища. У нас уже есть свои кладбища. Целые аллеи надгробий с извечной красной звездой. Это всё, что мы заслужили! Мы не нужны другим. Мы мертвы для них. И мы должны были умереть еще там, в Газни, в Шали, в Сухуми и на Днестре. Наша смерть была предрешена, она была трагична и достойна восхищения. Это была славная солдатская смерть. Мы были героями только там, в Карабахе, в Приднестровье, в Таджикистане и Грузии. А здесь мы никто. К нам было внимание лишь в день нашей смерти. Мы были нужны только тогда. Ведь, кто бы другой, кроме нас, согласился на гроб?…А теперь, когда остановилась смерть? А теперь мы отбросы этого общества. Мы все «дебилы» и все «алкаши». И за нами ничего нет, кроме воспоминаний и преступлений…

Как хорошо спел когда-то «афганец» Игорь Медведев: «Нам не за что жить здесь, но было за что погибать там!»

Афганский синдром… Да нет его, никакого афганского синдрома. Как нет и чеченского. Это лишь слово, лишь оправдание для тех, кто завидует нашей храбрости, кто не может понять нашей фронтовой простоты, кто за своей ущербностью не отличает зла от добра. Мы повидали горя и пересмотрели свой взгляд на жизнь. У нас другие ценности. Не банковские счета, не дорогие одежды, не большие посты. Мы уже знаем, что смерть не заглядывает ни в какие банки, что бывает тепло и удобно в самой простой лётной куртке, в самом обычном солдатском бушлате, а большие посты не дают ничего, кроме больших обид и большой усталости. Афган и Чечня перевоспитали нас, отобрали старое и направили на другую дорогу. Они дали нам то, о чем мы могли только слышать, только читать, но никогда бы не отыскали в себе, если бы не война. Мы стали честнее, добрее, благороднее. Вместо «взять», «отобрать», «обидеть», мы знаем теперь и другие слова, такие как «дать», «поделиться», «простить». Потому что, как бы не была жестока война, она научила нас добру. Научила равнять людей не по званиям, не по должности, а по их делам. Нам не завешаешь ложью глаза. И мы можем понять любого, по ошибке сбившегося с пути. Нам жаль бездомного котенка или щенка, но не жаль человека, который совершает дурное, и не хочет остановиться. И участь ему одна — смерть. Это правильно, в этом единственное спасение от зла…Вслушайтесь только! «Афганский синдром»… Словно какой-то болезнью веет от этих слов. Какой-то

убогостью, какой-то неполноценностью. Скажи это в толпе и все обернуться. Покажи пальцем на этого пострадавшего и все его пожалеют. А, значит, еще раз ужалят, еще раз обидят…А ведь они правы. Разве поспоришь с тем, что нам откроют двери любой психбольницы, стоит лишь на пороге сказать: «Ветеран».

А мы не безумцы. У нас просто свой мир, в котором нет места другим. В который зачем-то лезут те, кого не звали туда. А мы не выносим чужих. Почему? Это такая загадка над которой я бился и сам. Припоминал пьяные наши собрания и все разговоры. И долго пытался вспомнить, о чем же мы говорили. И сам долго думал, что о войне. Но нет. Говорили, как любые нормальные люди о женщинах, о работе, о детях. Мы даже не вспоминали войну, ей было не место в наших рядах. Оказалось, что нас сближала в этом кругу не война, а одинаковый образ мыслей. Нам не нужно было возвышаться над ближним и пускать ему пыль в глаза. Мы сполна узнали цену себе. Нам больше не перед кем зарабатывать авторитет и некому кланяться в ноги. В целом мире не найдется таких людей, кроме наших мам и отцов. А у других этого нет, и не будет за целую жизнь. Эту простоту, этот образ мыслей дает только близость смерти. Вот она, отгадка нашего «синдрома» — мы родились заново в Афгане и в Чечне, мы получили вечное гражданство этих стан, где среди многих званий генералов и царей, возвышалось над всеми звание Человека!

…И вот я вернулся в прошлое. И оно словно не поменяло лица. Как будто вновь ступили на землю те, потерявшиеся в былом, 2000-й и 2001-й год. Вот он, вновь рядом, лежит в головах, тяжелый мой автомат. Вот я снова пишу маме письмо и, как и прежде, не могу не соврать: «…отправили по приказу». Мне опять снится дом, и по утрам я едва сдерживаюсь от слез. У меня вновь впереди так много месяцев войны…

Они снова вернулись, прежние мои годы! И как мне хочется верить в этот обман!

Да только что-то не так… Свидетель Бог — это совсем не то прошлое, которое я думал вернуть. Да, оно возвратилось ко мне, но как охладела к нему душа! Когда-то я любил здесь, когда-то здесь ненавидел, а теперь ничего этого нет. Как будто кто-то дочиста обобрал меня изнутри. Еще вчера я кипел при одной мысли о возвращении, еще вчера сломя голову бежал в Чечню, а вот добежал свой марафон, и словно остановилось сердце. Я растерял все свои чувства по дороге сюда. И возвратился в какую-то пустоту. Вернулся сюда до всего равнодушный и ко всему безучастный. Я потерял в себе что-то очень важное, что раньше называлось «мир и война». Я перестал понимать, чем они отличаются друг от друга. Чечня сделалась не частью моей

жизни, а самой жизнью. Это стало нормально, когда вокруг тебя стреляют в людей, когда ты сам должен кого-то убить. Это нормально — не думать о завтра, не заглядывать в гороскоп, не гадать на ладони. Тебя ведь все равно когда-нибудь застрелят здесь. Он всё равно придет, этот день, и нет от него спасения. Это участь всех, кто взял в руки оружие. Кто раньше был человеком, а теперь — бесплатное приложение к автомату.

Наверное, я просто опоздал с возвращением. Наверное, это нужно было сделать раньше на несколько лет. Здесь ничего не осталось от Долга и Чести. Они потерялись, сгинули из Чечни. Здесь уже не модно жертвовать собой, спорить о Родине, воевать за идею. Жизнь всё перевернула за эти годы. Псих или самоубийца, кто один отправился в бой, кто первый встал под огнем. Наивный или шпион, кто рассуждает о Родине, кто здесь ищет патриотизм. Провокатор или тупица, кто едет воевать не за деньги.

…Послевоенный Грозный. Город, на который уже не заходили с неба бомбардировщики, над которым не взлетали клочья расшибленных ими домов, в котором прекратили охоту танки. Война сполна погуляла здесь, пошумела и поглумилась. Украсила ранами живых и обезобразила мертвых. Встряхнула каждый кирпич и подпалила каждый сарай. И, наконец, укатила к горам. Но оставила разруху и смерть. Здесь было, что ни день, то стрельба, а что ни ночь, то пальба. А что ни утро, то похороны. Здесь все также горели скважины, шатались по улицам худющие бездомные псы, не знали, как прокормить себя ютившиеся в трущобах люди. Огромный город развалин, грязи и нищеты. Город полный военных, милиционеров, министров и бомжей… Глухой к человеческим страданиям, не покорившийся Грозный…

Ненавистная моя работа приехала вместе со мной. Участковый города Грозного.

Каждый приезжающий сюда думал о лучшем, а предполагал только худшее. Мы не знали, что готовят нам наши контракты и вполне честно верили, что чуть ли не все чеченцы поголовные садисты и звери. Мы раньше видели их по ту сторону фронта, и не числили за ними хороших дел. А здесь бок о бок с ними нам предстояло отслужить год. Кто мог похвастаться, что он не переживал? Но деньги всегда били любые страхи. А наш страх оказался не так велик, раз его побили месячной зарплатой в три десятка деревянных рублей. Та самая сумма, что платили в самом начале войны. Но не жадность толкала сюда. Не алчность гнала со всей страны лейтенантов, майоров, полковников. Ехали от безысходности, ехали от многолетней нищеты государственной службы, пытаясь хоть на год и два забыть о своем нищем

существовании дома. Ехали, отрываясь от своих семей, оставляя жен и детей молиться на милость судьбы.

Условия, в которых мы жили здесь, не приближались к идеалу. Да никто и не требовал рая. Мы ожидали боев, ранений, потерь, но никак не равнодушия, а зачастую презрения. Это не о чеченцах. Это о тех начальниках, местных князьках и боярах, что, получив в руки власть, однажды забыли, что вчера сами ходили в холопах. Оказалось, нас прислали сюда не для работы, а всё туда же, куда и прежде — в обычное военное рабство. Здесь никому не нужен был наш накопленный опыт. Мы были теми же пешками в большой военной игре. Любимое дело командиров было одно: с утра выгнать нас за ворота «искать преступления». А вечером грозить репрессиями за напрасно прожитый день. Часто никакой организации, никакой идеи. Только ежедневно повторяющаяся картина: огромная беспорядочная толпа, чуть свет, идущая в город, мечтающая только о том, чтобы скорей закатилось солнце. То, что заработанные нами деньги всегда давали с трудом и большими задержками, было здесь нормой. Обещанное нам трехразовое питание, столовые и кухни, конечно, никто не увидел. Все, на что могли надеяться наши желудки — это был месячный продпаек, жалкие куски которого доходили до нас после многих дележей между начальниками складов и отделов. Часто была в избытке крупа, но не хватало консервов. На многосуточные выезда мы получали ту же крупу, не зная варить ли ее в котле или же обменять в каком-нибудь дворе на сыр и на хлеб. «Ничего, ничего, надо поголодать. Пуля в пустых кишках не так опасна, как в полных», — вот чем, вместо тушенки, заправляли нас на эти выезда. Старый добрый полковник, поклон тебе до земли за твою заботу о нас! Как тебе объяснить, что наше горе не в пуле, а в тех самых пустых кишках, которые нечем набить… В некоторых отделах вновь прибывшие покупали на свои деньги койку-место. Цены держались в пределах до пяти тысяч за угол. Сохранился в памяти рассказ одного контрактника, бежавшего с гор: «…Начальник мой говорит: «Мест у нас нету, размещу тебя в поселке у своего знакомого». Привел он меня туда, показал и ушел тут же. Знакомый этот во двор вышел, меня позвал, заводит в сарай, овчарня там у него, у стены скамья деревянная, сено, а рядом овцы бегают. «Вот, — говорит, — за три тысячи в месяц можешь здесь жить».

На многочисленные поборы для бесконечных нужд кровососущего отдела никто уже не обращал внимания. Это было и дома, хоть и в несоизмеримо меньших размерах. Все премии, все прибавки к зарплате были давно урезаны. А ведь мы рисковали жизнями за эти деньги. А ведь не из своего кармана

платил нам очередной зажравшийся бай… «Идите, работайте! Идите, переписывайте население на своих участках!» Как легко говорить ни за что, в сущности, не отвечая. Раненые и погибшие наши товарищи всегда были первыми виноватыми в том, что схватили пулю. Отцы-командиры не брезговали обвинять их в рассеянности, глупости, а порой в трусости и малодушии.

«Не ходите здесь! Вас убьют!» — это рядовые чеченские милиционеры предупреждали нас, предупреждали вполне искренне, беспокоясь за нас, не в пример руководству, это я слышал от обычных людей на своем участке. Спасибо им, хотя бы за честность. И мы уходили оттуда и не спешили там появляться вновь. Но вовсе не из-за страха, что могут убить. Мы просто научились думать. Открыли свои глаза на непонятную эту войну. Мы не боялись умереть в бою, не боялись пойти под пулю, если видели в этом смысл. Если это хоть чем-то могло кому-то помочь. Но помирать за клочок бумажки, выдуманной больной фантазией наших министров, никто и не думал. От нас требовали той же работы, как и в России, а мы только смеялись над этим. Никто не бежал ловить пьяного, чтобы составить на него протокол. Никто не хватал за руку нерадивого пешехода, чтобы выписать ему штраф, что он не там пересек дорогу. И никому не было дел, что какой-то старик и страха торгуют на базаре без всяких на то документов. И даже не смеялись, а только качали головами, на требование переписать на своей улице всех дворовых собак… Ведь у нас был полный город врагов! Настоящих врагов, что не раз стреляли по нам, не дважды закладывали на нас фугас, не трижды радовались нашему трупу. Вот с кем нужно было бороться! Не с пьяницами, не с ротозеями и старухами. Только покончив с военной жизнью можно было приниматься за мирную. Да разве, кто слушал нас?.. И все мы, и русские, и чеченцы, не работали здесь в милиции, а создавали лишь видимость этой работы, лишь саботировали ее. И так же, как и в России, занимались приписками, готовили фальшивые справки, шили липовые дела…

…И вновь наступает весна. Моя третья чеченская весна. Но как непохожа она на две прежние! У этой весны ничего нет. Мое сердце свободно от чувств. Его не волнует любовь ни к одной девушке, оно забыло даже тоску. А самое страшное — в нем нет ни на что надежды. Я смотрю на себя в зеркало, а там набитый соломой муляж. Труп со стеклянными глазами, монумент с окаменевшей душой.

Серая беспросветная жизнь милиционера города Грозного… Вечно полные талой водой башмаки, вечно воняющие ружейным маслом ладони. Ненавистный, с утра и до утра дождь,

неотступный, как ночные кошмары, холод, жидкий, непригодный ни для какой зимы снег. И сам ты лишь вечная мишень, в которую сегодня просто промазала пуля… Кто-нибудь слышал про нелепое это существование на земле? Кто-нибудь знает, куда от него убежать?

Конечно, я бы солгал, сказав, что не хотел возвращаться домой. Наоборот, думал о нем каждый день, и каждый день представлял с ним долгожданную встречу. Но я больше не верил в нее. Потому что не знал, отпустит ли меня живым Грозный. А еще я боялся вернуться. Боялся, что вновь что-то не получится дома, и вновь придется бежать сюда. Я запутался в себе и уже не знал, где теперь настоящий мой дом, здесь или в России. И как сделать так, чтобы, наконец, остановились эти возвращения на войну? Как вырваться из этого круга? Ведь он не может быть вечным, мой круг бесконечной войны! Ведь все проходит на свете рано или поздно. Когда-нибудь распадется и он. Но порой казалось, что только смерть способна на это.

А впереди бесконечно долгий 2004 год — военный мой роман с еще неизвестным концом…

Алкаш

Сегодняшний день:

…Еще далеко до зачистки. Нас давно согнали с кроватей, чтобы пораньше занять место на старте — глухом городском перекрестке, забывшем живых. Многих людей отправил он в путь, не подсказав по какой дороге идти. На нем бы поставить камень, чтобы при выборе знать, где лево, где право, где потеряешь себя, где потеряешь коня, где сгинете оба.

Уже поползли вверх все стрелки часов. Уже оторвалось от горизонта солнце. У нас нет командиров. Мы сидим на старых упавших заборах и не видим отсюда ни одного жилого двора. Улица — разделочная доска. Покрошенные, как на салат здания, расколотые, как для котла деревья. Если мы встретим живых — успеем устать. Если же нет — вся зачистка не займет больше двадцати минут.

Но нам еще ждать и ждать. И мы, не спеша, расходимся с перекрестка. Русские с русскими, чеченцы с чеченцами. Мы не делимся в деле, но редко вместе, когда нет никакой работы. Мы друг другу не братья. Мы товарищи, но не друзья.

Выбранное нами кафе только открыло двери. Вся русская контра: участковые, дознаватели и следователи, — каждой твари по паре, — мы идем сквозь холодную кухню и спускаемся по

ступенькам во двор, где на побитом бетонном полу построились в два ряда дешевые пластиковые столы. Официантки-чеченки предупреждают, что по случаю утра всё угощение — лагман да пельмени, остальное придется ждать. Но нам без разницы, чем сегодня закусывать.

— Водки! — требуем мы и, подвинув соседний стол, избавляемся от оружия.

Уже середина мая. Давно отцвели сады, и скоро наступит время собирать урожай. Скоро наши зачистки поменяют свое назначение и, вместо людей, мы будем искать в руинах абрикосы, вишню, черешню. А если, дай бог, дотянем до осени, то успеем на яблоки и виноград. Дети холодной России, видевшие фрукты только на рынках и на картинках, мы никогда не думали, что она когда-то исполнится, детская эта мечта.

— Ну, что? По сто грамм и в школу сегодня не пойдем, — тянется к стакану самый нетерпеливый.

В кафе нет других посетителей, и мы можем говорить на любые темы. Да, в общем, нам не о чем говорить, все темы стары, как мир: война и бабы. И сразу не разобрать, что тут тяжелей, толи наличие первой, толи недостача вторых. Кому-то приходит на ум поговорить о Боге, но это уже тоска. А мы еще не слишком для нее напились.

…За нашими спинами безмолвно проскальзывает какой-то шпион — неприметный тип гражданской наружности. «Безоружный», — первым делом отмечает каждый. Кто он такой, нам все равно, но как-то становится тише за нашим столом.

Этот в гражданке ерзает на табурете и не отводит глаз, когда на него оборачиваются. Он что-то шепнул чеченке и уже откупоривает доставленную ему маленькую бутылку. «Наверно, алкаш», — думаю я, глядя на нездоровое в красных пятнах лицо.

Подсесть к нам сразу, ему не хватило храбрости. Лишь опустошив наполовину «читок», он поднимается на ноги и с пьяной улыбкой идет через двор.

— Костя — представляется он и рассеивает все наши подозрения. — МЧС, — звучит второе его слово и ему уже предлагают стул.

Косте за сорок. Он морщинист и сед. Перекинувшись с ним парой слов, хватанув еще по стакану, мы уже оторвем голову любому, кому не по душе наш новый товарищ.

Один человек, кому нет дела до водки — я. Передо мной теряет в массе вторая по счету тарелка.

— Лишь бы в коня овес, — серьезно замечает Костя.

— С этого конь будет… — кивает в мою сторону участковый.

Я глотаю пельмени и даже не веду ухом. Мне нужно

отъесться за вчерашний голодный день, месяц и год. Я кочую шесть лет по окопам, казармам и поездам, и вечно не вижу стола.

— …В коня бы овес, — вновь произносит Костя и сокрушается о своём, — Племянник мой лопает, как проклятый, а сам — хоть насос вставляй…

Мы не знаем, зачем пришел сюда этот «пожарник» — дежурная кличка, под которой у нас проходит любой служивый МЧС. Наверно, не знает и он. Но, видимо Бог, которого мы помянули в самом начале пьянки, привел его, не воевавшего, рассказать нам, воевавшим, страшную правду войны. Правду, на которую мы смотрели и были слепы много лет.

…Я пропустил самое начало разговора и еще не понимаю, отчего никто ничего не пьет. Отчего все уронили головы, и говорит один только Костя.

— …Словно взбесились все! И каждый чуть ли не с Богом за руку здоровается, — тарахтит он на самом краю стола. — Никакого страха. Никакого ни в чем раскаяния. Друг на друга и то волками смотрят. А с нами, русскими, как хозяева держатся… Двое дудуаевцев женщину в соседнем дворе убили. За что убили? Дом отобрать? Если бы. Ни разу не видели пулемет в деле. На человеке решили проверить. А на ком еще проверишь, кроме русского? И детей бы убили, если б соседи не зашумели. А тем дудаевцам лет по семнадцать, не больше. А уже: «Баранов наших пасти будете!»

За этими другие пришли. За теми еще одни. И не в пастухи вербовать… На улицу — не вечером — днем — страшно шагнуть. Уведут — уже не вернешься. Сначала мужчины, женщины, а после и дети начали пропадать…

Да еще и не всегда убивали. Зайдут в чужой двор, как в свой собственный, и давай там развлекаться; хозяина покалечат, хозяйку изнасилуют, скотину перестреляют, напоследок дом подожгут. Всё можно. Никто ни за что не спросит. Зачем, спрашивается, так издевались? Не проще ли сразу убить? А, нет… Хочется морально сломить, дух надорвать в человеке. Превознести себя, избранного, над ним, бедолагой. Смерть-то, она один раз приходит, ее можно стерпеть. А вот попробуй вынеси, когда каждый день тебя бьют, когда за лишнее слово можно калекой остаться, когда стреляют в твоих близких, а у тебя ничего нет, чтобы ответить! Ничего, кроме кухонного ножа, которым вчера пытали тебя самого. Нет за твоей спиной ни армии, ни милиции. А если и были, то разве кто помнит, чтоб русские заступались за русских?

Статью читал я одну про беженку, — все дальше распаляется Костя. Он уже не смотрит на стол, как в самом начале рассказа,

он ищет наши глаза. — Спрашивают ее: «Ненавидите ли вы чеченцев?» А она: «Нет! Я ненавижу русских! За то, что бросили! За то, что не помогли! Не пришли! Оставили!»…

«Зачем ты сел к нам? — горько думаю я. — Зачем испортил нам день?..»

Безмолвные, словно камни, мы хмуро смотрим перед собой и ничего не видим. Нам нужно прямо сейчас выпить водки, но никто не в силах поднять руки.

А этот всё не может остановиться:

— А те, кто издевался над русскими… С ними-то, что стало? Всех ли положили в боях? Всех ли извели в Чернокозово? Да, нет. Лишь малую часть. Остальных, как часто у нас, русских, бывает, простили. А те и сами не верили, эти прощенные, что такое возможно. Их жалели. Их не расстреливали. Им доверяли вновь. Давали в руки оружие. Примеров — любой счетовод собьется. Тот же «Восток» Ямадаева, та же СБ Кадырова. Да, вот только… — уже не успевает переводит дыхание Костя. — Вот только, когда их принимали, кто-нибудь вспомнил, в кого они хотели нас обратить? Кого они мечтали видеть у своего порога? Скотов подъяремных, рабов чернокостных…

…Мы сидим в дальнем углу кафе у разбитой кирпичной стены. За стеной свалился в канаву и тает от дождей безобразный глинобитный студень. Старый неухоженный сад медленно прокладывает себе дорогу во двор. В трещинах пола встают молодые побеги, на столах без боязни танцуют птицы…Ленивый постоялый двор. Мы завернули сюда хлебнуть какого-нибудь пойла, а попали в зал суда в час вынесения приговора.

У нашего самозваного судьи дрожит губа:

— …Хотели сделать нас рабами чернокостными! Как там, у Михалкова: «…Чтобы мы нужду терпели, наших песен петь не смели возле дома своего»! И это мы-то рабы?!. Мы, русские?!. Да, были рабы. Кого обманули, кого украли, заткнули рот, бросили в подвал и посадили на цепь. Были наши пленные, которым не выпало иной доли, как надрывать свою спину на благо других. Работать под побоями от света до света. Дохнуть от этих побоев, не заслужив и могилы…Да, были рабы. Но ведь бежали из плена, кончали жизнь самоубийством, ждали освобождения. Конечно, кто-то остался. Кого-то запугали, уговорили изменить вере и Родине. Были и такие. Но были единицы, были десятки, может быть, сотни. Но ведь не тысячи! Не тысячи!

Помните начало девяностых? С какими плакатами выходили на эти улицы? «Русские не уезжайте! Нам нужны рабы и проститутки!» Они думали, мы будем служить им, думали, приползем к ним на коленях. А только никто не приполз. Никого

не сломили они своими угрозами. Никого не напугали своими бородами и автоматами. Эти русские, «рабы» и «проститутки», умирали здесь, голодали, были много раз избиты и изнасилованы, но не шли за милостью. Не бросались в ноги. Не шли, предпочитая смерть!..А вот собрались мы, наконец, а вот пришло время на равных поговорить с чеченцами! Ударили мы посильнее и… Что осталось от этих князьков, царьков и феодалов? Чем окончился наш разговор? А тем, что они сами бросились в ноги. Сколько чеченцев явилось с повинной на наш порог? Кто-нибудь считал? Нет. А я скажу: тысячи пришли! Да, многие были сильны. Многие сами предпочли смерть. Пересилили этот страх и остались горды. Не потеряли себя. А другие? «Лесные братья», «партизаны», «сепаратисты», «моджахеды»… Те, у кого не было русского духа! Да вон они, живы и по сей день! Вон они, что, имея в руках оружие, с этим же оружием просили у нас прощения…А вот у тех русских, кого убили они, у тех стариков, детей, женщин, мужчин, не было никакого оружия! Они и умирали, не имея средств себя защитить. Но не шли, задрав руки, в плен!..

Мы сидим потрясенные. У нас просто отнялись языки. Потому что мы — русские! И никогда мы не слышали такой правды!

Но он нерусский!!!

— Ты, кто по нации? — выдыхает напротив сосед.

— Татарин. Волжский татарин. Я был здесь в 93-м, видел весь беспредел…

— А как же… — вырывается у кого-то, но он не успевает закончить фразу.

Костя только сейчас подошел к самому главному:

— Сын у меня в первую участвовал… — ломается и падает его голос. — Но уже после погиб. Машина во дворе сбила. Умер там, где родился.

Он молча берет чужой, с водкой, стакан. Молча, не смотря на других, выпивает свой «третий» тост.

За столом слышно, как где-то на кухне возятся поварихи. Слышно, как булькает в Костином горле жидкая вонючая водка.

Непостижимый он человек! Едва переведя после стопки дух, татарин возвращает нам прежнее свое лицо. Темное и спокойное. Без прежней судороги и обнаженных зубов. Ему неловко, что сказал лишнего, а тем более упомянул о сыне. Он не хотел нас расстроить.

— Поесть не успеете, ребята. Не сидите, — виновато показывает он на охладевший завтрак.

Одни тянутся к тарелкам, другие к бутылке.

— А называешь себя русским, — без упрека роняет кто-то.

— Я просто пьян, — по-доброму улыбается он.

…Кончается наше время. Уже разобраны автоматы и заплачено за банкет.

— Тебе куда, Костя? — встаем мы, чтобы уйти.

— Кайнулла, — улыбаясь вновь, говорит он настоящее свое имя.

Но он не может подняться. Он пил меньше всех, но пьян за троих. Ему протягивают руку и отрывают от стула. Костя идет к выходу, опираясь на чужое плечо.

«Все-таки алкаш», — думаю я, глядя, как, шатаясь, он одиноко идет по пыльной улице Грозного. Бывший прилежный родитель, спившийся на нет гражданин, не состоявшийся в жизни судья.

Больше я никогда не встречал Кайнуллу. Маленького седого татарина однажды по пьянке назвавшегося русским. Миновал год моей службы, и я уехал из Грозного.

И если потом я вспоминал эту историю, то никогда не жалел, что не пришлось еще раз свидеться с Кайнуллой. Ведь он уже тогда сказал своё слово и этим лишил себя всякой цены. Да и что было делать за его столом, если я забыл, когда пил?

И все-таки, почему?.. Почему он забыл свою нацию и перебрался в наш стан? Только ли из-за того, что был пьян? Из-за того, что его сын был солдатом России, и его называли здесь русским?

Не знаю. И никак не могу ответить на этот вопрос.

…А может он просто верит в нас, русских? Может, ему просто не в кого больше верить?

Он — нерусский. И верит. А мы — русские, и не верим. Никак не верим в себя.

…Кайнулла. Если ты слышишь, если ты не потерялся в Грозном, поклон тебе до земли за пьяный тот разговор!

Город страшной ночи

Июль 2004 года.
Северный Кавказ:

Лето изменило Грозный. Вдохнуло в него какую-то жизнь и скрыло с глаз безобразные наследство войны — громадные груды битого кирпича, искалеченные до уродства улицы. Потерялись в листве и больше не провожали твой путь мертвые окна домов. Как будто просветлели сплошь черные краски руин. И сгинула,

потонула в дождях, тяжелая тоска унылой зимы.

Словно задумал выбраться из могилы этот безжизненный город. Задумал поднять своих павших, позвать из бегства живых, поставить на место упавшие стены. Но судьба давно утвердила свой приговор. И здесь ничего не менялось, кроме природы. И за зеленой завесой каштанов и тополей едва держались на ногах все те же, что и вчера, развалины. А у ветра не было других свирелей, кроме решета заборов и крыш…Безлюдные километры мусорных свалок, отхожих мест и зловонных руин — вот весь список того, что осталось от Грозного. И всё новое, что он мог еще дать — был чей-нибудь свежий гроб.

И все же было лето! Лето светлого южного солнца, лето душных коротких ночей — золотая моя пора, когда я досыта пил и не мог напиться собственным счастьем!

Лето 2004-го года! Время не проходящих зачисток и рейдов, патрулей и сопровождений, блокпостов и засад. День, что начинался до солнца, ночь, что пробегала без сна…

Оба прошедших месяца меня нельзя было вытащить с выездов, заставить бросить оружие. Мне хотелось разорваться, когда моя группа шла зачищать одну улицу, а вторая приступала к другой. Я вечно отставал от других, потому что хотел войти в каждый разрушенный дом. У меня не хватало терпения дождаться ночного патруля, и я заступал на блокпост. А утром искал виноватых в этом несчастье. Кто-то попадал под обстрел, а мне было жаль, что не я. Я попадал под обстрел, и вновь было жаль, что весь бой не занимал больше пяти минут. Вокруг говорили о приходе боевиков, а я не мог этого дождаться и был готов подняться на первый сигнал…

Я, наконец, понял, какое увлекательное приключение оставил несколько лет назад. Сколько не отсидел засад, сколько не переполз хребтов, скольких не перебил врагов. Или же, сколько упустил шансов самому нарваться на пулю. И теперь мне хотелось лишь одного — везде успеть. Увеличить до предела ночь, продлить до бесконечности день, — и сполна отыграться за эти годы…Мальчишка с тараканами в голове, с автоматом на ремне. И даже на том ремне реклама самого себя: мало кому известная латынь «Vae victis!» («Горе побежденным!») — древняя фраза из древней военной книжки.

Теперь для меня не было иной радости, чем видеть, вставшие у наших ворот армейские БТРы — железные машины войны, что гнали через весь Грозный только за мной…

Поначалу, в первые недели или месяцы возвращения, я не находил себе места от смутных, неясных волнений. От тайной, терзающей душу, тревоги. От давнего больного вопроса: «Для

чего я вернулся?» И в который раз решил обмануть самого себя. Я придумал себе любовь — наивную мечту, которая однажды приведет меня к счастью. К счастью, что обязательно будет, когда завершится война.

Она была выдуманной, ненастоящей, горькая эта любовь, но у меня хватило воображения поверить в нее. А значит, она действительно была. Она не приснилась мне, не пришла в лихорадке, она действительно входила в мой дом. И дрожали стены, когда я слышал ее шаги…

Если бы я был художник, мне было бы легче. Она бы сделалась явью, моя любовь. Ее можно было бы видеть глазами, к ней можно было бы подойти. Но я не имел таких рук, которые знают, как справиться с кистью. И всё, на что я оказался способен — какие-то безумные, не в рифму, стихи. Такие, что самому было стыдно их дважды читать. Но все же во мне бушевали настоящие чувства. Но все же она помогла, вымышленная эта любовь — фальшивая безделушка — порождение моего одиночества, отчаяния и мечты. Помогла мне вылечить душу. Выкинуть всё лишнее и больное. Помогла разобраться в себе, чтобы жить дальше. Я заполнил той поддельной любовью погасшее свое сердце, и заставил его биться вновь.

Но какой ценой пришлось мне поверить в любовь!

…Я едва пережил первый свой месяц. Едва дотянул до весны. Каждый, приходящий на землю день, задавал мне один и тот же вопрос: «Для чего ты еще живешь?»

Для чего? — мне обязательно нужно было дать на это ответ.

Я думал, мне поможет весна. Ведь только она способна возвратить радость. Она — лучший провожатый из государства черной тоски. Откуда я это знал? Не помню. Кажется, тоже вычитал в какой-то глупой книжонке…Вот оно — моё горе! Вот, кто сбил с дороги меня — проклятые школьные библиотеки, в которых я перепутал, в каком мире живу. В книжном или земном. И вот здесь в Грозном жизнь впервые спустила меня на землю. И я увидел, что весна — это лишь грязь, лишь вонь оттаявших нечистот. Самое паршивое время в году. Ведь даже осень и та неразлучна с печалью. А у моей весны нет и простой надежды…Я свалился в такие бездны, настолько пал духом, что однажды понял: мне никогда не найти ответ на вопрос «Для чего я еще живу?«…Так стоит ли жить вообще?

Если раньше я писал предсмертные письма, то ничего не стал делать теперь. Прошли годы и он, наконец-то, умер во мне, тот маленький наивный романтик, когда-то переживавший, что ему откажет военкомат. Теперь меня мало волновало, что после скажут друзья, сколько дней или лет будет лить слезы

родительский дом. У меня не было столько слов и бумаги, чтобы что-то им объяснить. Как и не было другой дороги из Грозного, кроме как на тот свет. Ведь я чувствовал, ведь я знал, что и в этот раз выйду отсюда живым. А, значит, вернусь сюда вновь. А значит, всё начнется сначала: унылые коридоры медицинских комиссий, немые упреки врачей, внимательные — не скрыть ничего — глаза мамы, скорые, как жизнь, самолеты, медленные, как день, поезда, бесприютные аэродромы Моздока, непролазная грязь Ханкалы, и снова Грозный, а может Шали, а может Шарой…

Не могу больше!!! Не могу!!!

О чем же я думал, сидя на заднем дворе отдела, с единственным патроном в патроннике? Поздним мартовским вечером, когда нажимал на курок своего автомата. Да, ни о чем. Всё было давно передумано. Помнится, я удивился лишь одному: оказывается, это не требует большого умения — стрелять себе в голову. Нужно лишь сунуть под челюсть ствол и упереть в землю приклад. И всё. Главное, ни о чем не думать, иначе дрогнет рука…И все-таки я подумал. Мысль, что так и не стала последней, звучала: «Курок вниз».

Но он предал меня, мой автомат — друг и брат, о котором я заботился больше себя. Он лишь наколол капсуль, но не выплюнул пулю…Обычная осечка, которая погубила сотни жизней, но сохранила одну.

Не вставая с земли, поднеся к лицу ствол, я безумными глазами смотрел в черный его провал, пожалевший свинца. Я ничего не видел и не слышал вокруг. У меня заложило уши от едва уловимого звука осечки… Можно было пристегнуть валявшийся рядом рожок, но у меня уже дрожали пальцы. Можно было попробовать еще раз, но я уже захлебывался от слез… Я сидел один на заднем дворе отдела, подальше от фонарей и постов. Сидел и плакал от горя, что никакой я не хозяин своей судьбы. Что только обычный раб, над которым глумится жизнь. Потому, что даже когда я решил от нее избавиться, она просто подменила патрон.

Кто же вмешался тогда? И для чего? Ведь я не приглашал Господа на этот пустынный двор. Потому что никогда не верил в него. Не ходил в церкви, не исповедовался, не ждал никакого прощения.

Да, нет. Никто не вмешался. Просто я — неудачник! Безвольное существо, которое, имея при себе руки, не способно дважды нажать на курок.

…В тот вечер я узнал, что думает перед смертью самоубийца. Никакого пафоса, никаких высоких материй. Все очень просто: «Курок вниз».

…Интересно, когда я буду умирать в следующий раз, какая мысль будет последней?

И вот мне пришлось придумать любовь. Что-то подсказало мне, что если я не могу жить один, то нужно кого-то позвать в свою жизнь. Женщину. Ту, ради которой можно отказаться от следующей дуэли со своим автоматом. И ей совсем не обязательно знать об этой любви. Она должна быть и ничего больше. Как бывают на небе звезды, как случается у людей и горе, и счастье. И я нашел эту женщину. И мне действительно сделалось легче…

Но не могла существовать вечно выдуманная мною любовь. Её ведь никогда не было, она ведь никогда не являлась в Грозный. И вот ее подменила привычка. Привычка обходиться без любви. Однажды я вспомнил, что так уже было раньше, что если нет любви, можно жить без нее. И от её отсутствия вовсе не рушится мир. Этому когда-то меня научила Армия. И теперь я забыл даже сны, ради которых когда-то так торопил ночь. Ничего не осталось от моей любви. Оказалось, она была мертва в самом своем рождении.

Вот так. Прошла болезнь, а горе нет…

9 мая на параде нашей Победы погиб президент Чечни. Весть о его гибели в один день облетела половину земного шара. Хрупкий мир, который в течение этих месяцев строил первый президент российской Чечни, рухнул в какой-то час. Словно по всей республике дали выпить живой воды загибавшемуся бандитскому подполью. Еще не были справлены последние тризны, а уже с новой силой застучали на улицах Грозного автоматы. Потянулись в горы новые толпы желающих пограбить наши колонны. Рванули обратно в лес многие нестойкие «гвардейцы» покойного президента. Словно повернуло вспять время. Еще весной, в апреле и мае, нас не убивали так часто на эти улицах. Еще вчера можно было вести счет всем обстрелам. А что теперь? А теперь вновь начали пропадать люди. Кого не удавалось отыскать в первый день, через неделю находились сами; изуродованные, расчлененные, на дне нефтеколодцев и выгребных ям. Проще было опознать убитого, когда на трупе болтались обрывки какой-нибудь формы. Сложнее, когда штатские штаны и рубаха. Вновь забрызгали кровью обочины дорог самодельные фугасы и мины. Их ставили по ночам, а приводили в действие утром. Чаще всего подрывались на них саперы и инженерная разведка. Что до ошибки, на которую не имеет права сапер, то не всегда подтверждалась эта истина. Ошибались. И по два, и по три раза подряд. И не всегда платили за это оторванными ногами. Кому-то везло, кому-то нет. Обычный

закон войны. В Бога верили все. Но редко кто признавался в этом. Меньше саперов подрывались остальные вояки, кадыровцы и милиция. Этих стерегли на рынках, на блокпостах, у больниц, в разных глухих углах. Им чаще стреляли в спину и реже в лицо. Иногда от фугасов перепадало проезжавшим колоннам и случайным прохожим. Последним просто за то, что шли или ехали мимо. Однажды погиб какой-то гражданский. Прибывшая его опознавать старуха причитала только одно: «Последний! Последний сынок мой!..» Где умерли или погибли другие, никто не спрашивал.

Больше и охотнее всего убивали ночью. Если днем смерть еще стеснялась своего выхода в свет, то ночью не стало от нее никакого спасения. Мы уже позабыли прежнее время весны, когда была новостью какая-нибудь бестолковая ночная перестрелка, когда кто-то случайно слыхал про пробравшихся в город боевиков. Теперь с наступлением тьмы бандиты ставили на уши весь город. Там обстреляли комендатуру, здесь подорвали блокпост, в соседнем переулке расстреляли ночной наряд, пробрались в дом местного милиционера, вырезали семью, завербовали нового камикадзе, отправили на тот свет еще несколько душ… Не пересчитать. В горах стояло сплошное светопреставление. Там валили, валили и валили… Как-то мы наладили тайную связь с нашим армейским штабом и сами взялись считать. К их потерям прибавляя свои. Мы думали, такого не может быть!.. Не верили сами себе и запрашивали вновь вчерашние цифры. И снова всё подтверждалось. Выходило, что Республика выдает по сорок-пятьдесят гробов и похоронок в неделю. Одних только военных и милиционеров. Ничего себе конвейер!.. А включали телевизор и слышали прежнюю ерунду: «Удачная спецоперация… Незначительная перестрелка… Налаживается мирная жизнь…» Какая там мирная жизнь?!. В один день в каком-то районе с одного двора вытащили из нефтеколодцев шестнадцать трупов!

А мы? Разве сидели, сложа руки? Нет. Торчали на площадях, ставили заслоны на улицах, шастали в комендантские патрули. Недосыпали каждую ночь. Но вечно не успевали. Вечно на шаг отставали от боевиков. Почему-то они легко обходили все наши засады, разгадывали любые наши ловушки. И всегда стреляли первыми. И редко, чтоб не по цели.

Оказалось, это так сложно — дождаться утра. Мы поняли вдруг, как безмятежен наш день со всеми его несчастьями. День, который целиком проходил на ногах, средь уличных развалин, в одной упряжке с ОМОНами, СОБРами, ВВ, СБ, ФСБ, — всеми, кого вмещал в себя город. День, на который нам всем не хватало сил.

За одной зачисткой следовала вторая, за второй третья, и не было столько людей, чтобы справиться с Грозным. И даже приходившие на помощь армейские части Северного, Ханкалы, Урус-Мартана, Шали, и те не могли ничего изменить. Огромный город поглощал всех. Чем больше нас собиралось в нём, тем больше было зачисток, тем больше мы не успевали и уставали…Но прекращал свои издевательства день, и в город вползала ночь. И раздавала билеты на все заслоны и блокпосты.

О, ночи Грозного!.. Многосерийные фильмы ужасов, которым не будет конца. Ночи, сделавшиеся смертельным нашим испытанием, нашей бессрочной вахтой. Сколько хороших снов упустили мы в жизни охраняя Минутку, сколько зеленых лун прокатилось над нами, пока мы держали Сунженские мосты… Сколько мы вытерпели дождей, сколько перенесли туманов, сколько крови отдали комарью… И всех мы проклинали больше врагов.

Но они стоили себя, эти ночи! И те, кто заплатил жизнью во тьме, не нашли бы за них более подходящей цены. Потому что Грозный ночью — это картина достойная таланта! Их можно награждать золотом, всех художников-самоучек, кто когда-то трудился над этим полотном. Подносил снаряды, наводил стволы, ронял с неба авиабомбы. Всех, кто не жалел себя, создавая этот шедевр.

…Черный-черный город. Выходишь за ворота как в дикий лес. У обочин в человеческий рост бурьян, за обочинами, прописавшиеся в квартирах деревья. Километр вперед, километр назад, — ни одной бродячей души. Только камень да пыль. Ни одного фонаря на согнутых столбах, ни одного огонька в разнесенных дворах. Раскатанные под ноль дома, засыпанные стенами и крышами улицы. А по улицам ходит страх. Невозможный могильный страх, с которым справится только рассвет. А между домов шныряют дикие пули. Они несутся из тьмы и валят любого с самых устойчивых ног. А над городом висит бешеное эхо канонады — обязательный поздний концерт спятивших батарей…Город Страшной Ночи! Киплинг, ты не видел его. Он начинается не за Делийскими воротами, он начинается здесь, в трех километрах от Ханкалы. Ты просто перепутал дорогу и не оказался у нужных стен. Но ты умер, Редьярд, и нет тебе судьи по твоим делам…Но я допишу за тебя неоконченный твой рассказ. Я поставлю точку в столетней этой истории.

И снова Грозный. И снова гробы, слезы, беда…

А еще я вдруг только сейчас увидел, что всё, всё, было напрасно. Вся наша кровь, все наши жертвы — это было не нужно здесь. Мы зря тратили столько сил и жизней на эту Чечню. Мы

столько разрушили здесь, создали вновь, столько пролили пота на этой работе, столько хороших ребят положили на ней, а оказалось, всё зря. Они были никому не нужны, наши подвиги, о них никто не знал, о наших страданиях.

Когда-то мы прошли с победами по этой земле, это перед нами, срывая с себя погоны, бежали армии разных стран. Наемная сволочь всех континентов. Кто-нибудь еще помнит, на какую глубину зарыли их вонючие трупы?.. И вот теперь, когда окончился этот победный марш, миновал и час нашей славы. Мы никому не нужны здесь. Мы не нужны Чечне, на нас плевала Россия. Мы сидим здесь, словно в гнилом болоте. Завязли в перестрелках, остановились на минных полях. Ни вперед, ни назад. Нам стреляют в спину, нам смеются в лицо. Мы больше не командуем на спецоперациях, нам больше не верят в высоких штабах. Нас подменили другими. Мы первые только там, где надо погибнуть. Но последние, когда награждают за смерть.

Мы не пожалели себя для этой земли, не поступились жизнями для этого города, а их вернули чеченцам. И не тем, кто шел с нами в атаки, а тем, кто бил нас в этих атаках.

Где теперь искать справедливость? К какому идти президенту рассказать о том, что случилось? К русскому или чеченскому? И хватит ли сил у нас выстоять у порога, пока откроются двери?..

Да только мы уже никому не верим. Никакому русскому или чеченскому президенту.

Когда-то мы заставили себя уважать. Но сейчас нас предали.

Нефть… Золотые реки Чечни. Черная кровь земли, перемешанная с людской, её багровые зарева пылающих скважин. Непоправимое горе Кавказа…

Неужели только из-за нее, из-за этой смердящей дряни, все эти годы плакали мамы? Бежали и не могли убежать от снарядов дети и старики. Дрались между собой мужчины. А видели ли они, эту нефть? Макали ли в неё свои руки, умывали ли ею лицо? Нет. Только слышали про нее. Только могли ее проклинать. Они ничего не нажили с тех богатств, что лежали у них под рукой. Ни кола, ни двора, ни куриного пера. Ничего, кроме горя. Никого, кроме врагов.

Нас обманули, всех русских и всех чеченцев. И мы зря воевали друг с другом. Все колы и дворы встали далеко за нашей оградой. Все куриные перья пролетели мимо наших домов. Вся слава и все богатства от этой войны попали не в наши руки. Всё досталось политикам, правителям, владыкам и повелителям…

А значит, и правда, всё было зря?!

Выходит, что так.

…Всё, что было здесь до нас, до первой и второй войны,

вернулось на свои места. Зачастую не изменились даже лица. «Мы знаем его, — показывали на того или другого чеченцы. — Он у Дудаева был министром, потом у Завгаева был министром, потом, в августе 96-го, бросил своих ребят, трусливо бежал в Россию. Сейчас снова министр…» Взамен тех, с кем мы бились вчера, взамен разгромленным бандитским полчищам, встали другие. Но уже не потрепанные лесные отряды, не зажатые в угол мстители. А целые армии. Хорошо вооруженные, натасканные в боях злые головорезы. Они лишь недавно перешли линию фронта, лишь недавно сложили оружие. И получили взамен прощение, получили новые винтовки и автоматы. Кадыровцы, ямадаевцы, кокиевцы, службы безопасности, непонятные охранные подразделения… Тысячи людей в камуфляжах, преданные тому же вчерашнему ремеслу — таскать и не выпускать из рук, заляпанное кровью оружие. Они никогда не скрывали своего прошлого, своего презрения к нам. Они продолжали называть нас «собаками», и гордо именовать «волками» себя. «Аллах над нами! Россия под нами! Победа за нами!» Они, битые нами, заняли такие высоты, такие посты в республике, что можно было уже ставить вопрос: кто же кого победил? А мы — униженные трудяги войны — покорно сидели на самой низкой ступени, воздвигнутой нами лестницы.

Ничего, ничего не изменилось! Никакие, направленные сюда деньги, никакие золотоносные скважины, не оставили здесь и гроша. Всё это шло мимо уже много лет. Оседало в карманах, ложилось на банковские счета, всегда утекало за пределы Чечни. И сколько бы не бились друг с другом армии, сколько бы не оставляли за собой трупов, ничего не менялось вокруг. Всё та же, что и всегда нищета, всё те же, что и прежде руины. И все мирные и военные договоры, все смены правительств и президентов — не больше, чем кукольная комедия с заранее разученными ролями. Комедия, в которой, невидимый зрителям, дергает за ниточки безжалостный кукловод.

Вся наша война — это дешевый театр, куда приходят поплакать одни и посмеяться другие. А мы-то в нём кто? Куклы? Нет. Этих хоть видно на сцене. Мы лишь опилки, труха, которой они набиты. Легла рота или батальон, стерли с лица земли аул или село, — кончилась, высыпалась эта труха, и исчезает со сцены кукла. И ей на смену приходит другая. И нет надежды, что умрет кукловод…

Затянулась эта «контртеррористическая операция»… Высосала все соки из выживших своих участников. Нам уже не за кого мстить здесь, нечего разрушать, мы устали и хотим только одного: чтобы скорее всё кончилось. Хотим встретить утро без

оружия, хотим уехать отсюда и знать, покидая Чечню, что больше никогда в неё не вернемся. Хотим, чтобы наступил мир, при котором бы навсегда загнулась наша болезнь — воевать.

А вот всё звучат и звучат выстрелы. А вот не на запад, не на восток, а всё больше на юг, не хватает билетов у воинских касс.

Мне кажется, это кончится только тогда, когда нас всех поставят друг перед другом между двух стен. Всех против всех. И даже если не будет оружия, мы зубами разорвем вражьи глотки, мы камнями разобьем черепа…Какая разница, сколько погибнет живых. Главное, мы завершим эту бесконечную «контртеррористическую операцию».

…Меня вновь захватила ненависть. Она наконец-то приковыляла из прошлого и поселилась в Грозном. Это произошло какой-то день или неделю назад. Я думал, потерял ее навсегда в горах Ножай-Юрта и Ведено, думал, больше никогда не увижу. Я испытал в Грозном все чувства: любовь, отчаяние, грусть, но как-то забыл о ненависти. И вот она сама отыскала меня. И я так рад ее возвращению! Как изменился теперь мой несчастливый, унылый Грозный! Сколько сил обрело уставшее мое сердце!

Я исцелился от горя! Я вновь ненавижу!!! Мне снова хочется убивать и смеяться от радости после этих убийств. Я закипаю от ярости, если нет выхода в город, если кто-то идет за меня. Из меня не вытащишь слова в любом разговоре — мне хочется ударить болтающего в лицо; и я не поднимаю от пола глаз, чтобы этого никто не увидел. Я ненавижу весь мир: товарища, что на ходу кивает «Привет», солнце, что без толку мается в небе, драную тряпку, лежащую у порога, все слухи и каждую мелочь. Если раньше я направлял ствол на себя, то теперь мне хочется перебить и своих и чужих.

Я рад ненависти. Потому что знаю: за ней придет пустое холодное безразличие — единственное лекарство, которое поможет душе. Так было уже в Ножай-Юрте и Ведено, так будет и в Грозном. Скоро меня оставят все чувства. И перестанет сводить дыхание, и не будет зашкаливать сердце. И ничего не расскажут пустые, как брошенное жилище, глаза.

…Город Страшной Ночи. Вон он, сразу за воротами, наш разрушенный город, который уже не называет себя нашим. Не надо сбивать ноги, чтобы его найти. Он сам находит тебя через полчаса после заката. И ты вновь теряешь свой сон. И вновь выходишь на КПП, за которым ждут тебя неизвестность и мрак. Опять пылишь по дороге, которой не будет конца. А над тобой, невидные в темноте, колышутся рваные провода столбов, висят колоссальные башни развалин. А выше, не разглядеть и вовек,

летит по черному небу или уже падает с него счастливая твоя звезда…

Это не жизнь. Это песня. Мелодия высокого таланта…

Путь в Иерусалим

Сегодняшний день:

Лето четвертого года… Тревожное лето Чечни. Время брожения умов, время горячих голов, пора расцвета анархии и бандитизма. Золотой период безвластия между двумя президентами. Каждый вчерашний царский опричник — сегодня сам барин и князь. Каждый отдел, гарнизон и блокпост — крохотная демократия или монархия. У опустевшего царского трона — целые толпы новоявленных президентов. Одни с деньгами, другие с войсками. И неясно, кого толкать в шею, а кому броситься в ноги.

В этих больших политических играх, когда каждый замахивался на Грозный, а нюх держал на Москву, когда все рванули во власть, совсем забылась война. Ее оставили где-то за кадром, за кандидатскими шоу и откровениями, за дверями партийных собраний, где каждый болтун зарился на долгожданный министерский портфель. Чечня готовится к выборам! — вот была главная новость республики. И тем, кто тянулся к короне, было не до войны. Они сами объявляли войны, но не бандитам, — друг другу или самим себе. Один вызвал на бой коррупцию, другой брался покончить с зачистками, третий мечтал построить рай на земле… А в это время Чечню трясло от террора. От грохота взрывов, от стука сапог, от рева двигателей. Не знала покоя Армия, не думала про отдых милиция. На запруженных дорогах не успевала садиться пыль. Колонны, колонны, колонны… Что ни день, то новый поход, что ни ночь, то снова тревога. В Грозном, Гудермесе, Итум-Кале на устах одни и те же слова: боевики готовят реванш, боевики окружают город, боевики сегодня ударят. В Автурах, Курчалое, Шарое уже не до слов. Там уже отражают атаки, уже плюются кровавой пеной, уже нагружают «Черный тюльпан«…А вокруг: «Обеспечить достойное проведение выборов!» А в ответ: «Не то, что пуля — муха не пролетит!»

Так все и было. На величавых ступенях дворцов, в княжеских спальных покоях, складывались новые союза, зрели новые заговоры. А внизу, в халупах презренной черни — в армейских русских палатках, в городских чеченских развалинах — никто не был уверен, что завтра не начнется третья чеченская. В Грозном носились слухи, что город продан боевикам, что завтра в него явится лично Басаев, что вся кадыровская гвардия присягнула ему на верность, что вот-вот затевается вывод войск. «Сплетни!» —

думали мы. А потом смотрели, как через наши блокпосты бегут из города люди. На машинах, на мотоциклах, велосипедах или пешком. Все с сумками, с детьми, какие-то невероятно спокойные и безучастные. Будто не от войны спасали себя, а лишь оставляли свой надоевший очаг. Ни жалоб, ни слез. Ведь так прошло уже много лет. И никого ничем не пронять. Хоть камень на шею вешай…

…Лето четвертого года…А было ли оно, это лето? А не приснился ли мне Грозный? А служил ли я когда-то в милиции?

Я уже не верю и самому себе… Неужели всё это было?..

Эти вечные хождения по городу, от которых отказывали ноги. Эта бесконечная уличная стрельба, которую перестали все замечать. Эти коварные вражеские засады, в которых, не дождавшись тебя, убили других. Сами, эти убитые, с невероятными ранами груди, головы, изуродованные и обгоревшие. Их вдовы и сироты, безумно кружащие в черных платках по плацу отдела, после того, как опознали труп… А твоя надежда на завтрашний день?! Эти переживания, что вряд ли до него доживешь…

Сколько всего было там! Сколько забылось, ушло в забвение, пропало навек. Как мало осталось от той страны, имя которой — Грозный! И какой бальзам для ран, эти воспоминания!

Сколько всего было, да сплыло…

Редкие, что можно сосчитать и сейчас, мои выходные, когда, бросив в комнате камуфляж, я сбегал из отдела с одним пистолетом в кармане трико. Не к женщинам, не в бани и кабаки, которые, пусть не надолго, но заживляли раны души. Сбегал посмотреть, где кончается Грозный — ограбленный нищий, в котомке которого ничего, кроме принесенного ветром песка. Бежал к тем руинам, которые еще не воспели поэты. В те безвестные дали, куда не довела меня сотая или тысячная по счету зачистка…

Я помню дом в Черноречье…Если вернуть окнам стекло, поднять из травы почерневшие двери, да поддержать оседающий потолок, в нем можно было бы легко пережить лето. Строгий, холодный дом с пустыми кабинетами комнат… Чего-то не хватало в нем. Какой-то небольшой, но очень нужной вещи. Всего одной вещи… Не замка на несуществующих дверях. Нет. Не хватало на голых стенах старинных настенных часов. Часов, которые бы сломали мертвую послевоенную тишину…

Мои походы с инженерной разведкой комендатуры… Ленивые марши по улицам старых развалин… Теплые туманы Минутки, запущенные сады Ленинского проспекта, безобразный жилищный хлам у поворота на Ассинскую: не шире детского шага

обломки, не выше речной волны стены. И восходящее надо мной красное солнце Чечни… А я не вижу и малость от всей красоты. А я еще не открывал в это утро глаз. Но иду, потому что наизусть знаю маршрут. Иду и вижу сны наяву. И мне всё равно, под каким сапогом сработает мина, у какой обочины лопнет фугас…

А 26-й блокпост!.. Мой печальный каменный дом, в лабиринтах которого вечно сидела тьма. Где и в фальшивый солнечный день не было видно без фонаря. А в звездную и беззвездную ночь, словно в старинном замке, горели длинные белые свечи… Что с ним стало теперь? Рухнул ли этот храм романтики и войны? И от скольких ударов он свалился на землю?..

И перекресток Ханкальская-Гудермесская — замусоренная развилка, у которой начиналась моя самая несбыточная мечта — дорога из Грозного. А в начале этой дороги, на двух железных столбах, яркий плакат с гордыми, на все поле, словами: «Жить в Чечне — быть героем!»… Много раз я думал сфотографироваться под этим плакатом. Много раз откладывал всё на потом. Да так и проворонил время. Да так и не стал героем…

Вот бы изорвать календарь, что отправил всё это в прошлое!!!

Всё было, да сплыло… Прошли годы и в них нельзя поверить, в эти истории. А ведь это я, и ни кто другой, был участковым города Грозного! Ведь это я посвятил ему жизнь! Единственный сумасшедший, кто подался туда не за деньгами или идеей. Кого привела за руку светлая муза поэзии. Заговоренный которой, я прошел мимо фугасов и автоматных стволов.

О, Кавказ!!! Поэтический Иерусалим моей души! О, Грозный!!! Храм моего Иерусалима!.. Мне бы снова туда, где чернее черного горя был ясный безоблачный день, где громче громкого грома стучало в груди мое сердце, где никакой автомат не разил с такой силой, как стих…

…В конце августа в городе гуляли боевики. Они как-то просрочили свой «день независимости» и, вместо утра 6-го, появились лишь вечером 21-го. Сколько их было, нам неизвестно. Говорят, от полутора до трех сотен на целый город. Не так уж и много. Но при толковой организации налета и этого оказалось достаточно. Весной в «мирном» Грозном поснимали с магистральных улиц многие блокпосты — мол, завершили войну. Добрым этим подарком умело воспользовались бандиты. Они вышли на улицы в форме и в масках, заняли освободившиеся перекрестки и с удовольствием настреляли полсотни тех, кто носил погоны. Да прибавили к ним пару десятков замешкавшихся гражданских.

Боевики выставили на дорогах посты, якобы, для очередной

проверки документов — нормальная практика в Грозном. Всех, кто вытаскивал из кармана красные служебные «корки», на месте пускали в расход: кадыровцев, милиционеров, военных, прокурорских… Еще и убивали в лучших традициях документального кино. Всё театрально, на показуху: выведут из машины, положат рядком на дороге и по очереди каждому пулю в затылок. А, уходя, бросят на спину, как предупреждающую табличку, раскрытые красные «корки».

Одни группы орудовали на дорогах, другие обстреливали из гранатометов рядом стоящие отделы милиции, комендатуры и избирательные участки. Обстрелы были вялые, негодные, больше для запугивания, чем для дела. По настоящему трудились лишь на дорогах. Там били без промаха. Погибли все те, кому в тот вечер не сиделось дома или в отделе. Кто ездил или ходил по Грозному.

У нас — никакой организации, никакого взаимодействия. Будто мало тут били последнее время. Все заявления о контроле столицы в эти предвыборные дни, оказались обычной липой. От командования ничего, кроме растерянности. После докладов о первых выстрелах и первых убитых, прислали какой-то приказ с Ханкалы: «Не покидать подразделений». Там даже завели технику, собрали людей в помощь Грозному, да так и оставили на местах. Одни говорят — сберегли людей, другие — предательство.

Конечно, не смотря на приказ, многие пустили в город пешие патрули на помощь погибающим своим. Но это мало что решило.

Опомнились уже после. Только на следующий день. Подняли тайных осведомителей, шпионов и агентуру. Начали кого-то задерживать. Да, единицы. Никто ведь не ждал, пока его схватят. Помельтешил здесь немного, нагнал страху, сократил чью-нибудь жизнь да, сев в трофейную машину, спокойно подался из города.

Утром другого дня по всему Грозному собирали свежие трупы. Больше всех было жаль, убитых в Старых Промыслах солдатов-срочников местной комендатуры. Все эти перестрелки, стычки, бои, засекретили буквально на следующий день. И никто не узнал, что же на самом деле произошло здесь вечером 21-го августа. Нас лишили правды о наших потерях и по городу поползли самые невероятные слухи. К сентябрю уже невозможно было разобраться, сколько погибло этих и тех. Да ладно, если бы только цифры. Кто-то из мирных, кого пощадили бандиты, начал вдруг вспоминать, что это были даже не мужики чеченцы, а сплошь бабы и негры. У негров только гранатометы, у баб одни снайперские винтовки. Другие лично видели, как после своего рейда боевики садились в вертолеты на окраине Грозного. А за

штурвалами тех вертолетов сидели генералы из Ханкалы… Слухам не было ни числа, ни предела… Не отставало и телевидение: «…федеральными силами проводилась очередная спецоперация. Боевики начали стрелять первыми… Потери последних: до пятидесяти убитых и взятых в плен…» Еще дальше шел один важный военный. Было неясно, то ли он поглумился, давая свое интервью, толи просто, решил помахать кулаками после проигранной драки. Вот отрывок из газеты, где он рассказал, что было на самом деле: «…военные узнали о готовящейся операции еще в начале августа, поэтому по местам скопления террористов были нанесены упреждающие удары… 21 августа за час до намеченного бандитами выступления по ним было нанесено огневое поражение, что позволило сорвать их планы… только единицы из боевиков смогли лишь издали пострелять в сторону намеченных целей»…

В городке Грозного Нефтемайске боевики остановили машину с двумя молодыми чеченцами. Оба были далеки от погон, но на одном сидели камуфляжные штаны, что и насторожило «работников блокпоста». При разборе полетов — кто и откуда? — один из парней, и даже не тот, кого за штаны взяли на мушку, вытащил из кармана фальшивое удостоверение милиционера, купленное у кого-то за деньги или добытое по знакомству. Этого хватило. На следующий день хоронили обоих.

Интересный случай на перекрестке Мусорова-Нагорная:

Боевики выставили заслон, на котором чуть позже расстреляли несколько машин, убили несколько человек. В момент их появления, на перекрестке торговал самопальным бензином мальчишка-чеченец четырнадцати лет. Торговал не за какой-то скамьей с банками и канистрами, а прямо из кабины пятитонного бензовоза. На всякий случай бандиты решили от него избавиться; расстрелять — и дело с концом. Спасли пацана две чеченки. Буквально, вырвали из рук: «Ребенка за что?!!«… Кончилась эта маленькая война, и уже на следующий день ребенок вернулся к своей контрабанде. На брошенный бандитами пост заступил наш РОВД. Я стоял там два дня и так и не понял, для чего оставили жить этого спекулянта. Оба дня на его цистерне надрывно хрипела старая аудиоколонка: «Армия Джохара — Армия свободы! Армия возмездия! Армия народа!..» — Тимур Муцураев — известный поэт, изгнанник, бандит. Почему мы, вместо пацана, не расстреляли хотя бы колонку? Да неудобно было… Парень итак пережил… Чуть не убили всё-таки… Музыку заткнул кто-то из чеченских милиционеров. «Хорошо Тимур поет, — подошел он после ко мне, — красиво. И голос есть и боль в голосе. — Он замолчал и через мгновение плюнул в сторону: —

Только вот, у кого башки нет, наслушаются его песен, и идут потом в лес за романтикой…»

Верно сказал чеченец. Но меня интересовало другое: когда эта «Армия свободы» пыталась прихлопнуть своего поклонника, он всё еще продолжал её боготворить? Всё еще мнил, что сейчас все опустят оружие, прослезятся и пригласят его в свои ряды?

Боевики, пусть ненадолго, на какое-то время расшевелили врага. Загудел, как растревоженный улей Грозный, завозилась в своих штабах Ханкала. В первый нагнали войск, вторая погрузилась в еще больший маразм. Но что-то сработало. Стал пошире да побогаче наш улов. Чаще стали таскать пленных. Последних подводила собственная самоуверенность и расслабленность. После удачного набега, они утратили прежнюю осторожность. Как известно, победа пьянит. Какая-то часть этих узников попадала и к нам. Прошли прежние времена и уже не каждого везли в Чернокозово.

Их было немного, кого отправили в наш отдел, и я почти никого не запомнил. Да это была и не моя работа — возиться с пленными. Я — не следствие, не уголовный розыск. И присутствовал там больше из любопытства. Но одну беседу запомнил до мелочей:

…Мы допрашиваем пленного боевика. Его недавно спустили с гор, он еще не снял камуфляж, но уже потерял всякий страх. До нас с ним возились в каком-то спецотделе, пока не наскучило. Мой ровесник. Обычное, может лишь через чур худое лицо. Подгнившие у корней зубы, которые он не прячет, когда улыбается. В глазах веселые огоньки, на устах шутки да прибаутки. «Мало лупили», — понимаю я.

В наручниках на тонких руках он сидит на скамье для задержанных и, словно не в плену, а на телевидении, дает интервью:

…- Фугасы закладывал. Сколько уже не помню, но на трех точно подрывы были. И погибшие были. Последний раз УАЗик с военными у Дышне-Ведено. Броню их пропустили, а машину взорвали… Два предыдущих фугаса где-то в лесу. Не у села. На карте могу показать…

В боях был. Но мало. И там стрелял. Может и убил кого-то. У нас ребята были, кто давно воевал, эти счет вели… У кого по десятку и больше ваших. Хорошо воевали… Я с ними в Бачи ходил, когда совсем еще ничего не умел. И прятаться научили, и нападать тихо и уходить без погони. Погибли потом многие. Но в основном молодые гибли, кто только пришел. Такие, как я. Пока всему научишься…

Чеченец спокойно болтает ногой и даже не следит за

словами:

— …С пленными нормально обращались. Их не трогали почти. Где-то били, но в других отрядах. У нас такие в ямах сидели. Иногда делать что-нибудь помогали. Они нищие — с них и взять нечего, кроме работы. Все солдаты, призвали недавно… Сбегал один, но мы не нашли. Сильно не переживали, еще добудем. А ушел он вряд ли, район-то весь наш — чеченский. Русские не ходят. Кто-то наверно поймал, себе забрал, а может и убил…

— Давно из дома ушел? — обрывает его откровения опер.

— Два года, — вновь улыбается чеченец. — Не жалею, что попался. Надоело. Отдохну у вас…

Я собираюсь заснять мерзкое это лицо.

— Садись рядом! — подмигивает радостно он. — С ваххабитом сфотографируешься!

Я открываю «мыльницу».

— Нет, — поднимает он руки к лицу. — Один не буду…

…Мой ровесник. Замученный голодом, зараженный болезнями, хилый, что можно одним ударом бросить на землю. На такого не глянет женщина, его побрезгует вызвать на драку мужчина. А ведь этот, заросший грязными волосами скелет, убивает людей. Всех, на кого ему покажут пальцем. И не себе подобных убожеств с походными гастритами, с простудными радикулитами. Убивает сильных, высоких, здоровых — кого бы в другое время побоялся даже оскорбить за спиной.

Я бросаю в стол ненужный фотоаппарат.

— Ты, чего в горы подался? За местью?

Боевик пожимает плечами:

— Разве за всех отомстишь?.. Деньги нужны были. Война — тоже работа. И работа лучшая, чем на кого-то гнуть спину… Но всё равно мало платили, перебои были с зарплатой. Мне не хватало. Да и другие жаловались. Я думал, всё не так будет… Ребята говорили, мол, не туда пришли. Надо было к тем, кто заложниками торгует. У этих всегда деньги…

— Значит, тоже не туда пришел?

— Куда пришел, туда и пришел, — усмехается чечен. — Мне заложники не нужны. Там долго никто не живет. Ни заложники, ни хозяева.

— Многие тут поют, заставили, мол… А, ты, что ответишь? — негромко продолжает опер допрос.

— Меня не заставляли. Говорили: давай, мол, тоже иди. Но не заставляли. Могли, конечно, но это лишнее. С такими, кто под угрозами, много не навоюешь. Там, в отрядах, это тоже понимают. А деньги лучше любой мести привязывают…Вы ведь

тоже здесь не бесплатно? — совсем путает небо и землю бандит.

Ему, сидящему сейчас с улыбкой на губах, привыкшему мерить деньгами весь мир, не приходит в голову, что есть вещи, которые не продаются. Что у нас тоже есть Родина, есть собственный дом, ради которых мы здесь. И, не дождавшись ответа на свой вопрос, он думает, что загнал нас в тупик.

— Ты, что такой радостный? — теряет терпение опер. — Ответить за всё не боишься?

— Не боюсь. За всё отвечу, — смотрит прямо в глаза боевик.

— Что тебе будет-то, знаешь?

— Ничего не будет, — уже расслабляется он. — Отпустят скоро…

— Куда отпустят? — включаю я дурачка.

— Куда всех: в СБ, — повернувшись к окну, совсем уходит из-под нашей власти чеченец. — Точно говорю, — лениво зевает он.

В кабинете словно остановилось время. Не скрипят под ногами полы, не тревожатся на стенах тени. Тишина, будто в целом мире в живых только я, два опера и боевик…Мы сидим неподвижно, уставившись в пол. У порога валяется сломанная пополам сигарета; один из оперов так и не смог прикурить. На столе брошена замызганная синяя ручка; давно ничего не записывает другой. Слишком много слов позволил себе бандит.

Но он уже понял. Медленно, отворачиваясь от окна, чеченец выпрямляет худющую желтую шею. Вдавив пальцы в скамью, он настороженно водит по нам глазами. Слышно, как сбилось его дыхание.

…Я ухожу в город и только к вечеру возвращаюсь в отдел. У крыльца, сидя на корточках, докуривает опер, ведущий допрос.

Я киваю в сторону кабинета:

— Всё улыбается?

— Перестал, — встает на ноги опер. — Два раза в умывальник водили… Сейчас еще поведем.

…Приходит ночь, а со мной поссорились сны. «Здесь что-то не так, в этой войне, — лежа в кровати, думаю я. — Она началась не с голоса Левитана, идет не по военным учебникам, и кончится не парадом у Мавзолея. Здесь все смешалось, свои и чужие… Они свободно переходят из лагеря в лагерь, и не преданны ни одному из них. Им легко помутить деньгами умы, они ничего не чувствуют, делая самое чёрное дело. Славяне идут наниматься к чеченцам, чеченцы хотят служить у славян… Чего-то не хватает в этой войне, чтобы расставить всё по местам. Где-то недоглядели те, кто ее развязал.

Вот и сегодняшний пленный ни во что не ставит свой плен. Был здесь один до него: «Оружия не положу! Расстреливайте — не

исправите. Отпустите — дальше воевать буду» — достойные мужчины слова. А этот?!.. Рад, что поймали, решил у нас отдохнуть…

Наверно, у каждой войны должна быть идея. Потому что без нее не бывает победы. Потому что с ней не бегут «отдыхать» в чужие окопы солдаты. И человеку легче идти на смерть во имя какого-то идеала. За «светлое будущее», «за Родину», «за Сталина», «во имя интернационального долга». Так было в Гражданскую, в Отечественную, в Афганскую. Солдат должен знать, что за словами «Никто не забыт! Ничто не забыто!» будет стоять и его имя. И это не важно, дойдет ли он до Берлина, оставит ли за собой Кабул или же протянет ноги в первом бою. «Их подвиг бессмертен!» — вот главные слова для каждой войны. «Белые» потеряли идею и не взяли Москвы. Непобедимый немецкий рейх оказался слаб перед теми, кто защищал свою землю. Оболгали Интернационал, и незачем стало воевать с душманами.

Правы были чеченцы, что, готовясь к войне, наперед оружия подняли идею. И она счастливо служила им от обороны Грозного до торжества Хасавюрта. Ведь не даром давились хлебом все местные Геббельсы, одним только словом поднимавшие на ноги всю Чечню. И мятежный предгорный юг, и хладнокровный равнинный север. Это позже, когда ушли, разгромленные не в поле, но в штабах, наши армии, рухнула, как подкошенная, и идея чеченской независимости. Растаяли за горизонтом вражеские эшелоны, и никто не вспомнил, за что же воевали чеченцы. За свободу или за рабство…А ведь она была на самом деле, их, купленная за доллары идея. Светила ярче яркого солнца. И целые семьи шли умирать совсем не за продажных своих правителей, а именно за свободу. Другое дело, сколько правды и сколько лжи было в этой идее. И сколько пядей во лбу нужно было добавить каждому, чтобы их различить…Но прошел угар Хасавюрта и вслед за ним сгинули все идеалы. Потому что никто не стал свободнее и независимее. Никто из чеченцев не увидел «светлого будущего», за которое легли под танки его брат или отец. Только нужда, только голод, только война…Уже не за идею шли воевать в Дагестан. За добычей, за триумфом, за властью. И шли уже не чеченцы, бандиты. Хотели разорить чужой дом, а рассыпали свой. Потому что зашаталась вся Чечня от ответного удара. Не та Чечня 94-го — 96-го, где против нас стоял и север, и юг. Другая Чечня, бандитская, ваххабитская. Та, где уже никто не поднялся ни за какую свободу.

Чеченцы выиграли первую войну. Не долларами. Все-таки не долларами. Ведь и босые, и голодные — все торопились в бой.

Выиграли духом. Их идея легко задавила нашу. Они сражались «за Отечество», мы за «наведение конституционного порядка». За летчика Дудаева шли гораздо охотнее умирать, чем за алкоголика Ельцина, пусть и Главнокомандующего.

Но ничего не ясно с этой войной. Здесь нет идеи. Ни у одной из сторон. Чеченцы её потеряли, а мы не приобрели. А солдат без идеи — не солдат. Ведь страшно жить, если не за что умирать. Нам бы поучится у чеченцев. Нам бы прислушаться, что они там говорят, нам бы заново перечитать их лозунги и листовки, что даже женщин ставили в ополчение…Кстати, кто-нибудь знает, что написано у них на могилах? Какие слова и о чем? Кто-то вообще этим интересовался?.. И я задумался только сейчас. Без сомнения, не «при выполнении служебно-боевых задач», как пишут в наших похоронках. Наверняка есть слова о вере, свободе, отечестве. А у нас?.. Ничего. Разве что тот же «конституционный порядок»…

Пока мы не станем умирать идею: за веру, за свободу, отечество — не видать нам никакого успеха в войне. Потому что только эти святые слова и ведут к настоящей победе. А мы забыли, когда слышали их в последний раз. Кажется, при живом Гитлере, а может, Наполеоне…

Нужна идея! Как воздух, как под ногами земля! Иначе нам никогда не очистить Кавказ, не освободить наш поэтический Иерусалим. Иначе он обречен, наш многолетний крестовый поход…»

Вот на что навел меня ночью пленный бандит. С какой невероятной тайны сорвал он заплесневевшие печати времени. И я, слушавший его меньше всех, расслышал побольше других. Боевик поведал мне одному, что победа рождается в сердце, а не в бою. И я услышал его рассказ сквозь несколько стен…

«Значит, на отдых собрался… — с досадой думаю я. — А если поговорить с операми?.. Прямо сейчас, пока не кончилась ночь. Побег. Пуля вдогонку… Нет. Не согласятся… А будут не против, найдутся какие-нибудь свидетели…»

…Лето четвертого года. Куда ты побежало из Грозного? По какой улице проходит твоя дорога, и какую найти преграду, чтобы тебя задержать?

Постой, лето! Здесь так холодно, в этом городе. Здесь так мерзнет живое сердце. А теперь и ты уносишь тепло. Кто же споет нам в засадах, когда уйдут из садов соловьи? Как мы уснем на голой земле, когда ее промочат дожди?

Зеленый июнь, жгучий июль да кровавый август — наш потерянный рай, в который уже закрываются двери. Как счастливы те, кто успел до них добежать. Как несчастливы мы, кого не пустили на небо. Кому ничего не досталось, кроме

ненужной памяти об этом тяжелом времени.

Уже не хочется никуда по ночам. Уже не зовут дороги, не просится на плечо автомат. Уже упустили свой аромат медвяные стройные травы. Задышал пылью и пресной водой свежий холодный ветер. Рухнул под ноги первый некрепкий лист… Всё кончено.

Куда ты, лето? Куда же ты, молодость?..

«…За обиду нашего времени»

Октябрь 2004 года.
Северный Кавказ:

И вот наступила осень. Моя первая чеченская осень. Она, оставив за спиной жаркие, выгоревшие от белого солнца дни, принесла бесконечную серость дождей и золото раннего листопада. Как злые вестники грядущих печалей, поплыли по небу черные дымы облаков. На глазах начал дряхлеть, будто уже сполна пережил себя, Грозный. Изодрала старость да сгноила сырость зеленые платья его одежд. Открыли вновь свои раны — огромные дыры ударов — едва друг на друге стоявшие этажи. Вышли на безлюдные улицы чумные стаи бродячих собак. И, бросив родные болота, потянулись за солнцем запоздавшие журавли.

Хорошо погуляло в городе лето. Хорошо пропело все свои песни. Многих возвысило музыкантов и многих навсегда отвадило от игры — позволило убивать одним и быть убитым другим. Много было справлено этим летом и поминок и похорон. Допьяна напилась кровью земля, до одури надышалось трупами небо. Исполнили восхитительный джаз и покрылись добрым нагаром серебряные трубы Грозного — вороненые стволы перегревшихся автоматов.

Сколько людей погибло за это лето… Добрых и злых, малых и старых, правых и виноватых… Сколько беды народила война. Каждый уходящий отсюда день не оставлял после себя ничего, кроме новых убитых. Потеря за потерей. Их было так много, этих трупов, что можно было дивиться всем, кто от них шарахался в сторону. Не было одинаковых трупов. Здесь не равнялись при жизни, и это не исправила смерть. И, подтверждая различие, они так и валялись, кто в болоте, кто на земле, с оружием в руках одни, без рук другие и без оружия третьи. Да еще, словно на карнавале, рядились во все одежды: в безликие «афганки» и «горки», в колоритные маскхалаты и камуфляжи, в серые, как шинели, костюмы милиции, в гражданские трико и футболки, в

кофты и джинсы. Смерть не различала цвета и сукно, не выбирала героев и негодяев. От нее нельзя было скрыться в темном углу, она имела глаза в темноте. Нельзя было защититься бронежилетом, она пробивала любые доспехи. Как и нельзя было выгадать час, в котором не убивали…И мы перестали тревожиться. Мы привыкли к чужой смерти и устали ждать собственной. Это вдруг стало нестрашно — однажды упасть и не встать. Разве, что жаль, если тебя где-то ждут.

Все, кто уже погиб, все павшие наши товарищи забывались за короткое время. И в этом никто не знал за собою вины. Ведь мы их не хоронили совсем. Они и после смерти всегда были живы, всегда могли вернуться в наш строй. Они не умерли, они просто куда-то ушли. На день, на год или на целую жизнь. Это ничего, что, приняв пулю вчера, они не вернулись сегодня. Значит, пока еще рано. Значит, они устали от Грозного и не хотят видеть ни нас, ни его. Мы не в обиде. Это дело каждого — когда-нибудь, наконец, отсюда уйти, живым или мертвым. Мы случайно встретились здесь, случайно сдружились, случайно расстались. Мы не крестили вместе детей, не жили в соседних дворах, а лишь делили в заслонах ночь, лишь в одну сторону направляли стволы. И от этого стали больше, чем просто друзьями. И поэтому не могли допустить, чтобы кого-то увела от нас смерть. А, значит… А, значит, те, кто пропали вчера, совсем не отправились в гроб. Они просто куда-то ушли. Завернули за угол, засиделись в кафе, не успели до комендантского часа в казарму. И они вернутся, когда сами того захотят. Они давно хозяева собственным поступкам… И вот, миновали «три дня», «девять» и «сорок», и тускнели, становили ненужными их лица. Мы отвыкали от них, своих павших. Как отвыкают от тех, кто первым бросил тебя. Но мы помнили… Не вспоминали, но помнили. И если вдруг кто-то называл старое имя, которое давно не звучало в ушах, — мол, не забыли ли? — каждый мог честно ответить себе: нет, не забыли. Но это была такая особая рана — память о мертвых!.. Мы видели кощунство и неуважение к ним, если часто слышали имена. Ведь их склоняют лишь те, кто сам не имеет памяти. Кто хочет этим попрекнуть других. А мы помним. Не вспоминаем, но помним… Погибли наши товарищи. Погибли не для украшения своих кладбищ, не для жалостливого красного слова, не для пошлых дворовых песен… Ведь не за этим рожали нас мамы!.. Погибли за нечто большее. За то, о чём никогда не говорят у могил. За то, о чем принято больше молчать…

Кто ответит: за что?.. Я отвечу…Ты, кто хочет услышать, оставь свой слух. Здесь не бывает слов. Это понимается сердцем. Остановись однажды на улице, задержись у себя во дворе.

Видишь?.. Это совсем рядом. Не надо куда-то бежать, если ты не на чужбине и не в плену. Это здесь, у твоего очага. Согни колени. Согни, даже если ни перед кем в жизни не гнул. Здесь нет никакого стыда. Протяни руки и зачерпни ладонями землю. Черную тяжелую землю… Открой перед собою ладони. Чувствуешь?.. Это — твоя земля. На неё падали, сраженные мечом или старостью, твои отцы. С нее уходил Игорь в Дикое поле ломать половецкую кость. По ней топтались монгольские кони, пока им не срубили копыта. На ней громили немецких рыцарей, искавших здесь смиренных рабов. Отсюда едва уползли остатки Великой наполеоновской армии. Сюда заносила ногу Интервенция, да была штыками отброшена за моря. Здесь, сломав себе шею, навсегда рухнул фашизм… Это никуда не ушло. Не обратилось в пыль, как писала история. Это всё здесь, на твоих ладонях. Чувствуешь?.. Сколько всего в горсти родной земли!..

И никакие годы, и целая жизнь не дадут тебе больше, чем эта минута, когда ты, может впервые, согнул прямые колени. И никакие слова не заменят того, на что способна в этот миг тишина. ЭТО понимается не словами, ЭТО должно лежать в сердце. И ОНО не меняется из века в век: «…за обиду нашего времени, за Землю Русскую, за раны Игоревы, буйного Святославича!»

Ты, в чьих руках лежала земля! Понял ли, чей ты сын? Почувствовал ли прикосновение Матери?..

Дай Бог, чтобы и ты оставил на отчей земле достойные минувших времен следы. В дни мира и в дни войны. В труде и в бою!

…Это лето затопило кровью Кавказ. Бандиты устали сидеть в Чечне, потеряли прежний к ней интерес. Соскучились по новым подвигам и новым краям. То, что нелегко давалось в Республике, оказалось по силам за ее рубежом. Там не было таких войск, не было столько оружия, там давно поселилась беспечность. В июне боевики заглянули в гости в соседнюю Ингушетию. Атаковали Назрань, пошумели в Карабулаке и Орджоникидзевской. Больше досталось Назрани. Там в одну ночь избавились от доброй сотни служивых и, попавших под горячую руку гражданских. На патроны никто не скупился. Вместе с чеченцами — подручными Басаева, участие в налете на родную столицу принимали и завербованные ингуши. Многих видных людей в ту ночь отправили к богу: и силового министра, и главного прокурора. А для полноты свиты нарядили им вослед и замов и разное другое начальство. Удачно напали, удачно повоевали, ограбили большие военные склады, взяли крупные боевые трофеи и, потеряв минимум живой силы, удачно ушли.

В августе тот же сценарий с успехом сыграли в Грозном. По поводу этой вылазки многие поднимали шум, будто боевики хотели сорвать выборы нового президента. Хотели да не смогли. Ерунда. Тех вряд ли волновало, кто следующим поднимется на трибуну «Динамо»… Боевики приходили в Грозный поглумиться над нами. Показать всем, что плевали они на все последние наши успехи и на всю «контртеррористическую». Что они не призраки, не мертвые души, которые только и остались, что в древних местных легендах. Но в Грозном они не взяли того, что так удачно собрали в Назрани. Здесь улов оказался пожиже да рыба помельче. Не министры и прокуроры, а лишь их рядовые работники. По разным свидетельствам от пятидесяти до ста трупов на город, всех вместе, и гражданских и негражданских. Но боевики торопились. И закончили всю работу за три-четыре часа. Походили по опустевшим улицам, покричали в полный голос «Аллах акбар!», «Ичкерия!», оставили трупы на Минутке, на автовокзале, в Старых Промыслах, по дороге на Ханкалу и с чистой совестью покинули город. Всё это лично видел весь Грозный, и только с чужих слов слышала Ханкала. Но на следующее утро последняя объявила о «неудачном налете» и полном его разгроме. А осенью с «той стороны» до нас доползли слухи, что, дескать, бандитам не заплатили за Грозный. Мол, мало в нем накрошили. Не оправдали заказ.

И снова август. И уже не Кавказ. Две женщины-шахидки сели в разные самолеты и уже в воздухе с разницей в минуты разнесли себя в клочья. «Борты» ушли в пике и свалились на землю. Оба летели из Москвы, оба не долетели. Один до Волгограда, другой до Сочи.

Бесконечные набеги на Дагестан… Перестрелки, теракты, бои… Не в серых безвестных ущельях, не на глухой чеченской границе. В многолюдных городах, в местных столицах, на главных улицах Махачкалы. И стреляли не какие-то вчерашние новобранцы, а ветераны-партизаны, с которыми на равных дрались Армия, Дагестанский СОБР, ОМОН. На управу с которыми в города въезжали танки и минометы. А они всё лезли и лезли… С долларами, с оружием, с безумной идеей поставить «от моря до моря» Кавказский свой халифат. Не вышло мытьем, как в 99-м, так пройдет катаньем… Но Дагестан оставался верен нам! Все-таки верен. Еще не всех купили за доллары. Многих, но не большинство. Держались дагестанцы. За что держались? Да всё за то же. За обиду нашего времени, за землю своих отцов. Не за убогий оклад и паек…Здесь в Чечне еще что-то платили. У них же — одна нищета. Что в армии, что в милиции.

Но кончилось лето, и все его несчастья оказались лишь

каплей из ковша настоящего горя.

Осетия. В первый день сентября бандиты пришли в Беслан… Не у каждого повернется язык рассказать, что там произошло. Потому что это превысило всякую меру людского страдания. Потому что давно умерли, пострадали памятью многие, кто пережил зверства фашистов. А их детям и внукам еще не перепадало такого за собственный век… Поначалу среди нас прошел слух, что захвачены две школы в самом Грозном. И как ожесточились, как взволновались на это известие милиционеры-чеченцы нашего РОВД… А потом стала известна правда. И в один миг смолкли, потускнели чеченцы. Не от равнодушия, что убивают другую нацию. От обиды за собственную. Ведь это с их земли явился террор. Ведь бандитов, что держали в Беслане детей, всех без разбора называли чеченцами… Вечером того дня в отдел заезжал их ОМОН — пара бойцов с офицером. Когда зашел разговор о Беслане, командир только нахмурил лицо: «Нам бы туда… Да кто пустит теперь?!.» Все эти дни мы ждали отправки на штурм. На помощь, на месть. Но так и остались в Грозном, так и не скинули кепки, не надели ни шлем, ни берет…

Беслан… Кто не знает об этой трагедии? И нужно ли здесь ворошить это жуткое прошлое? Может и нужно. Для того, чтобы увидеть и нам, и чеченцам, до чего нас довел этот спор. Для того, чтобы не осталось в России ни одного равнодушного сердца. Чтобы хоть раз в году, в первый день сентября, оно сбивало свой ритм, услышав сквозь время горький голос Беслана — первый школьный звонок, на который, не зная ничего о войне, бежали когда-то маленькие беззащитные дети. Чтобы все вспомнили, как лежали их крохотные трупы в руинах разбитой школы. Как, заслоняя живых и мертвых, стояли в полный рост бойцы «Альфы» и «Вымпела». И, сбитые пулями, сами валились на землю…

Можно налить водки и продолжить рассказ… Но я не хочу. Не хочу вспоминать своих слез, что текли, когда их не могли наблюдать. Не хочу помнить слезы других, которые не прятались от людей. Не могу простить себе, что не бросил отдел, не плюнул на все запреты и не сбежал из Чечни. Что остался тогда в её никому не нужной столице. Не изменил присяге, но запятнал совесть.

Уже всё закончилось… Уже закрыли страницу Беслана. Уже бросили в землю всех, кого смогли опознать. Взяли по три зарплаты могильщики, превзошли всякий спрос и венки, и гробы. Минуло время, и остыли горячие угли пожара, и нет над пепелищем ворон. И уже никто не стреляет на школьном дворе. Давно в нем плакали дети, давно они были убиты.

Всё позади… Он так далек, тот день, 1-е сентября 2004 года,

когда Грозный в один миг проиграл Беслану свою многолетнюю кровавую славу. В одно мгновение лишился своего имени.

…Что бы не происходило здесь, в Назрани, Махачкале, Грозном, Беслане — нас всегда мучили одни и те же вопросы: «Как они прошли?», «Откуда знали, где больнее ударить?», «Почему так легко уходили?» Что за талисманы имели они, что мы никак не могли одолеть?.. Эти простые вопросы стали для нас такими философскими, такими вечными, как темы любви, жизни и смерти. Мы много лет провели здесь, много прошли боев, и много наград получили на грудь. И мы поняли: не бывает удачи. Ей вечно с нами не по пути. Постоянны лишь потрясения, лишь горе с бедой. И только несчастье может быть вечным… Пусть мы остались в живых. Но, кто скажет, что это удача?

А вот не так было с бандитами. Они словно не знали беды. Удача не шла рядом с ними, они несли ее на руках. И даже, когда всех перебили в Беслане, им не изменила фортуна. Ведь они три дня унижали целое государство, издевались над каждым от Балтики до Чукотки. И теперь мы точно могли сказать: кто-то продает нас за нашими спинами. Кто-то родной, кто-то свой, на кого невозможно подумать. Это из нашего стана торгуют амулетами счастья для боевиков.

Если бы нам знать имена!.. Если бы хоть раз увидеть лицо!.. Да почернело бы солнце, и отпустили бы мертвых гробы, когда бы мы не отважились на расправу!

…Что-то держало нас здесь. Что-то затягивало, словно трясина или запой. Мы хотели, но уже не могли оставить Чечню. Мы все ходили здесь под прицелом, на нас была вечно открыта охота. Нас, как могли, убивали враги, как умели, калечили врачи и фугасы — отнимали у нас руки, убавляли ноги, по метрам сокращали кишки. И вместо богатырей и гигантов, мы делались карликами и уродцами — пластмассовыми и железными дровосеками, скрепленными винтами да скрученными болтами… Но это лишь руки да ноги… А душа?!. Да где взять такие бинты, чтобы перевязать её раны?.. Нас убивали здесь, ломали судьбы. Нами играли политики, нас продували и продавали… Но было что-то еще. Что-то светлое. Хорошее. Чистое. То, чего бы мы никогда не узнали за целую жизнь.

Эта война возвысила нашу душу. Заставила вспомнить, кто мы на самом деле. Отдать без жалости свое имя, чтобы получить единственное на всех: Его Величество Солдат!

Мы поняли здесь, что только мы, а ни кто другой, — единственные герои века и столетий. Мы — русские солдаты. Это вчера мы были забитой толпой, быдлом, вчера нам внушали покорность и не давали подняться с колен. И это вчера длилось

всю нашу жизнь!.. Но Чечня освободила нас! Мы перестали бояться и трепетать. Мы впервые почувствовали СВОБОДУ! Свободу от всего! От раболепства, от унижений, от страха! Мы подружились со смертью, и она поведала нам, что свободен по настоящему тот, кто не боится жить. Это вчера мы не сомневались в истине, когда слышали или читали: «Опасайтесь террора! Вас взяли в заложники — не оказывайте сопротивления. Помните, что ваша цель — остаться в живых». А сегодня мы с презрением отворачивались от этого позора. Сегодня сами кричали другим: «Видишь террориста — убей! Не моли о пощаде — тебя не услышат! Не бойся умереть — за тебя отомстят!»… Кто это сделает? Мы — единственные герои века и столетий. Мы, кто поняли, что свободу нельзя отнять даже под дулом оружия. И нельзя убить. Ведь смерть — это тоже свобода.

Обречен человек, что утратил свободу, обречена нация, что привыкла к покорности.

Это дала нам Чечня! И мы — солдаты — единственные русские, кто остался свободен!

Теперь мы знаем, что не станем кланяться власти, когда вернемся домой. Что, не задумываясь, переступим закон, когда он обойдет справедливость. И никому не подставим другой щеки для второго удара. Не поступимся принципами, не утратим своей свободы… А, если вдруг станет невмоготу, если не хватит сил и дальше стоять на ногах, мы снова вспомним Чечню — единственную родину нашей свободы. Где, испытанные огнем и железом, мы наконец-то вернули своё прежнее имя — Русские! И раздавили всех, кому не терпелось увидеть нас на коленях!

…Был у меня один разговор с милиционером-чеченцем: «Если уйдете, как в 96-м, — нам конец…» «Но почему, почему конец? — не хотел я его понимать. — Неужели не выстоите?» А чеченец, будто зная какую-то тайну, только качал головой: нет, не выстоим… «Так что же вам нужно, чтоб устоять?» — задал тогда я вопрос. И был поражен простотой ответа: «Вы».

Милиционеры-чеченцы… Оказалось, никакие они не бандиты, не злодеи, не бунтовщики — чем много лет забивали мне уши до Грозного. И я благодарен судьбе, что призвала меня в этот нерусский отдел.

Начальник нашего РОВД — надменный старый полковник. Он часто был груб с нами, несправедлив и жесток. Но это он держал Ленинской РОВД в августе 96-го. Не сдался, не побежал, не опустил русский флаг. И после вместе с войсками покинул Чечню. Да только, если войска уходили домой, то он торопился в изгнание… Но вернулись русские, вернулся и он. И пока нам не тесно друг с другом. Но куда он пойдет, когда окажется стар? В

какое пожизненное изгнание отправиться после этой войны? Он, кто нажил здесь столько врагов, что перестал верить даже друзьям. Для кого не осталось угла в республике, где бы у него не спросили за прошлое.

Начальник участковых — командир батальона ополчения, с боями входившего в Грозный. И даже имя ему пристало — Комбат. Крепко пристало, до смерти не отпадет. Да вот только имя и оставило ему время. Давно некем стало командовать. Вон, ущербная наша ППС — последний осколок того батальона. Растеребили пули и годы незыблемый его строй. Обвалились окопы, и все покинули бой; ослабели и умерли. Не наскрести и на роту; кто пал, кто пропал.

Простой участковый. При штурме города вынес из-под огня раненого русского офицера. Тот не поверил, что вынесли — чеченец ведь вынес… Имя спросил. Пообещал одарить. Не забыл. Протащил в штабах представление на награду. Чеченец и думать забыл про него, тоже не поверил — русский ведь обещал… Да только для доброго дела не бывает национальных границ. Зря мы не верим друг другу. Погиб он, этот чеченец. Через несколько лет. В августе этого года. Звали его Иса — имя пророка. Иисуса по-нашему.

Офицер уголовного розыска. Стоял против Дудаева еще в 93-м. Еще до русских. После Хасавюрта семью потерял, скрывался здесь, жил под вымышленными именами, попался, выручили родственники, сбежал из плена… Историй — не на одну жизнь или книгу… Снова в строю… «А что же награды?…» — спрашивал я у него. «Какие уж там награды?… — Повторял он общий для многих ответ: — Значок «участника» дали…»

Другие офицеры и рядовые — не перечесть… Здоровые еще мужики, отцы многодетных семейств. Еще сильные, опытные, опасные. Но многие уже дошли до предела службы в милиции — 45 лет. Многих гонят на пенсию. На нищую милицейскую пенсию. Кто-то еще пытается сопротивляться, не верит, что выгонят. Один пошел на поклон в МВД: «В 99-м против бандитов стоял. На Терек ходил. Грозный брал… Раньше нужен был…» А ему там в голос: «Против Министра идешь?! Против России?!» А за дверьми кабинета, в самое ухо, какая-то сердобольная душа правду-матку: «Должность-то у тебя — дрянь, а тысячу долларов стоит. Уже заплатили. Ждут…»

А ведь сколько погибло их здесь. Скольких перебил Дудаев, Масхадов, и любой мелкий прислужник этих режимов. Скольких живыми зарыли в землю после капитуляции Хасавюрта, возвели на костер, пустили под нож. Как многие из них спешили, да так и не успели сбежать в Россию… Россию, которая предала их в 91-м,

оставила на откуп в 96-м… Их истребляли, а они все равно приходили к нам. Знали, что такое здесь не спускается, что всё равно достанут, убьют, а все-таки шли. Зачем, спрашивается, шли? Во что верили-то? В нас? В Россию?.. Нет. В себя верили. За себя шли. За Чечню. За свободу свою! Потому что свобода — она одна на всех. И свобода русского — это свобода чеченца. И свобода чеченца — это свобода русского. Свободные люди — русские и чеченские солдаты — должны драться в одной армии. Чеченцы вчера стояли против целого мира — наемных арабских армий, английского золота, и оружия разных стан. И они надорвались одни. Вот о чем говорил мне чеченский милиционер: не выстоим!.. Но у нас, русских, еще есть силы для этой борьбы. Мы еще можем сворачивать шеи наемникам, рубить железом любое золото, пускать в утиль любое оружие.

Но нам тоже нужна помощь чеченцев. Потеряем их — упустим Чечню. Упустим Чечню — и рухнет Кавказ. А потому у нас есть, за что вместе держаться!

Истина, она здесь… Оставим Чечню и потеряем родину нашей свободы! И не найдется в России земли, что пока что рождает солдат! И не будет свободы, когда не станет свободных людей!

…Омертвевший осенний Грозный. Длинные-длинные улицы, на которых тонет в руинах эхо. Одуряющий воздух, пьяный и сладкий, без запаха людского жилья. Черные, толстые от воды, статуи развалин и тополей… Чарующий город, полный романтики и душевных болезней. Миновала пора его листопадов, и легли под ноги шитые золотом, бесподобной работы ковры; рваные и драные, с голубыми прорехами луж. Прошли его ночи, звездные знойные ночи, и уже не хватает костров… Холодный осенний Грозный — выставка меланхолических картин запившего с лета художника. Захватывающих, как воровская история, дешевых, как сбывшееся пророчество.

Город, чьи улицы и так не оживали днем, с наступлением ночи вымирал совсем. Словно по какому сценарию разбегалось на закате всё его население. Пропадало в своих квартирах, запирало засовы, выключало свет… И в город въезжала ночь. Въезжала с шиком, с блеском, на резвых вороных скакунах, с большим обозом несчастий и тризн. И отправляла к дьяволу неустойчивое дневное безмолвие. Ночь врывалась в Грозный канонадой пулеметных очередей, феерическим сиянием трассеров, тяжелым артиллерийским эхом да чертовым отродьем неуловимых городских банд. Поражая своей наглостью и везением, боевики разъезжали по ночным улицам на ЗИЛах и УРАЛах, при полном военном параде, в форме, вооруженные до зубов. Совали

встречным патрулям удостоверения работников милиции и расстреливали их, пока те искали подвох. Не имея колес, шатались по чужим дворам и домам, где шлепали местных служак и разных сочувствующих. Оставляли оружие, брали ломы и лопаты, и шли на дорогу ставить фугасы. И трудились над ними, не покладая рук. Здесь были целые перекрестки и переулки, называемые «Фугасными». И каждый из них получил свое имя не за единственный труп. И почти на каждом стояли кресты, где с именами, где с клоками пустых пулеметных лент. Не город — погост! Едешь верхом на броне, а мимо тебя, едва не касаясь сапог, плывут кладбищенские распятия. Немые и страшные. А за ними, огромные и кривые, поднимаются из тьмы черные замки руин. А вдоль дорог только мертвые с косами не стоят…

И вот, до пены загнав лошадей, убиралась из города ночь. И с наслаждением прощались со своей каторгой воины обеих сторон. Закрывали мертвым глаза, радовались встающему солнцу и валились от сна еще до того, как бросали оружие. И снова оживал город. Оставляли свои убежища и не боялись ходить в полный рост все слабые и беспомощные — всё безоружное население. Открывались рынки и магазины, шли по маршрутам автобусы, и не могли никого напугать дневные жидкие тени. Днем город принадлежал его жителям, и мы не оспаривали их зыбкую власть. Конечно, убивали и днем, но, как там глаголет истина, и смерть красна на миру. А потому, если нам и перепадала работа при солнце — утренние зачистки и рейды — мы давно не считали их за войну. И шли на них с легким сердцем, зная, что днем в Грозном, если не мир, то слабое перемирие.

…Я надорвался. Я слишком много взял на себя — целый год Чечни. Перетрудился и не рассчитал своих сил. Кончилась моя ненависть, и мне стал не нужен Грозный. Прошла нездоровая моя страсть, и больше мне не хотелось войны. Я так устал от этого зла. Безразличие, что всегда приходило за ненавистью, превратилось в сплошную апатию, апатию, которая растоптала меня совсем.

Однажды, в какой-то из дней, я впервые в году разрядил автомат. Вынул, сидевший в стволе патрон, и вернул его в магазин. Поднял выше предохранитель, и закрыл затворную раму. Сломал и выбросил маркер, которым подновлял линяющую на ремне латынь. И впервые в жизни захотел, чтобы у меня украли оружие… Мне нечего стало бояться. Мне стало все равно, что будет, если я встречу врага. Потому что никакой враг не мог сделать больше, чем сотворил со мной Грозный. У меня не просто отняли жизнь, у меня отобрали весь мир.

Этой осенью покатилась в пропасть целая Вселенная, частью которой когда-то я был. Не стало больше той планеты, на которой я жил до Грозного. Сменилось то небо, что стояло над землей неполные двадцать пять лет. Пропали те люди, которых я знал до этого года. Они не стали мертвы, они стали мне безразличны. Я остался один, как бог перед сотворением мира. И вокруг ничего не было, кроме тьмы. И даже мама — единственное вечное, что осталось от прошлого — уже бессильна была что-то сделать для будущего. Уже не могла вернуть меня прежнего.

Я потерял в этом городе всё, что имел. Разрушил самого себя. Отошло от всего мое сердце и меня отпустили даже воспоминания. И осталось лишь единственное последнее чувство: чувство забытой, заброшенной вещи… Лишней, не нужной никому вещи… И когда я делался этой вещью, то, наконец, понимал, что когда-то нужно от нее избавится. И, чем скорее это наступит, тем чище станет земля…

Вот что сотворил Грозный! Вся Вселенная рухнула в пропасть, оставив меня одного!

«Что делать, когда рушится мир?» — спросил я однажды у разума. «Нужно погибнуть с ним. Иначе ты будешь жить вечно», — сказало мне сердце.

…Наверно я зря разрядил автомат. Ведь только он избавит меня от бессмертия.

…А еще так некстати вернулась любовь. Слепая, неустроенная любовь. Чёртова ведьма, приходившая терзать мое сердце! Она успела в этот раз до того, как я нарядился в могилу… И теперь я не находил себе места, разрываясь между двумя несчастьями. Днем я верил в любовь, а ночью мечтал о смерти.

Моя любовь не являлась ко мне во снах, со мной не было её фотографии, я давно ей бросил писать. Но она всегда была рядом…Эсмеральда. Какие осенние бури вновь принесли её в Грозный?.. Что случилось со мной, что я снова впустил её в душу?.. Она приходила сюда весной, растревожила, раскачала меня, как лодку, и чуть не пустила ко дну. Чуть не отняла у меня Грозный. Я хотел бежать к ней из этого города, и едва удержал свои ноги. Едва прогнал её от себя, едва залечил эту рану… И мне стало легче дышать. Я направил на Грозный все свои чувства. Полюбил его возвышенной, безупречной любовью, которой не достойна ни одна женщина. Дал ему столько стихов, столько вздохов и откровений… А он вытянул из меня душу. Поэтический город мертвых, потрошащий живых… Он умертвил меня, не потратив при этом ни осколка, ни пули. И я стал тенью на этой земле…

И вот вернулась она… И я словно прикоснулся к огню. Я

вновь почувствовал боль. Обожглась, заметалась, заплакала моя душа. Захотела однажды вернуться из тьмы.

Как бестолкова, как безнадежна была эта любовь, но как я верил в нее! Как тосковал, страдал и боялся, что всё будет напрасно. Что не сегодня, так завтра, жизнь вновь посмеется надо мной и вновь оставит существовать одного. Одного, за оградой целого мира…

Эсмеральда!!! Зачем ты вернулась в Грозный?!.

Зачем позвала меня с того света?!. Чертова ведьма с зелеными, как омут, глазами!..

Из крови, из грязи и боли, окружающих нас, рождалась надежда. Надежда, что мы обязательно встретим всех, кого любим, кого никак не можем забыть. Добежим, дойдем, доползем до их открытых дверей. И навек разобьем их печаль, и навсегда раздавим их горе. И наконец-то увидим, как заплачут счастливые их глаза…

Только бы жизни хватило дотянуть нам до этого времени. Только бы не успел нас никто схоронить.

Дорогой 56-го участка

Сегодняшний день:

Совсем не так думал я о войне… Я слишком много перечитал мемуаров и книг. Слишком много выучил песен. Но почему мало кто рассказал, что всё будет не так, как пишет перо? Что главный твой бой будет не в поле, не когда в нём стоит батальон, не в минуту атаки, не в драке с врагом. Что всё это страшно, но просто — встать под трубу со всеми и умереть. И не надо думать о том, как увернуться от пули. Она сама отыщет тебя, если не собьется с пути. Это так просто — пойти со всеми и умереть. Это такое счастье — прыгнуть во вражьи окопы и сломать себе голову. Потому что со всеми! Потому что за единое дело, за святую идею! И смерть — лучший подарок храброму…А ты не будешь трусом, но останешься жить. И дотянешь до того времени, о котором не заикался в самом тяжелом хмелю. И тебе будет двадцать и тридцать, и, может, доберешься до ста. Но обязательно будет день, когда с высоты твоих лет вдруг станут пустыми все былые баталии. Прибавит лба время, разойдутся преданные друзья, умрут бессменные генералы. И в самом беспощадном сражении тебе придется стоять одному, не за единое дело, не за святую идею. И там не будет ни одного выстрела. И пройдет всё в каком-нибудь темном углу, незаметное для других, без знамени и

винтовки. Пройдет в тебе самом, не раз и не два поднимая тебя в атаку. В безнадежную убийственную атаку, где сильней пулеметов косят воспоминания прошлого. Это будет самое жестокое в жизни сражение. И ты будешь без конца проигрывать эту битву… Будешь каяться, что не спас одного, не успел к другому, не заступился за третьего. Будешь мечтать изменить свое прошлое, делая только хуже своему настоящему. Искать причину, что жив или ранен, а не убит. И под конец, перелистав воспоминания, переписав мемуары, ты придешь к самому главному: ты пропустил, проспал, опоздал на атаку, где по сценарию должен был заслонить пулемет. И это кино не прокрутить заново до следующего Потопа. Минуло время проката, сгнила кинопленка, да прогнали за пьянку забулдыгу механика…

Осталась только надежда, что успели снять копию с ленты, что не протянул на улице ног безработный механик. Что тебя заново позовут на сеанс, и ты обязательно сходишь в атаку, если не загнулся от ран вражеский пулеметчик.

Как там, у Юрия Левитанского: «…Я не участвую в войне, война участвует во мне».

Неисцелимые психи войны — мы не сдержали себя. Не дождались приглашения на сеанс, и сами вернулись в Чечню. Сломали двери кинотеатра, и расселись в пустом кинозале в напрасном ожидании фильма.

…Грозный сегодня. Придите сюда и вы удивитесь, что здесь не валят напропалую. И не носят по улицам трупы, и кровь не течет, как вода из трубы. Не теряет в день половину своего состава стрелковая рота. Ничего, кроме подлых в спину убийств. Ни трофеев, ни скальпов… Сплошная тоска… А за тоской — очередь воспоминаний о времени, когда на единственный шаг тратился магазин, когда ради дырки в твоей голове без отдыха вкалывали чеченские снайпера.

Мы вернулись сюда воевать, а вся наша война свелась к ковырянию в отбросах прошлого: к никчемным зачистках, к бестолковой бумажной рутине, да к нездоровым упованиям на воскрешение несметных бандитских полчищ. Побитым легионам которых мы были бы рады, как старым друзьям.

Кто там играет тревогу? Неужто в сражение?!.

Ребята, к оружию!!!

Нет. Это только зачистка. Кончилось время атак. Плачь, воин.

…Зачистка 56-го участка.

Мы снова здесь, в диком лесу на южной окраине Грозного. Ползем по дороге, где не знают своих берегов темные лужи воды. Волочимся по жидкой грязи в разбухших свинцовых ботинках, с

заледеневшими ногами и мокрыми лбами. Сегодняшней ночью лил дождь и теперь не отыскать брода на этой дороге. Мы материмся, падаем в колею, и не можем припомнить, что за дьявол выдумал эту зачистку. И никто не верит, что на дворе декабрь, а не апрель.

Потеряв дисциплину, забыв всякий строй, тянется наша колонна. Где-то позади катятся БТРы, за ними едва плетутся грузовики. Хорошо, что отсюда не видно ни тех, ни других, — не так обидно тащиться по глине пешком. Мы с надеждой взираем на лес. Скоро начнутся дома, и будет повод оставить дорогу.

Что ищем мы на этой зачистке, не видит и бог. Вчера была точь в точь такая же, да только в другом районе. А перед ней еще одна, а перед одной еще тысяча… И так целую жизнь… Мы устали… Когда кончатся эти дни?..

Впереди маячат дома… Мы делимся группами и, бросив дорогу, поднимаемся на обжитые в прошлом холмы. Здесь не на что таращить глаза. Жизни, что ищешь тут, не найдешь. Заброшенные развалины, голые и пустые, покрыты синими пятнами плесени, засыпаны мятыми листьями, и черны от многих ожогов. Упали до самой земли потолки, посыпались в дом высокие стены, завалились за печи остывшие трубы. Разбежались по местным кладбищам да по целой России, по родственникам и тюрьмам, подраненные да пограбленные хозяева. Пропали, как своим ходом утопали в чащу, заборы, сараи и бани. И лес, подступивший к руинам лес, свободно вошел в каждую комнату, легко передвинул поставленные границы.

Группы расходятся по лесу, встают у руин, возвращаются на дорогу, вновь дробятся на части, опять поднимаются в лес. Некуда спешить. Сегодня не будет боя, и никому не пригодится оружие. Из-за того дерева не выйдет на тебя бородатый, а на этой поляне не отсекут твою голову. Ты опоздал на это место вчера, когда по шеям ходили ножи, и явился только сегодня, когда упала в цене голова. А еще ты явишься завтра, когда станут сказкой вчерашние зверства. И еще послезавтра, и на следующий год… Ты вряд ли уйдешь отсюда. У тебя впереди целая жизнь, имя которой — 56-й участок города Грозного.

Помнишь, друг?.. Осторожное, несмелое утро на южной окраине Грозного… Разбитые корпуса, над старым камнем которых плывут на север дымящиеся суда облаков; громадные, что не выстроить на земле, невесомые, что не падают с неба… Заброшенные дороги и тропы, где давно позабылись людские шаги. Где никто не шумит, кроме соленых зимних дождей. А погорелый дремучий лес с легендами давнего средневековья!.. Не по нему ли блудил выдумщик Данте, ушедший живым на тот

свет? Не в нём ли грабил романтик Робин, задолжавший Скотту за славу?.. Не нам ли пели в нём соловьи, а остались одни вороны…

Помнишь, товарищ, эту странную сказку? Райские кущи 56-го участка: розовый аромат ружейного масла и неземной вокал девственной тишины. И мы не ангелы — боги в этих садах!

Слышишь, парень!!! Мы были самыми счастливыми смертными! Мы почти дотянулись с тобой до небес!

Райские кущи 56-го участка… Сидя на пне, курят два офицера:

— …«Зачем кричал?», — его спрашиваю. А он: «Со страху. И стрелял со страху». Так и попал ведь… Прямо в лицо очередь дал. А боевик тот, что нас на мушке держал, от крика его промазал…

— Так, кто на кого налетел?

— Да мы на него. Шли, по сторонам не глядели. Солдат бы не испугался — обоим хана.

— Награду за командира дали?

— Посмертно. Погиб он на следующий день. Хороший парень был, хоть и боялся порой…

— Жизнь тебе спас, — скупо замечает старлей.

— Да, не спас, а просто продлил, — устало находит майор.

Утек в небо табачный дым… Если бы просидеть у этого пня до нового лета… Чтобы сбросить, ни черта не греющую одежду, чтобы завтра не ползти в Черноречье, Войково и Мичурина, не чистить 20-й и 35-й участки, чтобы хоть однажды просушить сапоги… Но надо идти.

У какого-то корпуса вертится худая злобная псина. Она то и дело подскакивает к ногам и норовит схватить мокрой слюнявой пастью. На стук в окно выходит сиро одетый хозяин, прикрикивает на собаку, но ничего не может поделать.

— Взбесилась она, — показывает он пальцем на затаившуюся за нами больную.

Мы зашли в этот двор с омоновцем, и сейчас по очереди пинками отгоняем животное.

— Прогнал бы. Покусает кого, — даем мы дурацкий совет.

— Уже прогонял. Но далеко не уходит. Приручена…

Собака то сядет, то кинется снова. Костлявая, страшная, с водянистыми красными глазами, с хриплым визгливым лаем. Грязная и заразная. Ее не водили к ветеринару, но мы тоже врачи.

— Хлеба дашь? — напрямую я спрашиваю чеченца.

Тот молча глядит на собаку. Невозмутимым, задумчивым взглядом. Он уже смирился с потерей.

— Сейчас вынесу, — говорит он.

— Паспорт свой захвати, — напоминаем мы вслед.

Бросая на землю куски, я неторопливо отступаю от дома. Псина обнюхивает хлебные корки, хватает их в зубы и тут же выплевывает. Но не бежит в сторону и не отстает ни на шаг.

— Сам стрелять будешь? — спрашивает омоновец, кивая на жертву.

Я снимаю предохранитель и бросаю вперед остатки приманки.

— Да. Я пса своего застрелил. С ума он сошел от разлуки… — неожиданно вспоминаю я школьное прошлое. — Помню его до сих пор. Собак больше не было у меня…

Собака не бежит к месту, где валяется хлеб, а, уставившись на меня, злобно показывает клыки. Я стреляю ее прямо на середине тропы. Неудачно, мимо головы, куда-то в грудину. Она валится набок, молча елозит в окровавленных листьях и долбит о землю хвостом. Вторым выстрелом я пробиваю ей голову, и ногой толкаю с тропы.

— Хозяин, если что, приберет, — только сейчас поворачивается омоновец.

Вдвоем мы спускаемся на дорогу, где в полном безмолвии встречает нас группа.

— Собака бродячая кинулась… — без объяснений даем мы расклад.

«Предупреждать надо!» — хочет сказать командир, но понимает нелепость фразы.

— …Давайте, двигайте! — машет он на дорогу. — Снайпера хреновы… — для порядка прибавляя к словам.

Проползла под ногами, миновала, как молодость, длинная эта дорога. Кончились все развалины и редкие жилые дома. Никто не убит, не пропал без вести, не наскреб на медаль.

Мы сидим на упавших деревьях за рыжими буграми обочин. Кто чистит штаны и ботинки, кто курит, кто дремлет, кто, как истукан, не подвинуть и не отвлечь, глухо уставился в землю. Не хочется ни о чем говорить. Тупая, бессмысленная зачистка, вымотавшая нас хуже жестокого боя… Еще час или два до команды «отбой». Нам дали время на этот маршрут, а мы прошагали его прежде срока. Рассеянно и небрежно, через пень колоду да левой ногой. Не слезая с нахоженных троп, не шаря в жилищах мертвых, едва заглядывая в документы живых. И каждый не хотел топать этой дорогой, и каждый, кто топал, шел только сюда — на беспорядочно сваленные деревья за рыжими горбами обочин.

Заслонив четыре стороны света, гудит на ветру голый оборванный лес. Роняя дожди, куда-то бежит блудливое беспокойное небо. Ползет по швам от воды, худеет и тает сто лет

запущенная дорога. Летит навстречу своей катастрофе маленькая наша планета. Весь мир катится в двери рая или на Страшный суд. И только мы бессменно ходим сюда, сидеть на мокрых загнивших бревнах, курить старый вонючий табак. И только для нас нету дела на завтрашний день.

Скорей бы в атаку! Напиться человеческой крови!

…Как-то всё поутихло к зиме. Стало поменьше трупов и реже стучит на улицах пулемет. Совсем другим городом сделался Грозный, совсем иным государством стала Чечня. Не сахар сидеть в горах, и разбежалось до лучших времен всё упрямое партизанское подполье. Поманила и увела на юг самых мятежных и одиозных, разгоревшаяся в Ираке война. Пощелкали многих вольных стрелков наши разведчики и снайпера, да не один десяток вдолбили в землю летчики и минометчики.

Не осталось ничего от вчерашнего дня. Миновало лето, — счастливое время анархии, — и избрала себе Чечня нового президента. Сменились министры, их стражники и шуты. Отслужили сполна, по чести, да, как получилось, и воротились на родину ОМОНы и СОБРы, и подарили сменщикам свои блокпосты. Прогнали по осени начальника нашего РОВД, да прислали совсем молодого. Погнал и он с насиженных мест приятелей прежнего, да позвал в их кресла своих… Да всё не стало порядка…

Суета, маета, да всё та же анархия… Как-то всё зыбко, плохо, неясно… Мы целыми днями торчим на зачистках или держим заслоны. Уходим утром, приходим под утро, спим еще сутки, без дела болтаемся до новой тревоги. Мы давно бросили милицейскую форму, нацепив на себя камуфляж. Забросили бриться, забыли, когда общались с людьми не военного круга. Никто не пишет протокола, никто не хочет раскрывать преступления. «Война идет…» — лениво отмахиваемся мы на все упоминания о работе. Да от нас уже и мало, что требуют… Хоть бы вставали порой по тревоге, а то и так никого не собрать… Мы никому не нужны здесь, и нас никто не хватится в этом городе, если вдруг завтра отменят войну. Пушечное мясо? Если бы… По тому хоть пушки стреляют. А мы шляемся из угла в угол, да получаем лишь выстрелы в спину. А то и камня за всю жизнь не дождешься… О, смерть, хоть ты посети нас, если все позабыли.

…Кончается год, и уже разъезжаются наши ребята. Одни пошли продлевать контракты, получили положенный отпуск, засобирались на месяц домой. Другие уже навсегда сложили оружие. И я, взяв обходной, примкнул, наконец, ко вторым. И впервые за службу в Грозном вспомнил своего замполита, что не дал мне закабалить себя тремя годами войны. Тремя годами

хождений по дорогам 56-го участка… Всё-таки домой… Плевать и на деньги, и на квартиры, и на русских, и на чеченцев… Мы хорошо жили здесь, по-мужски, ярко и шумно, но часто и от добра ищут добро. Пускай, кто хочет, остается служить, а нам ничего не нужно. «Зачем уходите? Еще ведь вернетесь», — корили нас те, кто взял себе второй срок. «Может быть, и вернемся…», — устало роняли мы, не зная ничего о себе.

Но еще никто не уехал. Еще только завтра или через неделю, впервые не в форме, выйдем мы за ворота. Еще только завтра навсегда потеряем друг друга.

…Мы так и уходим отсюда, не достигнув, чего хотели, а познав только усталость и труд. Так и не устроив самого завалявшегося мира, так и не перебив самых заклятых врагов…Да уже всё равно. Пусть бьются те, кто не устал сниматься в этом кино.

«Обратно крути киноленту,
Механик, сошедший с ума,
К тому небывалому лету,
За коим весна и зима.
Крути от июня до мая,
Обратного времени ход,
Что стало моим отнимая,
Приход превращая в уход.
…Спиною подамся к перрону,
Прощанью бессмысленно рад.
Рукою махну из вагона,
И поезд потянет назад.
…Обратно крути мою ленту,
К началу, механик шальной!
По волчьему чтобы билету
Явился «участник» другой».

На самом краю похода

Декабрь 2004 года.
Северный Кавказ:

Вот и закончился этот тяжелый год. Вот и за ним, кто многих довел до могилы, явилась черная гибель. Неотвратимая, как адский огонь, неумолимая, как длань фараона.

Сколько всего дал мне этот несчастный год!.. Какие богатые дары положил в мои руки!.. В нём было всё: и отчаяние, и

страдания, и ненависть, и любовь. И зима и лето, и осень с весной. И друзья, и враги, и тоска вместе с радостью… Я никогда не жил такой полной счастливой жизнью! Мне никогда не было так трудно, так больно, так легко и беспечно, как в этом недобром городе. Где на сто бед был тот же один ответ. Я здесь научился не думать о завтрашнем дне и никогда не заглядывать в будущее. Я верил, что буду убит и радовался этой удаче. Надеялся, что останусь в живых, и не огорчался от этого. Мне было плохо здесь! Так плохо!.. Я не раз бил себя по рукам, чтобы не застрелиться. Я долго искал смысл жизни, и не смог ничего отыскать. Терял веру в себя и, не уповая на мудрость земную, мечтал получить свыше ответ. Не выучив ни одной молитвы, не встав на колени, я спрашивал у неба, для чего мне жить дальше? Но ни один бог не пришел мне на помощь. Далек был от меня Иисус, а еще дальше Аллах. Я был один в этом Грозном, как висельник на столбе. А этот год не шел на двух ногах, не бежал, стремясь закончить дистанцию, а лениво лежал на дороге моей судьбы. И я сам тащил его на горбу от февраля до декабря. Ходил с ним в рейды и патрули, маялся на зачистках и блокпостах, пока не лишил его полностью сил. Пока не пришел конец этому бесконечному году.

Всё кончено!!! Слышишь, Грозный?! Он рухнул от старости, наш бескорыстный союз!..У меня не было в жизни сердечнее друга. И не подарит время такого, как ты.

Кончился трудный и страшный год. Прошла моя каторга и пали на землю, разъеденные семью потами цепи и кандалы. И я стал снова свободен!!!..Как я боялся, что собьется с дороги этот проклятый день! Что бросит меня, пройдет мимо Грозного, канет за горизонт. Что кто-то вдруг вырвет его из календаря. И как верил, как ждал и переживал я за этот день декабря. Потому что конец войне! Потому что домой!

Домой!!! В объятья холодной России! Домой! К тяжелым сибирским ветрам, на ледяные берега могучих северных рек! В страну скупого стыдливого лета и бледного желтого солнца! Назад от беды, скорби, гробов! От страшных людских проклятий за твоею спиной! От крови и зла, от черной свирепой ненависти, от моря пролитых слез и оплаканных ими могил! Домой, где ночь станет ночью, а день сделается днем. Где мы не будем путать рассвет и закат, где не раздают за убийства медали, где может мы еще доживем до собственных свадеб… Домой, где так любят и ждут…

Сколько всего было за эти годы!.. Скольких обрели мы друзей и скольких мы победили врагов. Какие подвиги прошли на наших глазах, какие люди и судьбы сгорели в огне. Сколь многих

повергнул рок и скольких он поднял! Как много дотянулось до звезд рядовых, как много погибло при них генералов. Сколько музеев, пьедесталов и книг подарило нам это тревожное время. Как много было пережито и даже забыто… Как часто мы прощались друг с другом! Уходили к своим очагам, бросали оружие, кляли и Чечню, и Москву, и никогда не собирались обратно. А через годы встречались здесь! И плевались сквозь зубы, вспоминая свою гражданскую жизнь. И каждый был рад, что у него вновь в руках автомат, а в портянках песок… Неужели всё это было?.. Неужели и ты, и я, столько раз возвращались в прошлое? И что в нем было такого, что ради него бросали всегда настоящее?.. Как много погибло нас в этом прошлом! И как много умерло после него!.. Скажи, для чего?.. Для каких картин и стихов?.. А как мы завидовали этим погибшим, что несчастливые при жизни, по смерти сумели добраться до счастья… Ребята! Как плачет моя душа! Потому что у нас ничего не осталось от этих дней. Лишь горькая память, лишь страшные письма, лишь, измятые в карманах «хэбэ» фотографии. Лишь давно отзвучавшие слова мамы: «Сыночка… Разве некому, кроме тебя?» Лишь давние, крепкие и безмолвные, объятья отца: возвращайся. Да свой фальшивый ответ: «…Да я по приказу». А ведь всё это было! Было в жизни, а не во сне! Ведь не из пальца высосал военкомат наши с тобой биографии, не бабка наплела нам на ухо про эту Чечню. Мы сами спешили сюда. Да еще, будто не за войной, а за дефицитом, стояли в очередях у медиков, у тыловиков, у железнодорожных вокзальных касс. И еще сожалели, что не припасли для всех по гранате.

Ребята!!! Да не о чем нам тужить! Мы хорошо погуляли в этой жизни! Хорошо посидели за богатым ее столом! Любовь и нежность, надежда и смерть, нужда и лишения — все они были рядом, со всеми мы пили из одной чаши, и всех их знали в лицо! И со всеми сходились в железных объятиях!.. Не зря прошла эта жизнь! Не на глухие кабинеты потрачена! И наши ордена добыты не службой в лакеях, и раны не куплены у врачей, а рассказы не вытащены из книг. Мы не посрамили дедовской чести и сполна отдали Родине и тяжкие муки, и рабочие руки, и буйные головы. Не один литр выдали гноя, не одно ведро наполнили кровью. Мы меньше всего думали о себе!.. Не жаловались, не продавались, не прятались! Мы гордыми были в России, и не согнулись в Чечне!.. Братья мои!!! «Чеченцы»! Эти строки для вас, кто спешил сюда не за погонами или деньгами, кто не боялся дырки в своей груди и гроба в собственном доме. Кого позвала боль, унижение за нашу Россию! Кто сам, раздавленный горем, искренне плакал над горем других…

Пускай расколется небо, и ангелы рухнут на камни, если мы искали войны. Если не страдало за Чечню наше сердце.

…И вот всё уходит. Еще один день и всё отправиться в прошлое. В счастливое прошлое, где за минуту воспоминаний можно пролистать заново месяцы и годы войны. Где дважды можно взойти на одну высоту, еще раз заночевать в сгоревшей палатке, вернуть всё пропитое и выпить налитое. Где можно снова назначить встречу товарищу, и точно знать, что он пришагает хоть с того света. Где, наконец, можно встретить себя самого. Восемнадцатилетнего, лопоухого, с веснушками на чумазом лице, с патронными лентами в заплечном мешке… Встретить и не поверить, что ты не в кино!

А может, не поздно остаться? Но, нет.

Этот год открыл мне глаза. Я понял, что был слеп много лет и только теперь увидел всю правду.

«Идет война несуществующих врагов…»

Нет ее, никакой войны. То, что мы называем войной, контртеррористической операцией, первой и второй чеченской кампанией, да чем угодно, на деле всего лишь обычная драка в Кремле. Разве что далеко зашедшая, да еще с поножовщиной. И все демоны этой войны, — Дудаев, Басаев, Гелаев и куча других, — никакие не полководцы чеченского народа, а только прислуга, схватившаяся за спинами дерущихся бар. Нет никакой войны, и вся это резня русских с чеченцами могла произойти где угодно по велению свыше. В Якутске, Казани да в том же моем Барнауле. А вместо чеченцев нашлись бы якуты, татары, алтайцы. А вместо нефти алмазы, да сотня различных причин… И все бы было также, как здесь. Лишь может чуть поэтичней звучали бы наши солдатские песни. Как-то непросто рифмуется «Грозный»…

Этот год дал мне больше, чем вся моя жизнь. Я уезжал сюда еще полным романтиком, еще патриотом, еще искренне полагая, что «Родина нас не забудет». А оказался брошенным в этом Грозном на произвол судьбы. Среди полного равнодушия, среди чужой нации. Откуда мне было знать, что так же, как и всегда до этого, у меня и здесь будут воровать продукты, недосчитывать зарплату, будут держать за то же обычное быдло. Что шаг влево, шаг вправо, неосторожное слово в свою защиту — и тебя попросту закопают под землю. Тебя изобьют, унизят, закажут, застрелят, сдадут за ломаный грош. Где ж тут патриотизм, где долг, а где Родина?.. Может быть где-то и есть. Но только не здесь, не на этой войне.

Я еще долго бы ничего не увидел, если бы вернулся сюда с русскими: с ОМОНом или сводным отрядом. Теперь же, когда за мной был год службы в чеченском отделе, я научился различать

истинные имена вещей: не «неудача» — предательство, не «пленные», а товар, не «бой», а заклание, не «погибшие» — жертвы, не «свобода», а бедствие, не «джихад» — богохульство… Всё не так, всё с ног на голову, всё растеряно и всё продано. Никакого долга и чести давно нет, как нет и патриотизма в нахождении здесь. А значит, домой… А значит, никогда больше я не увижу Чечню. Не вернусь, не передумаю, не раскаюсь. Его никогда не будет, «Мира — 4», — следующей несчастливой главы моей жизни. Пришло время остановиться. Пусть она кончится, моя бестолковая книга.

И все-таки жаль. И все-таки плохо, что я ухожу… Я полюбил Чечню, привык к ней, и не знаю, что буду делать, если потеряю ее навсегда. Она научила меня одиночеству — настоящей радости быть одному; отворачиваться от мира и существовать лишь для себя самого. Никакого лицемерия, никакой лживой дружбы. Что мне до жизней других, когда у меня одна неустроенная своя? Да, я помогу любому в беде, я сложу ради этого голову, отдам, если нужно, последнее, но не требуйте от меня душу. Я принадлежу только себе. Чечня подарила мне свое «я», освободила от всех контрактов и обязательств. Мне не плохо, когда больно другим. Просто я сам никому не причиню эту боль.

…И все же домой. Да только совсем нету радости. Есть, но какая-то холодная, сжимающая сердце радость. Такое ощущение, будто тебя живого бросили в гроб и в таком виде послали домой. И рад вроде, что едешь к родным, и грустно, что не вылезти по приезду… Почему? Почему разбежались все мои чувства? Когда потухло то пламя, так ярко пылавшее в день, как я ехал сюда? Где вдохновение, где настоящая радость, где, наконец, ярость и ненависть? Почему они были раньше и, что с ними стало теперь? Почему я так рвался сюда все эти годы? Почему?.. Я нашел на это ответ. Я, наконец-то, разобрался в себе.

Почему я так торопился сюда?.. Потому что хотел заново всё пережить. Потому что, живя в настоящем, всё время оглядывался на прошлое. Потому что это прошлое стало эталоном всей моей жизни. Из него я заимствовал силы, когда было трудно и плохо, оно всегда было источником для примера мужества, честности, благородства. Потому что, имея в своем багаже войну, можно было устоять и при мире. Не сгибаясь, не опускаясь на землю. Она сделалась для меня идеалом, моя минувшая военная молодость. Эта молодость была связана с войной и, если уже нельзя было вернуть первую, то всегда можно было позвать вторую. А значит и часть молодости, когда-то легко потраченную на это безумие. Вот потому-то мне не хотелось больше жить в настоящем. Вот потому-то мне было жаль прошлого.

Жалость к прошлому — единственное, что приводило меня сюда.

Какое трудное, какое кровавое и тяжелое было это прошлое! Сколько пустило оно по миру вдов и сирот, сколько наплодило несчастных и нищих, сколько повергло могучих, убавило сильных, сколь многих лишило разума, свободы и совести… Как много храбрых подняло оно друг на друга, и затупило на них ножи… Столько добрых талантов оторвало от дела, направив всё на войну. Помните, как бередило душу «Любэ»: «У мента и жены-то нет. Ну, какая еще жена у мента…» Как, бросив концертные залы, лирику и политику, пел под чеченским небом Шевчук. Хорошее дело делали ребята, да всё не убавили зла. А Лиза Умарова: «Вставай Россия, воспрянь ото сна! Просыпайся народ! Ведь по России с автоматом в руках брат на брата идет!» На всю Чечню звучал ее голос. Много лет не отходила от микрофона, боялась, что ее не услышат. Слышим, Лиза!.. И Тимур Муцураев — чемпион России по карате, сражавшийся против этой России. Какие бы песни он спел для неё, а всё оставил Чечне… Как оторвало нас друг от друга, это проклятое прошлое!..А всё его жаль. Это прошлое было нашей гордостью, нашим трудом, нашей проверкой на прочность. Мы сами создавали его, гнули на него спины, шли во имя его на смерть, совершали подвиги, радовались удачам и переносили страдания. Оно стало частью нас, поселилось в душах, перевернуло всю нашу жизнь; только закроешь уши, слышишь, как падают мины, только сомкнешь глаза, видишь, дымится поле… А теперь наступало время, когда оно навсегда покидало нас, наше прошлое. И никогда больше не повторятся те золотые дни наших удач, те светлые минуты наших побед. Когда даже раненые плакали с радости, а не от боли!.. Только что всё было здесь: и автомат в руках, и горы в снегах, да, либо голова в кустах, либо грудь в орденах. Всё было родным, близким, привычным. А вот уже застучали колеса у поезда, уже загудели турбины у лайнера. И вывалился из рук автомат, и побежали за горизонт высокие горы, и осталась на плечах голова, и неловко стало носить ордена. Всё кончено. Больше не будет Грозного, Шали, Ханкалы и нашего счастья…Оттого-то и жаль прошлого.

Но я устал жить одним днем. Устал скитаться, устал от лишений, устал вечно ждать, когда снова начнется война, а потом, когда она кончится. Я устал быть один, устал хоронить и устал бояться. Да, именно бояться! Своей ненужной, несвоевременной и бессмысленной смерти! За эти проклятые доллары, за паршивую нефть, за чертов джихад! Я устал и не могу больше видеть смерти других людей. Много лет меня учили

только одному ремеслу — убивать. Много лет меня не держали за человека. А я хочу жить! Просто жить, как тысячи, как миллионы других, кто не знал о Чечне! Все эти годы я не жил, а пытался выжить и больше так не могу!

Проклятое рабство погон!!! Проклятый мир зла и насилия!!! Проклятый город!!! Как я вас ненавижу, что вы украли у меня жизнь!!!..

…Отхлестали ливневые дожди, разошлись густые туманы, и в город на постой явилась зима. Грозный, цветущий зеленый Грозный! — он снова стал голой, безлюдной, засыпанной осколками и камнями пустыней. Лежали в руинах, как лом, заброшенные заводы, стояли в бурьяне, как мертвецы, расстрелянные дома. Да только дикие звери не гуляли по улицам… Сколько же дней и ночей провели мы на этих улицах!.. Сколько собрали грязи на сапогах, расплескали без счета луж, испоганили чистого снега. Сколько раз наблюдали, как закат меняет восход, а луну двигает солнце… А конца этим несчастьям не было видно и с самой высокой башни… Бесконечная пустыня войны. И нет ей ни начала, ни края. И никак невозможно пройти её без потерь.

…Что принесли, что дали мне эти годы? Что-то чистое, светлое? Нет. Слишком много жестокости было в них, слишком часто их спутницей была смерть, слишком редко во что-то доброе они обращались. Уж больно щедры они были на угрозы и грозы, уж так тяжело дарили мне что-то хорошее. Да и что могли дать эти годы, прошедшие от войны до войны, от беды до беды? Пролетевшие быстрее искры, проскочившие скорее свинца… Все они прошли зря. И дали взамен меньше, чем смогли у меня отобрать. Не просто чеченские годы, не эта военная пятилетка — с Чечни на Алтай, с Алтая в Чечню — истрепали меня. Нет. Эти годы потянули за собой всю мою жизнь. Всё на чем держался мой маленький собственный мир, что дали мне в школе, чему научили улица и семья, навсегда похоронила Чечня. Меня просто не стало прежнего. Оказалась, была напрасной вся моя жизнь! Прямо с той самой минуты, как я появился на свет. Целая жизнь прошагала мимо меня! И не догнать её, не заглянуть ей в лицо, не крикнуть вслед «Подожди!». И не начать уже заново, не поменять на другую. Самые главные, самые нужные годы были прожиты зря. Что стало с тем мальчиком, воспитанным на светлых советских книжках о добре, красоте, справедливости? И даже о войне, но все-таки добрых. Где всегда уступало зло, где были биты все подлецы. Ведь была же финалом победа… Что стало с его надеждами, мечтами и верой в будущее?.. Всё это умерло долгой мучительной смертью в том мире, где свирепствовала

война. И ничего не осталось кроме усталости. И нет уже того мальчика, которого когда-то водила на поводу извечная жалость к другим. Она давно не мешает ему жить. Он стал обычным убийцей, тот мальчик, и больше не плачет, когда стонут вокруг. Ведь многие годы состоял он на службе насилию, батрачил на зло, и был причиной крови и разрушений. Покорный слуга винтовки, штыка и отваги… Заурядная жертва войны…

Неужели теперь после всего этого обмана, после крушения всех моих идеалов, после гибели стольких людей, что-то может произойти? Неужели эта жизнь еще на что-то способна? Разве может она что-то дать или хотя бы вернуть, а не отнять?.. Я больше не верю ей. Я сполна наслушался ее сказок, что впереди только хорошее. Что, не нынешним вечером, так завтрашним утром, пойдут половодьем молочные реки, и небывалый урожай дадут кисельные берега. Что еще немного и можно будет хватать горстями из груды бесплатного счастья… Я больше не верю в счастье. Больше не верю в будущее. Слишком часто я видел, как и то, и другое, корчилось в муках и испускало дух в настоящем. Разве когда-нибудь повторятся те прежние дни счастливого мира, где никогда не было жестоких атак, никогда не стреляло оружие, никто не терял себя самого? Где не лежали рядами мертвые, не готовились занять их место живые, и не плакал дом по тому, кто его построил… Сможет ли что-то заставить об этом забыть?..

Может быть любовь.

И все же прощай, Кавказ! Прощай навсегда! Прощайте, кровавые тени прошлого, гнавшиеся за мной долгие годы! Я сошел со старой своей дороги и больше вам не взять этот след. Прощайте, окопы, бессменно сидевшие в них смерти, чесотки и кашли! Я перешагнул через бруствер, покинул ваш мрачный мир и, наконец-то, увидел солнце. Прощайте, горы — грозные белые пирамиды, по головам которых топтались мои сапоги! Я до подошв сносил каблуки, разорвал голенища и мне не в чем продолжить этот поход. Я накупался досыта в облаках, и больше не хочу этой романтики. Прощай, молодость! Мы долго грелись с тобой у этого костра человеческого горя. И часто дули на угли и часто бросали хворост в огонь. И хорошо сидели, пока ты не сгорела дотла.

Прощай, дикий тревожный край! Не держи зла за прошлое и уже не жди нашей встречи. Её не подарят годы. Но, как залог доброго, как вера тому, что я никогда не вернусь с оружием, возьми мою душу. Возьми мою душу, и пусть хоть она не станет напрасной жертвой на твоем алтаре.

Я оставляю больше себя самого. И я не в обиде за цену. Мне хочется лишь одного — чтобы здесь устроился Мир.

Прощай, Кавказ.

Последнее слово о Грозном
Лирическое отступление

> «…Дай на тебя взглянуть в последний раз, стена волкам служащая оградой!»

Шекспир, тебя не было на этой охоте, но как хороши твои слова при прощании с Грозным: «стена волкам служащая оградой!..»

Какая славная травля, достойная классиков, перепала на нашу долю! Какие мастера трудились над словом, чтобы о ней рассказать! Сколько шедевров всевозможных эпох достались нам во владение, и как много великих песен сложили о наших делах!..

С дороги, Время с Историей! Вам не подвластны пророки. Слово оракулу этой войны!

> Идет охота на волков! Идет охота!
> На серых хищников — матерых и щенков!
> Кричат загонщики и лают псы до рвоты.
> Кровь на снегу и пятна красные флажков!

Помните?!. Не «Интернационал», не «Священная война» — «Охота» — была гимном нашего времени! Мы здорово дрались в этом логове чеченских волков, чьи и ноги, и челюсти быстры. И много набили хищников — матерых и щенков. Мы много раз обкладывали серые стаи, но и много раз за флажки — жажда жизни сильней — выходили чеченцы. Мы испытали волчьи клыки на собственном горле, мы вместе с волками кувыркались в кровавом снегу… Да, славная была охота! Свирепая, как чума, азартная, словно флирт. И недолгая, как сама песня…Эх, не с того аккорда сыграли её…Эх, не выбили зубы волкам…

Мятежное Королевство Волков… Раздолбанная, размазанная его столица, которая, как бы её не калечили, не пускали ей кровь, и не подумала встать на колени. И на каждую срубленную голову, как гидра, давала две новых… Да, этот город оказался достоин своего имени! А те, кто шагал по нему, отстояли право зваться Мужчиной

Грозный!.. Моя самая беззаветная, самая золотая мечта! Такой не найти в сумасшедших домах, такую не купить у талантливого поэта. С этим надо родиться. И об этом надо

молчать, чтобы раньше времени тебя не вычеркнули из списка разумных. Я молчал десять лет. Со времени первого штурма. Десять лет хранил эту тайну от психологов, врачей и друзей. Десять лет врал каждому и самому себе. Теперь я хочу кричать: «Идите к черту, кто ищет здесь сумасшествие! Кому не дают покоя мои болезни. Кто хочет полечить, научить, пожалеть… Я не нуждаюсь в совете, я презираю жалость». Молчите, открывшие рот!

…Грозный — учитель, товарищ, палач. Скажи, что делать теперь, когда исполнилась в жизни мечта? В какие податься края, чтобы снова тебя отыскать? Сколько сносить железных сапог, чтобы добраться до твоих улиц, и кто поможет найти еще раз твое тридевятое царство?..

Трудно жить без мечты, трудно ждать ее целую жизнь. И невыносимо знать, что она в прошлом.

Все позади. Остается за спиной этот город, и стражники уже закрывают ворота. Он до последнего камня уходит в прошлое, мой не придуманный город-мечта. Больше не прилетит из него письмо, и уже не примчится пуля. Он просто был, город, о котором никто не сказал доброго слова. Грозный, в который однажды пришел участковый Чёрный Артур. Не с автоматом — с пером, не с Дьяволом — с Богом, да не солдатом — бродягой… Мне всё хочется окликнуть того лейтенанта, что вновь уходит по дороге 56-го участка; уставшего, с тяжелым, как беда, автоматом, с мертвыми пустыми глазами:

— Артур!.. Как ты живешь, где нет никакой жизни?!

И, подойдя к зеркалу, увидеть всё те же глаза мертвеца, услышать всё тот же безжизненный голос:

— А как живешь ты, пославший меня сюда?

…И все же я счастлив. Счастлив теми воспоминаниями, что оставил мне Грозный. Счастлив, глядя на фотографии этих лет. Где по-прежнему белое — белым, а серое — черным. Где я еще не знаю, как тяжело будет после Чечни, еще надеюсь на перемены, еще верю в любовь. Счастлив тем, что у меня есть целый мир — Грозный, который, не смотря на все мои книги, принадлежит только мне. Ни редактору, ни читателю, ни героям этих романов. Это всё, что есть у меня, это всё, что осталось мне от собственной жизни. И я уже не хочу другого богатства. Не хочу другой жизни, не желаю чьей-то судьбы. Пусть эта боль не достанется никому.

Я больше не хочу книг. Я рассказал лишь часть, что случилось, и больше не могу быть писателем — певцом собственных бедствий. Мне нужно закрыть эту книгу и выспаться за годы бессонных ночей. Когда не давал уснуть автомат, а после перо.

Грозный отнял у меня поэзию. Больше я не пишу стихов. Я десять лет хотел написать «Реквием по Грозному», — поэму и песню, — а попал в этот город и потерял рифму. Как больно, как глупо все получилось!.. Я ехал сюда романтиком, поэтом, мечтателем, и в один год лишился этих профессий. И ничего не создал в стихах. Остался лишь этот дневник — походный словарь банальной затасканной прозы. И он — всего лишь строка из необъятной и нерифмованной поэмы войны.

…Товарищ! Да, помнишь ли ты, как писали мы эту поэму? Как заправляли кровью пустые чернильницы, как драли кожу с себя, когда не хватало листов. Как под дождем, и огнем правили эти страницы. Помнишь, товарищ?.. Закрой глаза, чтобы вспомнить всё до конца! Закрой глаза и вместо дня настанет в мире ночь, и ты еще раз вернешься в Грозный… Видишь?!. Ты снова здесь, в логове матерых волков! Ты снова автор нашей поэмы!

…И снова в поздний полночный час выходит шляться по плоскому небу бессонная старуха-луна. Хворая, с извечными пятнами-язвами, бледная, как бумага. И вновь умирает Город. Падает в прах древнее государство тьмы. Меняются краски, и черное становится белым, рождается свет, и видят слепые глаза. Незримый минуту назад, выходит из мрака светящийся призрачный Грозный — заброшенный Колизей, с проваленными лавками черни, с пыльными костьми гладиаторов. Встают до самой луны огромные каменные рога — расколотые здания институтов, щербатые трубы заводов, обтесанные худышки руин. Всё белое, да не для свадьбы, а для могилы. Белое бескровное небо, белые коробки домов, белая под ногами трава, белые лица людей. И, если сунуть нож в горло, польется белая кровь…

Как манят к себе эти белые ночи! Погребальный факел луны над ареной старого Колизея. Где ты, случайно выживший гладиатор, за сущий пустяк — свою молодость — купил у вечности две минуты луны.

Мы не оракулы, не пророки и не Шекспиры. Но мы умеем сочинять о Грозном стихи. Белые, как своя голова. У нас лишь нет композитора, нет музыки на наши труды. Они лежат мертвым грузом, эти безвестные, не в рифму, стихи, поэмы и песни. Они никого не вдохновляют на сонаты и на симфонии. Кто их оживит? Где нынче болтаются великие музыканты, когда так нужен талант?…Взломать бы склепы Моцарта и Паганини, тряхнуть их скелеты, чтобы явилась музыка. Иначе никто не соберется сесть за рояль, иначе они пропадут, сгниют в архивах, наши «Реквиемы по Грозному».

…А, может, и к лучшему? А, может, так всё и нужно?.. Ведь

это всё фальшь — симфонии и сонаты. Ведь на других инструментах играла нам музыка.

Грозный! Город самой яростной, самой ударной музыки! Это бешеная дискотека нашей молодости. Танцы до упада, вечеринка до восхода зари. И вдосталь свежего воздуха и ярок свет прожекторов — ракетниц, что пожарче солнца, трассеров, что просвечивают насквозь. И умело калечат слух ударные и басы — попавший в череп свинец да снарядная взрывная волна…Эх, хороша потеха! Ух, по душе банкет! Пляши, если не жалко ног! Пляши, пока сквозь пол не провалишься в преисподнюю. К черту апельсины, вино и шампанское! Гулять так гулять!.. Гарсон! Тушенки на пустые столы, спирта и конопли! Да не считай бутылки, не суетись под клиентом, не с рублями пришли. Кровью платим!.. Маэстро, отруби себе пальцы! Глуши рояль!.. Эй?!. Здесь есть гитарист?! Рок-н-ролл в студию! Рок-н-ролл и девочку Смерть! Не боимся!.. Где она, эта потаскуха, что не брезгует лазить в кровать к старикам? Да вон, скачет рядом с тобой! Пригласи её на медленный танец, да не дай повода понравиться ей. Видишь, тащат за ноги предыдущего кавалера. Слишком уж тут любезничал, строил из себя джентльмена… А мы презираем галстуки, и одеколон заливаем в глотки. А нам побольше веселья, жестокости и грабежей! Аллаху акбар!!! Один раз живем!..

Эй! Кто не умеет еще танцевать! Питер, Ростов, Магадан!.. Дайте нам только передохнуть и мы устроим вам вечеринку! Запалим вас, чтобы по пьянке не заблудиться во тьме, снесем до первого этажа, чтобы больше не заслоняли луну. Клянусь, вам придется по душе наша пляска! Мы научим любого стирать каблуки. Мы — самые отпетые короли рок-н-ролла!.. Откройте границы, и мы потащим свою музыку в Тбилиси, Лондон и Пентагон!.. Кто там начеркал полвека назад «Хотят ли русские войны?» Не поторопился ли рифмовать этот русский? Не много ли взял на себя?…Ах, да. Его не звали на дискотеки. Он не целовался взасос с девочкой Смерть.

Эх, коротка ночь на земле… Эх, бледнеют пожары, прячутся по гробам неумелые плясуны… Кончается твоя дискотека. Обидно. У тебя еще полный ранец патронов. Ты можешь еще заказать не одну песню.

По домам, ребята. Больше не будет музыки. Такой праздник случается только однажды.

Всё, как лекарство, имеет срок годности. Не выдернуть минуты из прошлого, не повредив настоящего. Не бывать заново тому, что прошло, или ожили бы мертвые.

И всё же, всё же, всё же… Дай на тебя взглянуть еще хоть раз,

стена волкам служащая оградой…

2000–2004 годы.
Молодость — Доблесть — Чечня.

ЭПИЛОГ

Февраль 2005 года.
Дома:

Всё завершилось так, как я ожидал. Поездка туда не залечила моей души, не наладила жизнь и не вернула ей смысл. Я ничего не исправил в прошлом. Я только больше всё испортил и изломал. Ничего не повернулось к лучшему в моей жизни, а сделалось еще хуже. Война неспособна была лечить, она умела лишь мучить, лишь отнимать последнее. Она утащила у меня всё: и веру в будущее, и надежду на счастье, и мечту, и любовь.

Даже любовь, горькая, невезучая моя любовь, и та рассталась со мной. Ушла моя Эсмеральда, и, наконец, угомонилось сердце. Это случилось за неделю до нашей встречи, в какой-то из дней, когда я возвращался домой. Она так и осталась в Грозном, на той земле, что повязала нас общей бедой. Она была богиней в той жизни, и много раз останавливала меня на самом краю могилы. Но всё это кончилось, и разошлись наши пути. Мы встретились после Чечни, и у меня не оборвалась в душе. У меня уже не было никаких чувств, не было для нее ничего, кроме ненужных стихов.

Грозный обобрал нас до нитки. Я потерял Эсмеральду и потерял себя самого. Всего лишь себя самого. Она сберегла меня и потеряла брата. Он погиб там прошлой осенью, разменяв двадцать четвертый год.

…Со дня возвращения туда и до сегодняшнего, не было такого, когда бы я не думал о самоубийстве. Целый год хотел я лишь одного: поскорее приблизить смерть. Хотел встретить ее весной, ждал её осенью, звал в казарму и в собственный дом. А она вечно приходила к другим. Вечно пряталась от меня, заметая следы. Поднималась заря, а я стоял на ногах, падало солнце, а я оставался в живых. И так повторялось весь год! Что ни день, то скверная копия прожитого вчера, что ни час, то всё меньше надежды на смерть. А теперь, когда у меня забрали оружие, когда не стреляли вокруг, она стала такой роскошью, она укатила в такую даль, моя смерть, что я словно приблизился к вечности.

И вот я замкнулся в себе. Стал разговаривать с зеркалами, с портретами, со стенами в собственном доме. Стал сторониться людей. Для меня перестали существовать родственники и друзья. Они были где-то недосягаемо далеко, за дверью моей квартиры, которую я не открывал много дней. Много дней я сидел в своей комнате, и не находил ни одного важного дела, чтобы шагнуть за порог. Совсем зарос бородой, давно не смотрел в календарь… А

теперь, ко всем бедам, ко мне привязался страх. Тяжелый животный страх, что легко одолевал разум. Он будил за полночь, бросал меня в дрожь и, как ребенка, загонял под одеяло. Этот ужас являлся из Грозного. Он находил меня каждую ночь и ни разу не ошибался дверью. А я не мог справиться с этим кошмаром… И этими же ночами ко мне приходили товарищи. Приходили в мороз, загорелые, в тельняшках, с оружием, легко одетые. Они погибли летом и помнились именно такими. Они садились рядом, долго разговаривали со мной, смеялись и вспоминали общее прошлое. На них не было трупных пятен, они ничуть не постарели за это время. С ними было так просто и так легко, что мне не хотелось никого отпускать. Но вот все брали оружие и поднимались, чтобы уйти. И, уходя, звали меня за собой. Протягивали руки и говорили: «Пойдем с нами». Я подавал ладонь и, радуясь непонятно чему, шел за ними. А, просыпаясь, знал, что этим летом они ждут меня там. Знал, зачем они приходили. Это была их миссия — заранее показать мне дорогу, чтобы я не заблудился без провожатого. Я понимал это. Понимал, что следующее возвращение станет последним. Понимал и снова хотел вернуться… Понимал и не знал, что делать теперь…

Оставалось только одно: ждать. Ждать неизвестно чего.

Когда на этой земле вновь наступит весна, я постараюсь все позабыть. Пусть прошлое оставит меня в покое, и больше не следует по пятам. Пусть память о прожитом перестанет наведываться в мой дом и приглашать в него мертвых. Я больше не хочу видеть их тени, они вечно оставляют следы. Да не на половицах, а сразу в душе. Я не желаю больше слышать об этой войне. Не хочу дружбы тех, кто делил со мной эти дни. Пускай они будут рядом, но не вспоминают Чечню. Я просто не могу жить с этим дальше. Пусть Бог поменяет мой путь. Пусть завтра начнется новая жизнь. Мерзавца или героя, отступника или пророка. Мне уже все равно, что ждёт впереди.

Теперь я хочу только одного: все позабыть. Но до конца жизни не смогу этого сделать.

Я позабыл чеченскую войну.
Не помню день ни первый, ни последний,
Не помню даже слабое мгновенье,
Прожитое в дурном ее плену.
Я позабыл, как ночью плачет дождь,
Стекая грязью к дну сырых окопов,
Как в них, насквозь промокшая пехота,
Пытается унять густую дрожь.
Как лопаются, складываясь в хлам,

Не выдержав огня многоэтажки.
Колонны беженцев униженных вчерашних,
Их слабый глас к давно минувшим дням.
Я позабыл. И нужно ль вспоминать
Тех черных лет кошмар переживаний,
Где столько бед за каждым из названий
Аулов, городов и даже дат.
Где память зла к былому и к судьбе
И ни одной ошибки не прощает,
Где до сих пор друзья не оживают,
Прижавшись к взрытой минами земле.
Приходят ли ночами сны тех лет
Или статья газетная тревожит,
Я через миг не помню и не должен
Вернуться в жизни прожитый сюжет.
Я все забыл и больше не хочу
Прижаться вновь к прикладу автомата.
Я долго так считал его за брата
И столько лет не верил в тишину.
Я позабыл Чечню и Дагестан,
Их горных зим простуды и бураны,
Глубокий снег, тяжелые туманы,
Седых вершин промерзший океан.
А город Грозный! Мрак его руин,
Кварталы стен, разорванные в клочья,
Смертельная безлюдность днем и ночью
Его войной истрепанных картин.
Я позабыл чеченскую войну.
Но отчего так долго и упрямо
Болят ее нелеченные раны
И лица тех, кто шел в одном строю?
Они приходят, павшие в бою,
И не спеша протягивают руки.
Зовут с собой, забыв в своей разлуке,
Что я живой. Я руку подаю.
Приходят вновь. Все вместе и одни.
А я так жду уже их в новый вечер.
Я их забыл бы с радостью, но нечем
Заполнить душу полную войны.
Из пустоты забытого никак
Не отыскать ни радости, ни счастья.
А может, просто жизнь была напрасной
И все сложилось в ней совсем не так.
Я все забыл, все даты, имена,

И не о чем уже не вспоминаю,
И больше по ночам не убиваю…

А там все не кончается война…
А там все не кончается война…

Это не книга. Это песня. Песня, под которой расписалась в своем авторстве Правда. Песня, когда звучит которая, встает на ноги зал.

И живые и мертвые.

…Мертвые, встаньте хоть на минуту. У вас же дети выросли.